
ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ
ТОЛЬКО ОБГОН
Д





Г. ГУРЕВИЧ

ТОЛЬКО ОБГОН

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Рис. В. Кафанова

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1985

Р2
Г95

Открытия — главная тема сборника научно-фантастических повестей и рассказов «Только обгон». Книга посвящена приключениям искателей знаний, добывающих истину на Земле, в космосе, в далеком прошлом и будущем и в тайниках человеческого ума.

Гуревич Г.

Г95 Только обгон: Фантастические повести и рассказы/Рис. В. Кафанова.— М.: Дет. лит., 1985.— 208 с., ил.

В пер.: 65 к.

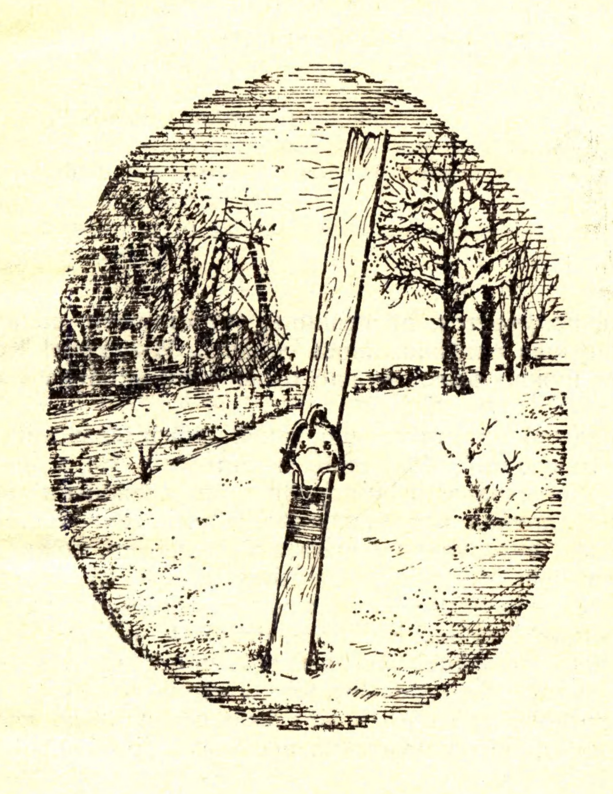
Повести и рассказы сборника посвящены различным темам — космической, биологической, нравственно-этической и т. д. Герои их совершают свои фантастические приключения не только в межзвездных просторах, но и за письменным столом как искатели знаний и открыватели новых истин науки будущего.

Г $\frac{4803000000-408}{М101(03)85}$ 232—85 Р2

© Состав. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.

ОНИ ЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

РАССКАЗ



Надо же!

Всегда так получается: поспешишь, засуетишься, понадеешься, дескать, тысячу раз сходило, авось сойдет... И — крах! Кори себя потом: не так нужно было, нужно было с умом; беда мимо прошла бы...

А день складывается так удачно, такой пронзительно-бирюзовый, по-весеннему ликующий, бодрящий по-зимнему. Не я шел, лыжи несли меня. Не скользили — парили над снежными рельсами. Я в азарт вошел, кричал, как мальчишка: «Темп, темп! Лыжню мне!» Ладная бежевая фигурка приближалась толчками, ножками семенила, не могла уйти. Но тут трасса свернула в чащу, запрыгала по корням. Кажется, я еще успел заметить это ноздреватое пятно, следы капель от тающих сосулек. Кажется, подумал: «Ледок, наверное». Но когда я увидел это пятно? Метра за три, за секунду. Притормозить все равно не успел бы. Мелькнуло: «Ледок... скользко... лыжня сбита... но проскочу авось...» И вот уже левая лыжа вильнула с бугорка вправо, правая наехала на нее, и я — о позор! — лежу на боку в сугробе. Метнул взгляд вперед: бежевая мчалась не оглядываясь, не видела моего крушения. Скорее, скорее на ноги! Палка на снег во всю длину, оперся, приподнялся, правой ногой наступил на левую, и... крак! у нижней лыжи отлетел носок.

Пришлось окликать бежевую, признаваться в поражении.

— Ну что ж, вернемся,— сказала она, и столько разноречивых чувств было в ее голосе: и вежливая жалость, и готовность пожертвовать собой из жалости, и раздражение на себя за излишнюю деликатность, печаль об испорченном празднике, обида на меня,

упреки всех оттенков, презрение и обещание никогда-никогда в жизни больше не связываться со мной.

Я осторожно подвигал искалеченной лыжей.

— Может, попробуем? Идите своим темпом. А я сзади потихонечку.

Получилось, представьте себе. Передвигался я. Не парил, конечно, возил ногами помаленьку. На буграх осторожно притормаживал, чтобы не воткнуться в снег носом. Бежевая мелькала впереди между стволами, потом поджидала меня у красных столбиков на перекрестках просек. Не так уж долго поджидала — минуту-полторы. Оказалось, что лыжа работает и без загнутого носка. Я даже вспомнил, что охотники в тайге делают плоские лыжи — снегоступы. Узкая и длинная — пригородное изобретение, не для чащи — для парков, исчерченных гладкой лыжней.

— Видишь, не трагедия же,— сказала мне сломанная лыжа.— Мы еще походим по зимнему лесу сегодня... и не только сегодня. Зря ты махнул на меня рукой.

Я не оговорился. Это лыжа сказала. Дело в том, что в моем доме вещи умеют говорить... с некоторых пор. Разговаривают только со мной и только с глазу на глаз (впрочем, это неточное выражение, у них же нет глаз). От посторонних таятся, возможно, стесняются.

Со мной мои вещи словоохотливы, я немало узнал об их вкусах и переживаниях. Оказывается, все они любят быть в деле, томятся на полках, сетуют, если я редко пользуюсь ими. Когда я открываю гардероб, рубашки начинают ерзать на вешалках, выставляют воротнички и рукава, чтобы напомнить о себе, шепчут: «Меня... меня... меня надень сегодня». Избранница гордится, красуется, жеманится, переливаясь на свету. Оставшиеся кричат ей с завистью (черной или белой?): «Смотри там хорошенько! Когда вернешься, расскажешь, что видела». Понимаю: тоскливо им на плечиках, каждой хочется выйти в свет, на людей посмотреть, себя показать.

Рубашки любят, чтобы я их носил, стаканы, чашки — чтобы пил из них, стулья — чтобы на них сидел, кушетка — чтобы полеживал. Вещи любят обслуживать меня; не служить, не прислуживать, а обслуживать. Я для них не хозяин-барин, не божество, не владыка, не обожаемый кумир. Я только клиент, объект забот, член их семейства, пожалуй. Ко мне относятся заботливо, снисходительно и ворчливо, как пожилые медицинские сестры к больным, как воспитательницы к малышам, как закройщики к постоянным заказчикам. Я объект, клиент. Меня обслуживают, но критикуют. «Наш» — называют меня за глаза. «Наш опять бросил меня где попало... Наш опять не почистил меня... Погулять? Как бы не так! От Нашего дождешься! Опять целый вечер валялся с детективом в руках».

Но и детектив просился же в руки! На всех не угодишь.

Книги любят, чтобы их читали, ботинки — чтобы в них ходили.



Какое удовольствие им в том, чтобы топать по грязи и по лужам? Но вещам, оказывается, нравится действовать, осуществлять свое жизненное назначение. Назначение ботинок — ходить по дорогам, назначение щеток — счищать пыль, они даже не любят чистой обуви. Назначение сковородок — жарить котлеты, назначение котлет — быть съеденными. Впрочем, с пищей я мало разговариваю. Пребывание ее в доме мимолетно, да и сама она бессловесна.

Я еще не успел разобраться во всех подробностях. Вещи заговорили у меня не так давно... вскоре после посещения той странной женщины в черном платке.

Появлению ее предшествовало не менее странное письмо в смятом конверте без адреса, я нашел его в почтовом ящике. Почерк был корявый, написано безграмотно. Орфографические ошибки не привожу.

«Товарищ Клушин!

Немедленно прекратите ваши выступления в газете. Я знаю, от кого они идут. Немедленно пойдите в газету и заявите, что вы все выдумали из головы, иначе будет плохо. Я за вами слежу, от меня не уйдете...»

А потом появилась и она сама: мрачная, небольшого роста женщина в потертой кацавейке и черном платочке, с тонкими поджатыми

губами и насупленными бровями. Я думаю, моя мать тут же захлопнула бы перед нею дверь, решила бы, что это воровка. Бабушка, наоборот, пригласила бы на кухню и усердно потчевала бы богоугодную странницу. А прабабушка, вероятно, долго бы крестилась и прыскала на порог святой водой, чтобы избавиться от дурного глаза и наговора ведьмы. Но в наше время не верят в святых и колдунов. Парнишка из соседней квартиры про всех странных людей спрашивает, не пришелец ли. Хотя пришельцам не полагается разгуливать в черном платочке и кацавейке, не принята в фантастике такая форма одежды. Что же касается меня, то, как человек разумный, я первым делом подумал: не с приветом ли? В редакции газет нет-нет да и приходят такие. В самом недуге их сочетается внутреннее напряжение мозга и полнейшая глухота к внешнему миру. В уме они строят волшебные воздушные замки, истово верят в свои построения и не слышат ни одного слова критики.

— Ты писал? — спросила женщина сиплым шепотом, вынимая из-за пазухи мою недавнюю статью «Вопросы гостю из космоса».

Я признал вину полностью.

— Зачем писал? — так же сипло и сурово.

Я попытался объяснить, что «Вопросы» чисто литературный прием. По существу я просто перечислял желательные открытия. Поскольку же гостей из космоса пока нет, нам следует самим создавать все перечисленное: энергетический океан, вечный мир, вечную молодость, научиться читать мысли, понять язык дельфинов, собак научить говорить и так далее, так далее...

— Вечная молодость зачем? — переспросила она.— Мысли читать зачем? Собаке говорить зачем?

— Мало ли зачем? Служебные собаки не всегда понимают, что мы от них хотим, а что чуют — совсем не могут объяснить. И когда дома сидишь один, хочется поговорить с лохматым другом. Вообще для науки важно разобраться в психологии другого существа, сравнить с человеческой...

На лестничной площадке мои объяснения звучали почему-то неубедительно.

— Пишешь незнамо что,— фыркнула черноплаточная.— Что в голову взбредет, все лепишь. Псы говорящие! Умное что просил бы. Еще бы дверь тебе говорящую...

— А что? Неплохо бы! — Меня начал раздражать этот наставительный тон.— Подошел и спрашиваешь: «А кто там снаружи? Дельный ли человек?» У плиты спросил бы: «Что приготовить на ужин?» Сел за машинку: «О чем писать будем?»

— Язык без костей! — проворчала бабка.— Просишь кашу, какую не пробовал. Съедобна аль несъедобна — не ведаешь. Вопросник! Гостям! Плетешь незнамо что!

И с тем ушла. И забыл я о ней. Но дня через три, пристраиваясь

к подушке вечером, услышал ворчливый шепот пиджака, наброшенного на спинку стула:

— Наш-то бросил меня как попало. Мнет, пачкает, не бережет. Потом скулить будет: «Нечего надеть на прием!» А я вторую неделю жду свидания со щеткой.

— У щетки легкая жизнь: полеживай себе в тумбочке,— посочувствовал стул.

— Тоже не обрадуешься. Лежит во тьме, плесневеет.

А там пошло и пошло. Вся квартира наполнилась журчанием. Звенела посуда в буфете, книги шелестели на полках, скрипела мебель, в ванной кряхтели краны, гудел холодильник, стрекотала электробритва, ходики тикали на стене.

Я употребляю слова «звенели», «шелестели», «журчали», но это все образные выражения. У вещей не было голоса, они говорили беззвучно. Мои уши не воспринимали ничего, но слова как-то входили в мозг. Говорящих я различал не по голосу, а по манере. По желанию мог прислушиваться, мог и отключить каждого.

В общем, жаловаться я не стал бы. Каша оказалась не такой уж несъедобной. Глухая тишина так томительна иногда, а для старого холостяка в особенности. И не всегда удается эту ватную тишину отодвинуть книгой, даже хорошей. Иногда хочется побеседовать с какой-нибудь личностью, слушающей тебя, возражающей, отвечающей на вопросы, сочувствующей, даже и не согласной, поговорить о простецком: с форточкой — о погоде, с кастрюлями — о вкусном обеде, с галстуком — об изменчивости мод, с зеркалом — о том, что годы не красят.

Не могу сказать, что собеседования с вещами так уж обогащали меня. У вещей был узкий кругозор, у́же, чем у меня. Большинство не выходило из комнаты, многие годами не покидали полок. Даже книги — самые содержательные из вещей — могли только пересказать свое содержание, в лучшем случае — добавляли кое-что о раннем детстве, когда их набирали, печатали, брошюровали, продавали. Больше других видели вещи, которые вместе со мной ездили в город. Эти гордились интересной службой, по вечерам рассказывали впечатления вещам-домоседам. Я и сам слушал их с удовольствием. Как ни странно, человеку приятно читать или слушать отчеты о событиях, которых он был свидетелем. К тому же нередко пальто или шапка замечали такое, что я сам упускал из виду. Я-то прислушивался к словам собеседника, а они глазели по сторонам, замечали выражение лиц окружающих, тон голоса. Я слушал, что мне говорят, а они видели, как говорят.

Повторяю: вещи оказались на редкость трудолюбивы. Им нравилось выполнять свой долг, осуществлять предназначение. Они ворчали, что я их не берегу, но еще больше ворчали, что редко использую. Прочитанные романы смертельно завидовали тем книгам, которые вынимались часто: словарям, справочникам, всем томам

энциклопедии в нарядных, красных с золотом, мундирах. Не раз книги агитировали меня передать их в библиотеку, на худой конец — одалживателям. Но очень опасались, что их зачитают, разрознят и не вернут. В гостях хорошо, а дома лучше. Первый том привык стоять рядом со вторым, хочет, чтобы и третий был тут же.

В книжном шкафу все время шел спор между справочниками и романами. «Мы полезнее»,— твердили справочники. «А мы зато интереснее».— «А нас смотрят чаще».— «Вас листают, а нас читают подряд». В гардеробе же соперничали будничные и парадные. Выходной пиджак, побывав в гостях, безмерно хвастался, как угощали его и Нашего; будничный же дразнил его рассказами о необычайно важных беседах в редакции. А в посудном шкафу рознь была между бокалами и стаканами: стаканы выполняли свою функцию ежедневно, а бокалы редко и все реже с каждым годом. Но, сочувствуя их вынужденному безделью, я по вечерам иногда ставлю их все на стол и отпиваю из каждого по глоточку сока. Пусть тешатся, хвалятся, каким нектаром их наполняют.

Правда, мыть их приходится после этого — целую дюжину. Но чего не сделаешь ради своих домашних?

Физически не мог ублажить я каждую ложечку, каждый платочек — хоть раз пустить в дело. Насморка не хватало. Понимаю: обеспеченно живу, с запасом. Но ведь так удобнее.

Знаю, что все мои домочадцы — стеклянные, деревянные и матерчатые — смертельно завидуют пишущей машинке. С нею я беседую по нескольку часов ежедневно, больше всех уделяю ей внимания. «Эрикой» ее зовут, она немка, родом из Дрездена, добротная, добросовестная и занудно-грамотная ценительница высокого искусства. Ее идеал — глубокомысленный Гете или страстно-романтичный Шиллер. Увы, все «эрики» мечтают о Гете и Шиллере, а потом отстукивают платежные ведомости в канцеляриях. Вот и моя разочарована, хотя платежных ведомостей нет в моем репертуаре. Все пилит меня: «Раньше ты писал больше, раньше ты писал лучше, выразительнее. Не ленись, вынь страницу, перепиши еще раз».

Но тут уж протестуют листы бумаги — самое многочисленное, суетливо-шелестливое население моей квартиры. Требуют! Отстаивают свое «я» каждый. Сами посудите, какая жизнь у бумажного листа? Нарезали тебя, уложили в стопку, жди очереди, надейся, что на тебе напишут что-нибудь эпохальное. А когда дождешься, когда тебя исписали, храни это вечно. Хорошо, если выпадет что-нибудь членораздельное, а то вдруг: «Проба пера». Или бутерброд завернут. И каждый лист трепещет: что же выпадет на его долю? Только заправишь в каретку, а он уже звенит: «Не то, не так, плоско, банально, тривиально. Было уже, было неоднократно». Задумаешься, перечитаешь, согласишься: «И впрямь банально!» Вынимаешь испорченную страничку, а она в истерике: «Неужели все кончено?

Неужели я испорчена? Жизнь впустую! Ужас, ужас! Как, уйти в небытие, в корзину — без единой толковой фразы?» Но где же взять толковую для каждой страницы? Жалеючи вынимаю какую-нибудь надежную книгу, например «В мире мудрых мыслей», раскрываю наугад.

«Извинить бога может только то, что он не существует».

Хорошо сказано. Не я сказал, Стендаль.

Ну и все. Иди с богом, страница.

Пуще всех теребят меня бумажные листы.

А кроме того — лыжи.

Их тоже можно понять. Восемь месяцев — с конца марта и до декабря — стоят они за шкафом в темном углу. Восьмимесячное заключение в углу — за что такое наказание? Стоят молча, недвижно, вытянувшись, как в карауле, только изредка с грохотом валятся на меня, напоминают о своем существовании. Стоят и ждут всю весну, ждут летом, пережидают осень. Но вот приходит ноябрь, ползут с севера тучи, сыплется из них белый пух. Падает, тает, падает... побеждает в конце концов. Идет парадная уборка земли к Новому году. Скрыты все огрехи мусорного лета, неряшливой осени. Земля-невеста готовится к обручению со следующим годом. Даже воздух промывается дождями, очищается от микробов морозом. Пора! Лыжи тянут длинные шеи из-за шкафа, пытаются заглянуть в окна. По ночам они постукивают, переминаясь от нетерпения, мои застоявшиеся рысаки. И вот я собрался отнести их в мастерскую просмолить. И вот я собрался принести их из мастерской. Еще надо дождаться воскресенья. Лыжи потеют смолой от волнения: вдруг сорвется, вдруг меня пригласят в гости, в театр, пошлют в командировку? И кто знает, какая будет погода? Вдруг оттепель? Или вдруг мороз в тридцать с лишним: на окнах белые бананы, жжет щеки и нос, лыжня визжит, не идется по ней, даже с синей мазью, ниже минус восемнадцати.

Ведь не каждый день лыжня хороша, не при любой погоде лыжам удовольствие. То снега мало, по песку возишь, тормозишь, царапаешь. А в оттепель мокровато, на мокрое снег липнет, тут уж не летишь — лыжню пашешь. Еще хуже мороз после оттепели, снежная корка, словно наждак, так и стругает, так и стругает подошву, что твой рубанок. И снегопад — плоховато. Работа лыжам — снег приминать, кому-то лыжню накатывать. И если давно не было снега — плохо тоже. Тогда лыжня разъезженная, сбитая, лыжа на ней вихляет. Гнать уже нельзя, следи, чтобы ноги не перепутались. Добрый час идешь от автобуса, все надеешься на нехоженые места.

Так что за всю зиму шесть-семь, от силы десяток приятных походов. А там уже и март, в ложбинках проталины, шлеп-шлеп по воде... И снова восьмимесячное заключение за шкафом.

Вот и на этот раз дело шло к заключению. Зима вообще выдалась

неудачная: декабрь бесснежный, в январе присыпало чуть-чуть — и сразу морозы; с начала марта оттепель, сырость в низинах.

— Так что простите, дорогие,— сказал я пятнадцатого числа,— загорайте за шкафом.— И занавеской завесил угол.

— А может, сходим еще разок? — вздохнули обе лыжи разом, левая и правая.

— Вы же сами видите — весна на дворе. Да и работы невпроворот.— Я нарочно выложил на стол все папки, чтобы глаза мозолили мне и домашним. Сам вижу — нельзя отвлекаться.

Но в пятницу вдруг пошел снег, и всю субботу шел снег... А в воскресенье утром меня разбудило солнце. Так и било в веки с пронзительно-бирюзового неба. И крыши слепили белизной, а во дворе звенели детские голоса: школьники бомбардировали друг друга снежками.

— Можно и в лес,— робко сказали лыжи.

Я игнорировал.

— Самый лыжный день,— сказали лыжи настойчивее.— Последнее воскресенье такое. Больше не будет, нельзя упускать... Мы же о тебе заботимся,— добавили наставительно.— Каждый день охаешь: в груди давит, спина ноет, голова тяжелая. Клянешься с завтрашнего дня отдыхать регулярно на свежем воздухе. Ну вот, пришел завтрашний день, и где же свежий воздух? Есть у тебя слово или нет?

Но я был тверд. Делу время, потехе час. Я человек солидный, что наметил — выполню. В девять тридцать, покончив с яичницей и кофе, усадил себя за стол, чтобы помыслить над рецензией на третье издание «Введения в системологию».

А небо было такое неправдоподобно синее, такое лазурное! Ни одного облачка, хотя бы для приличия. И солнце грело по-весеннему. Выйди на балкон и загорай!

— Один только разок, раз в жизни уступи,— канючили лыжи.

— Порядок превыше всего,— отвечал я поучительно.— У людей есть характер. Что намечают, то и выполняют.

— Ра-а-азочек,— хныкали лыжи.

— Хватит!

Я злился, потому что мне не хотелось выдерживать характер. Тошнило от этого «Введения». Швырнуть бы книгу под стол, нырнуть ласточкой в белое и голубое.

И тут появилось Искушение.

Как и полагается Искушению, явилось оно в образе молоденькой девушки — курчавой, курносой, смуглой, с чуть вывороченными, как у мулатки, губами и несуразно зелеными веками. Моя соседка с верхнего этажа. Давно ли была школьницей в черном передничке, бегала ко мне решать задачки по стереометрии, а вот уже веки мажет зеленью, глазками научилась стрелять.

— Доброе утро, Викпалыч,— пропела она.

Обычно я называюсь «дядя Витя». Обращение по имени-отчеству — предисловие к умильной просьбе.

— И чего же ты хочешь, егоза?

— Викпалыч, вы не пойдете сегодня на лыжах? Пойдемте! День такой расчудесный!

— Я работаю,— сказал я мрачно.— Пойди с Толей.

— Лучше с вами, вы мне расскажете интересное. Они же такие ну-у-удные!

Толи — «они», потому что их двое. Один — офицер, другой — инженер. У одного серьезные намерения, у другого неведомо какие, кажется, он просто мямля. Один по душе папе за твердость, другой — маме за мягкость. Сама девушка не спешит с выбором. Ей нравится нравиться. Нравится, что ее фигуркой любуются все подряд офицеры, инженеры, мамины подруги и папины друзья, даже соседи по лестнице, пожилые холостяки вроде дяди Вити.

— Викпалыч, ну один разок, ну прошу вас, ну пожалуйста!

Беда с тобой, Искушение!

И через полчаса мы уже тряслись в метро: она — в изящном бежевом костюме и красной шапочке с миленьким помпоном, я — в мешковатом коричневом, с носками, натянутыми на шаровары, и тоже в вязаном колпаке с помпоном... нелепым. Она прижимала к сердцу свои немые крашеные деревяшки, и я прижимал свои — немые от восторга. Впрочем, я уже упоминал, что мои говорящие вещи на людях помалкивают. Зато вечером будет конференция в моей квартире. Там уж меня обсудят, там пропесочат, там посмеются, как же быстро поддался умильным глазкам твердохарактерный проповедник твердых планов на каждый день.

Пока все шло хорошо, просто великолепно. Даже на последней станции не было очереди на автобус: видимо, в других домах лыжи уже были законсервированы на лето. Мы сидели рядом в автобусе, я щеголял цитатами из классиков («Ах, дядя Витя, вы всегда были такой умный, с самого детства?»). И лыжня была подготовлена в Мешкове, укатана сдающими нормы и освобождена от воскресных ковылял. Сразу же у остановки застегивай крепления и кати под горку, через овражек, в выемку. Летом в этой выемке тенисто и грязно, не просыхает, а сейчас чистенько, прибрано, рассыпчатый снежок, сосновая колоннада ведет в анфиладу полян. А там — высоковольтная линия, проспект, залитый солнцем. Подмерзший снег, как толченое стекло, слепящие искры в каждой снежинке. Переливаются, перебегают, меняясь местами, как в игре «третий лишний». И небо голубое, и лыжня голубая, тени в ямках голубые, или же синие, или лиловатые. Каждый след от валенка — цветное пятно, а вдоль опушки кружевной узор ветвей — суздальское узорочье, ярославские наличники. В основном голубое и белое, белое и голубое. Но чтобы глаз не скучал, там и тут цветные брызги на снегу:

лыжники в алом, малиновом, шоколадном, зеленом, оранжевом и... бежевом.

Все сияло, и сияние вошло мне в душу. Я пил свежесть, кусал кисловатую свежатину, глотал ее, не прожевывая. Грудь, набитая кислородом, расширилась, плечи расправились, налились силой. Я откидывал метры палками: мах! мах! И стряхивал на снег годы. Так они и посыпались: пятидесятый, сорок девятый, сорок восьмой... сороковой, тридцатый... Несся за девчонкой лохматый студент с журналистского, азартно орал во все горло: «Ходу! Ходу! Темп давай, козявка!» Нарочно приотставал и давал фору, чтобы нагнать шутя. Сердце у бежевой было здоровое, дыхание хорошее, а ножки все-таки коротенькие, не чета моим ходулям. Да и трудно ли было мне переставлять ноги, когда лыжи сами несли меня. Несли! Я стоял, в сущности, то на правой ноге, то на левой. Приседал перед впадинами, выпрямлялся на горбах, вбок клонился от веток, но стоял. Слегка пританцовывал, исполнял «па-де-лыж». Не бывало такого танца? Я отрабатывал его в лесу. Плечами, локтями набирал скорость, задниками отбивал чечетку и замирал на пуантах: одна лыжа несет меня, другую я сам несу в воздухе, наготове.

— Ой, не могу! — сказала девушка, останавливаясь у красного столбика на перекрестке. Очень полезные эти столбики, мешают заблудиться в лесу. Счет у них как на картах: с запада на восток, первый ряд — самый северный, второй — южнее. Смотришь на затесы, как на компас.— Ой, не могу, дядя Витя, загоняли совсем!

Щеки у нее блестели, глаза блестели. Пуще всего блестел кончик носа.

— Хорошо? — спросил я самодовольно, как будто именно я посадил этот лес и обсыпал его свежим снегом.

— Ой, спасибо, дядя Витя! Можно, я поцелую вас?

Сейчас-то я понимаю, что целовала она не меня. Целовала голубизну и белизну, кружева инея, кисловатый воздух и пахучий снег, подвенечную чистоту каждого сугроба, красоту леса и свою собственную юную красоту. Радость бытия хотелось выразить поцелуем, и только мои губы были поблизости. Но тогда я принял ее благодарность как должное, словно впрямь я заготовил для нее этот сияющий день, преподнес его спутнице, как букет. Ну конечно, она должна была поблагодарить за такой подарок.

— Только один поцелуй за всю красоту? — возмутился я.— За каждый километр надо в отдельности.

— Ой, не мелочитесь, дядя Витя! Посчитаемся на обратном пути.

— А ты хотел дома сидеть,— сказали лыжи тихонько, нарушая заповедь молчания.

— Что вы сказали? — насторожилась девушка.— Ах, ничего, мне показалось! Ну, ловите тогда!

И метнулась влево, на боковую дорожку.

А с той дорожки лыжня вывела нас на горбатое поле, а с по-

ля — в березовую аллею. Кора на солнце казалась оранжевой, неправдоподобно оранжевой, а верхние веточки были розовыми и почти прозрачными: растопыренные детские пальчики наивно хватали небо. По аллее мы скатились в канаву, снова на горку, оттуда в сероствольный ельник.

— Догоняйте, дядя Витя!

Зачем задирается? Не уйти ей от меня. Семенит, коротконожка, а у меня мах, лыжи-скороходы, трехметровый шаг.

Вот за три метра и заметил я то ноздреватое пятно. В голове мелькнуло: «Ледок... скользко...» Мелькнуло: «Лыжня сбита... но проскочу авось...» Левая лыжа скользнула на бугорке, соскочила на правую лыжню, правая лыжа наехала на напарницу, и, скособочившись, я позорно плюхнулся в снег.

Э-эх, те-па!

Ничего не поделаешь, пришлось окликать бежевую, признаваться в своем позоре.

Помаленечку, кое-как передвигался я теперь, не парил — возил ногами. Бежевая мелькала впереди, уходила на полкилометра, потом поджидала меня у красных столбиков, уже не сияющая, недовольно хмурая.

— Видишь, не трагедия,— сказала мне сломанная лыжа.— Иду, могу идти. Мы еще походим по зимнему лесу... и не только сегодня.

— Молчи уж,— огрызнулся я.— Неслась не разбирая дороги. Правая, левая где сторона? Съехала бы в снег, а то на чужую лыжню...

Конечно, я несправедлив был. Моя вина. Что спрашивать с бедняги? Куда вел, туда и шла.

Итак, путь наш лежал через ельник. После снегопада нет ничего удивительнее ельника. У лиственных только бордюр на сучьях, только горностаевая опушка на веточках. Сосны — те натыкают себе комья на иглы, этакие шары, словно собираются швыряться снежками. А в ельнике — выставка сугробной скульптуры. На каждой лапе распластался зверь: белый медведь, или белый тюлень, или белый удав, или белый крокодил даже — в ельнике и такие есть. А вон девица в платочке, а там мать с ребенком, а там ребятишки сцепились в борьбе, парочка обнимается, носатый леший, лошадиная голова. Дед Мороз, еще один... Шли бы мы с бежевой вровень, через каждый шаг окликали бы друг друга: «Смотри туда! Смотри сюда!»

Но бежевая мелькала впереди. И я сказал лыжине:

— Гляди в последний раз, несчастная. Любуйся перед пенсией.

— Я же работаю, не жалуюсь,— проскрипела она.— Мы еще походим по зимнему лесу, правда же? Даже лучше, когда не несешься сломя голову. Видишь больше.

Зимняя красота успокаивала. На опушку мы вышли в благостном настроении. Не в первый раз выходили на это место, и все же ахнули:

«Какой простор!» Перед нами расстилалась долина замерзшей речки, маленькой речонки, даже имя толковое ей не придумали, называют Незнайкой. Но лежали перед ней снега незапятнанной белизны, а за ней высились крутейшие склоны: никто оттуда не катился, лесенкой спускались даже самые отчаянные. А за склонами, насколько взора хватало, синели и синели леса, на каждом холме синяя шапка. И хотя знал я (по карте), что за этими лесами — и деревни, и садово-огородные участки, и поселки городского типа, но поселки не были видны, и представлялось, что тянутся эти леса до полюса и через полюс неведомо куда, до самого края света. Войдешь туда и утонешь, не выберешься вовеки.

Девушка поджидала меня на опушке. Красота и ее ублажила, успокоила.

— Дядя Витя, можно, я с горок покатаюсь немножечко? Вы не обидитесь?

Я обещал не обижаться, хотя в восторг не пришел. Неуютная роль — любоваться девичьей отвагой. Я предпочел бы поменяться: мчаться вниз на ногах-пружинах, а поднявшись, встречать восхищенный взгляд: «Ой, дядя Витя, какой же вы молодец! Я бы нипочем... я бы со страху умерла на полпути...» Тьфу!..

Вот носилась она, разрезая тугой воздух помпоном, а я стоял, опершись на палки, как на костыли, дрог на ветру... и годы-годы-годы, сброшенные час назад, один за другим взбирались на плечи: тридцатые, сороковые... сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый... и пятидесятый, и пятьдесят первый... все, обозначенные в паспорте.

Между тем спутница моя сразу привлекла внимание каких-то бесшабашных парней. Сначала они сбили ее с ног, потом предложили поучить или поучиться у нее — безразлично. Самый развязный представился. Конечно, Толей его звали. Толя-третий! А я стоял на горе, протирал очки. Даже съехать не мог, чтобы вмешаться. И надо ли вмешиваться? Смешно!

— Молодости смех, взрослым мудрость,— заметила лыжа наставительно.— Всему свое время, как сказано у Экклезиаста. Есть время кататься с гор, есть время степенно прогуливать старые лыжи.

Так сказано у Экклезиаста? В самом деле!

— Ты не скули напрасно,— огрызнулся я.— Есть время ходить по лесу, есть время уйти из леса. Твое отошло. Вот погляди издали на леса за Незнайкой, попрощайся. Мириться надо с судьбой.

— Я мирюсь,— вздохнула лыжа.— У нас, деревянных, известная судьба: все кончаем в костре. Все же лучше, чем на свалке, кому-то отдаешь тепло души. И в сущности, это же не конец. Дымом уйдем в воздух, но листья выпьют тот дым, и снова я стану деревом. Может быть, из него сделают лыжи потом. Вечная жизнь, в круговороте наше бессмертие.

«Ну-ну, утешайся,— подумал я.— Жизнь, да не твоя».

Но возражать не стал. Пусть тешит себя, бедняга, если самообман утешает ее.

Наконец девушка накаталась. Устала, вываляласъ в снегу, ушиблась даже. Кажется, Толя-третий постарался. Но я был высоко-далеко, не мог вмешаться.

Она ушиблась и потому дулась на меня. Молча пустились мы в обратный путь. Солнце уже присаживалось на колючие верхушки елей, стволы раскрашивало, румянило, но не грело. Тени выползали из-за сугробов. Потешные фигуры уже не возились, не смешили нас. Они затаились, подстерегали в снегу, вот-вот кинутся на спину. И лесные квадраты почему-то растягивались, все дальше было от столбика до столбика. Девушка, как и раньше, поджидала меня на перекрестках, но не сочувственно, а нетерпеливо, все спрашивала:

— Дядя Витя, вы не можете чуть побыстрее? Темнеет уже. Я к ужину хочу быть дома.

Не домой торопилась она — какие-то планы лелеяла.

А лыжа просила:

— Потише, нельзя ли потише? Я донесу тебя, я же скольжу, я так стараюсь! Мне только на рытвинах тяжело.

Но девушка как раз, со мной не советуясь, свернула с просеки на боковую тропку, думала срезать угол, быстрее выйти к автобусу. Как отстающий, я не возражал, хотя и знал отлично, что шоферу километры по асфальту не крюк, а лыжнику не крюк километр хорошей лыжни. Конечно, боковая тропка петляла, скакала по корням и рытвинам, с ухаба на ухаб, с ухаба на ухаб. И на первом же ухабе моя калека воткнулась в снег. Почувствовал я, для чего лыже загнутый носок! А там пошло и пошло, разлохматилась, щепки от нее летели. Я с трудом удерживал равновесие, раза два чуть не ткнулся носом, клял свою разнесчастную лыжу почем зря.

— Я дойду, дойду,— уверяла она.— Только не спеши.

— Дядя Витя, нельзя ли чуть скорее? Как выйдем на линию, бросайте эту проклятую доску!

— А ты меня не бросай,— уговаривала лыжа.— Ты меня почини лучше. Вспомни, как хорошо было со мной. Я же легкая, клееная, сортавальская. Купишь новую крашеную доску, намучаешься с ней. Не она тебя — ты ее будешь носить, шею тяжестью мять. Будешь смолить, умасливать, обхаживать, все равно легче не станет.

Но я ожесточился — от усталости, от холода, от недовольной мины моей спутницы, от того, что испорчен день, начавшийся так хорошо.

— Не приставай. Брошу...

— Ты уж и сам не молоденький к новым-то лыжам привыкать,— продолжала труженица.— У новых капризы. Не они к тебе — ты к ним приспосабливаешься, они тебя воспитывают. А мы так дружно ходили вместе, столько прошли хороших маршрутов! Вспомни Подрезково, ты тогда отчаянный был, с каждой горы норовил съехать.

Вспомни Переделкино — как мы с тобой горделиво проезжали мимо пеших, гуляющих. Вспомни, как заблудились в Малеевке. Шли-шли по темному лесу, по синеющему снегу, по лиловеющему, при лунном свете шли. Я же вынесла тебя, не скрипнула. Если бы тогда сломалась, ты же замерз бы, пропал бы, признайся.

Не хотел я признаваться. Ожесточился. Одно думал: «Дойти бы и бросить».

— Всю молодость отдала тебе,— напоминала лыжа.— И я была красивая, свежепокрашенная. Ты меня с гордостью показывал. Друзья завидовали: ох и жох, где подцепил сортавалочку?

Наконец мы выбрались на высоковольтную. Тут лыжня шла в несколько рядов, гладкая, прямая, укатанная. Можно бы и рядом с девушкой идти, но у меня уж и ноги не гнулись, еле-еле переставлял ходули. А на лыжи смотреть было противно: торчат ободранные щепки, ни на что не похоже.

— Дядя Витя, я вперед пойду, замерзла,— сказала девушка. И умчалась.

Лыжа тут же воспользовалась одиночеством.

— Ты меня не бросай все-таки,— просила она.— Довези до дому. Я хоть за шкафом постою... со своими.

«Этого еще не хватало,— подумал я.— Буду я забивать дом старым хламом! Сломанные стулья, рваные бумаги, разбитые тарелки, стоптанные ботинки. Не квартира — склад утиля».

А впереди уже сияли огни. Автострада гудела монотонно, трепетали фары на повороте, мигал светофор. Вот и фонарь автоинспекции, за ним табличка с буквой «А».

— Дядя Витя, скорей! — звала меня девушка.— Скорей, автобус подходит. Да не возись ты с этой рухлядью! Я не буду ждать, я уеду.

И бросил я обломок, швырнул в кювет, поскакал к автобусу с одной лыжей, словно на одной ноге. Между прочим, молчала, подлая, всю дорогу, боялась, что я и ее тоже брошу. И надо бы. Ведь это она обломала носок товарке. Все равно пару к ней не скоро подберешь, сортавальскую. Но мне раздумывать было некогда. Автобус подходил.

Да и какой жалости ждать от лыжи? Что с нее спрашивать? Деревянная!

О возвращении рассказывать не хочется. Я трясся сзади, прижимая к груди единственную лыжу и поеживаясь под насмешливыми взглядами. Девушка сидела где-то впереди. Очередной Толя уступил ей место и что-то говорил, наклонясь, насчет любви и дружбы, наверное. И в метро мы с ней сидели врозь, и на лестнице простились сухо. Я не предъявил ей счет за пройденные километры, она не вспомнила. Даже не сказала спасибо. Глянула на часики, пробормотала:

— Кажется, не успею в кино.

Подразумевалось: «Из-за тебя опаздываю, неуклюжий дядя Витя».

Ну и ладно, обойдемся. Молодым гулянки, пожилым шлепанцы, как сказал бы Экклезиаст. Сейчас отопру дверь, объявлю громогласно: «Встречайте, Ваш пришел!» Первым долгом в ванну: «Погрей мои косточки, эмалированная». Потом на кухню, к плите: «Ну-с, что приготовим на ужин, чугунная?» Отогреюсь, поем — и с газетой в кресло: «Понежь меня, красноспинное!»

Хлопнула дверь. Дома я, дома!

— Привет, братва. Ваш пришел!

Не слышу ответа.

— Погрей мои косточки, эмалированная.

Молчит!

Тишина, плотная, ватная, давящая, гнетущая!

Замолчали вещи в моей квартире.

И молчат с той поры.



ИЯ,
или
ВТОРНИК ДЛЯ РОМАНТИКИ

(ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ, ЛЮБВИ И КИБЕРНЕТИКЕ)



Те «Романтики» разыскать не трудно. На метро вы доезжаете до Фрунзенской, поднимаетесь на эскалаторе. Сбиться невозможно, на этой станции только один выход, через длинный вестибюль с квадратными пилонами. Справа подземный переход, но вы туда не спускайтесь, берите вдоль забора, мимо стендов с афишами. За забором стройка, не знаю, что там строится, давно строится, может, уже и построили. Вы идете по проспекту прямо-прямо, никуда не сворачивая, мимо «Кулинарии» и «Аптеки», мимо рыбного магазина с ухмыляющимся зеленым карасем. А на углу следующего квартала, не доходя «Музыкальных пластинок», и будут эти самые «Романтики».

Кафе как кафе, в шестидесятых годах такие понастроили повсюду. Стены обшиты досками «а ля изба», к потолку подвешены чугунные шлемы и паруса. Вероятно, это очень романтично, но проходишь под этими символами приключений поеживаясь, как бы не бахнули на голову. Вечером собирается молодежь, топчется, покачивая корпусом под модный шлягер. Нетанцующие же сидят на витрине, как экспонаты в аквариуме; прохожие заглядывают в тарелки: что там заказано — дежурные голубцы или цыпленок табака?

Кафе как кафе и меню как меню. Гастрономия — не тема для литературы. Я хочу рассказать вам историю, услышанную в тех «Романтиках». Отсчитайте третий столик от входа на витрине. Это место действия.

ГЛАВА 1

Ее звали Ия, Ия Савельевна, а отец называл дочку Ивочкой, по созвучию, но очень удачно. Она действительно была похожа на прутик ивы: тоненькая, гибкая, верткая. И язычок у нее был верткий,



хлесткий, словно прутик. Небольшая изящная головка с громадными глазищами сидела на удлиненной шее, лицо было очень подвижное и мимика богатая. Ия великолепно изображала одноклассников, а также, признаемся скрепя сердце, и учителей, особенно биолога, как он вытягивает губы трубочкой и произносит в нос: «Ню-ссс, что задано у нассс?» И еще математичку, пышную даму с кудряшками, которая, задавая пример потруднее, всегда говорила: «Вам предстоит мучшительная операция, дети». А у Ивочки не лежала душа к числам, мучительные операции так и не стали для нее целительными.

Зато она была бессменным старостой драмкружка, все друзья единогласно прочили ее в кинозвезды. Кончив десятилетку (с троечками по математике и физике), Ия подала документы в ГИТИС на актерский... и провалилась по специальности. Ей дали этюд по «Детям Ванюшина»: покинутая жена умоляет мужа не бросать ее, в ногах валяется, целует руки, полы сюртука. Никак не могла Ия вжиться в такой образ. Она выросла в нормальной советской школе, в своем классе верховодила, была уверена, что она полноправный человек, ничуть не хуже, а то и получше мальчишек, что дорогу в жизнь она найдет самостоятельно, без подсказки и посторонней помощи. Героиню она считала набитой дурой. Если мужик бросает ее — скатертью дорога. Избавилась от предателя — и превосходно,

как-нибудь проживет. Унижаться Ия не стала бы ни в коем случае. И, вероятно, внутреннее сопротивление чувствовалось в ее игре. Этюд оценили в четыре с минусом. Четверка по специальности — не проходной балл для театрального института.

— Это и к лучшему, Ивочка,— сказал бодрясь ее отец.— Годик посвятишь мастерству, не торопясь будешь заниматься любимым делом. Я и не рассчитывал на успех. Какая у тебя подготовка? А со школьной скамьи сразу хочешь прыгнуть на сцену.

И он категорически возражал, чтобы Ия понесла документы в другой институт — в библиотечный или историко-архивный.

— Профессия — это на всю жизнь,— твердил он.— Работа должна доставлять удовольствие. Восемь часов скуки ежедневно — это же проклятие. Если сцена твое призвание, держись за нее. Я сам попал в институт с третьего захода. Мы, чалдоны, медленно раскачиваемся, это у нас в крови.

— И все ты выдумываешь, папка, про кровь, великий ты утешитель.

Хороший отец был у Ии, она очень дружила с ним, может быть, потому, что выросла без матери. Мать ее тоже была медиком, но не психиатром, как отец, а микробиологом и погибла, заразившись таежным энцефалитом, когда Ия была еще в детском саду. Так что матери она почти не помнила. А хозяйство в доме у них вела старшая сестра отца, тетя Груша, Аграфена Иннокентьевна. Она кормила, одевала, обшивала девочку, но наставницей быть не могла. Приехав в Москву из глухого молоканского села, тетя Груша так и не оправилась от потрясения. Прожив в столице пятнадцать лет, она сохранила замкнутую настороженность фанатичной сектантки, истово соблюдала посты, читала только «божественное», из дому выбиралась в магазины, на рынок и в молельню, больше никуда. Естественно, тетя Груша не пользовалась в доме авторитетом, ей даже совещательного голоса не давали, а вот с отцом можно было поговорить обо всем: о ролях, о тройках и даже о мальчишках. И хотя Ия, как правило, возражала, отстаивая свою независимость («Ну что ты, папка, это старина, в наше время так не принято!»), но к советам отца прислушивалась.

Послушалась и на этот раз, не стала подавать в другие институты. И понеслись дни, резво поскакали недели. К удивлению, даже и времени оказалось не слишком много. Ия вставала поздно, часика два тратила на «оформление» (ванна, ресницы, прическа, портниха), потом занималась гимнастикой или вслух разучивала роли, пугая тетю Грушу притворными рыданиями. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, ходила на урок к Инессе Аскольдовне, бывшей артистке бывшего Камерного театра, очень манерной, очень накрашенной даме с лиловой сединой. «Ивэтта, моя несравненная прелесть, на сцене надо держаться с предельной простотой»,— говорила она ученице. Затем следовала ссылка на какую-то знаме-

нитость, и в результате урок простоты сводился к увлекательным воспоминаниям о театральных сплетнях тридцатилетней давности. А там подходило время обеда, а там телефонные звонки, а там гурьбой вваливаются мальчишки, у них уже припасены билеты на вечер. После спектакля все вместе провожают Ию, запальчиво осуждая или превознося артистов, долго галдят во дворе, пока из форточек не начнут ругаться заспанные жильцы первого этажа. Если же Ию провожает кто-нибудь один, отделавшись от остальной компании, он медлит у подъезда, переминаясь с ноги на ногу, и тогда Ия замечает на лице у спутника мрачное выражение нерешительной решимости. Это он собирается поцеловать девушку — не от большой любви, а так, потому что думает, что она ждет поцелуя, будет разочарована, если они простятся по-товарищески.

— Спасибо, Виталька (или Валерка, Олежка, Игорек, Вадик),— говорит тогда Ия.— Хорошо, что мы с тобой поговорили как следует. Терпеть не могу мальчишек, которые молчат-молчат целый вечер, а потом лезут с поцелуями. Спасибо, покойной ночи.

И оба расстаются довольные.

Так день за днем, суетливая рутина. Ничего не происходит, ничего не назревает особенного. Но Ия жила в каком-то радостном напряжении, в ожидании чего-то необыкновенного. По утрам просыпалась с улыбкой, словно сегодня день рождения и у постели гора подарков. Чем же одарит ее день, что войдет в жизнь сегодня? Порывисто кидалась на каждый звонок, дверной или телефонный, и без разочарования вступала в рядовую беседу с Виталькой или Валеркой. Приятели приятелями, но дружба — не главное. Главное придет, если не сегодня, то завтра или послезавтра, но придет обязательно. И она ждала со спокойной уверенностью, как будто радость была обещана и гарантирована.

Ию даже не очень огорчало, что компания вокруг нее заметно таяла. Сначала они держались группой — все неудачники, не попавшие в институт. Но ребятам надо было определиться в жизни, они и определились: кто пошел на завод, кто в техникум, кто на службу. На работе появились новые знакомые, может быть и девушки, даже не столь строгие насчет поцелуев. Виталька уехал из Москвы, Валерка скоропалительно женился, Вадик заявил, что театр — это забава, ему надоела охота за лишними билетиками. В общем, к середине зимы из всей компании остался возле Ии один только Сергей, по прозвищу Рыжий.

Лохмы у Сергея были русые, а вовсе не рыжие. Рыжим его прозвали за круглое лицо и нос картошкой, как у Рыжего на ковре. Он был старше других ребят года на два, но в армию его не взяли, потому что он чуть прихрамывал: правая нога у него была короче сантиметра на два. По той же причине он не мог надеяться на сцену, в кружке был суфлером, и по той же причине не мог танцевать. Вынужденный сидеть на диване во время танцев, Сергей имел

возможность только критиковать пары. Он и в драмкружке считался критиком, и в зрительном зале тоже. Ум у него был острый, глаз зоркий, суждения меткие, хотя и односторонние, как бы раздраженно-обиженные. Как старший и самый начитанный, Сергей пользовался непререкаемым авторитетом в компании. Он и в самом деле знал и читал много, всякий раз приносил какие-то сенсационные новинки о генной инженерии, экзистенциализме, битлах, пульсарах и блуждающей маске. Однако знания его как-то пропадали втуне. Сергей работал ночным дежурным, через сутки, с восьми вечера до восьми утра сидел у телефона. Выбрал такую работу, где читать можно было в служебное время. Почему он не учился? Рыжий утверждал, что учение по программе сковывает мысль. «Я ищу свое «я», мне нужно «я», а не диплом,— изрекал он.— Учебники — макулатура, это перечень старого хлама». «Хлам» было любимое слово Сергея. «Дарвинизм — старый хлам, на Западе его давно сдали в утиль». «Бальзак — старый хлам, кто теперь читает классиков?» «И Эйнштейн — хлам со своим заплесневелым детерминизмом, вероятностники разнесли его в пух и прах. Впрочем, и Бор — хлам со своими безумными идеями. Вообще наука — хлам, со времен Шумера и Аккада наука не может объяснить человеку человека. Только в искусстве «я» находит свое самовыражение. Точнее, могло бы найти, но не нашло. Может быть, когда-нибудь найдет кто-нибудь». Сергей намекал, что найдет именно он.

Папа был великим утешителем, а Сергей — великим сокрушителем. И друг к другу они питали искреннюю неприязнь.

Однажды за ужином — нарочно в присутствии отца Ии — Сергей завел свои наукодробительные речи.

— Как можно осуждать огульно? — возмутился отец.— Даже если вы видите недостатки в теории, есть же науки сугубо практические, необходимые настоятельно, медицина например...

— Разве медицина это наука? — прервал Сергей с подчеркнутой иронией.— Это набор устоявшихся приемов. Берутся лечить мое тело, не зная, что и как написано в генах. Дают лекарство потому, что оно помогает иногда. Если это наука, что же называть знахарством? Фокусы! Средневековое шарлатанство!

Папа ничего не ответил, но Ия видела, что он побледнел и кусает губы. Ведь он так уважал свою профессию — деревенский парень, выходец из молоканского села, с великим трудом пробившийся в науку, не светило, но кандидат наук, заведующий отделением в столичной больнице. Папа был взбешен, но считал ниже своего достоинства вступать в пререкания. Папа ответил по-своему.

Часика через полтора, когда разговор о науке давно забылся, ребята старательно отплясывали шейк, а Сергей, развалившись на диване со скучающе-презрительным лицом, уверял Ию, что шейк — старый хлам, на Западе его давно сдали в утиль, отец подошел как бы случайно к великому разрушителю.

— Между прочим, Сережа, может быть, вас это заинтересует,— сказал он.— У нас в Зауралье научились вылечивать хромоту Лечение длительное, требует терпения, но результаты чудодейственные. Совершенно новая методика, противоречит всей прежней хирургии. Распиливают кость, а затем растягивают ее в процессе сращивания. Удлиняют ноги и руки на дециметры, два-три сантиметра — не проблема. Подробности вам не расскажу, это не моя специальность. Но любопытная психологическая деталь: приезжают туда девушки-хромоножки, исцеляются и тут же выходят замуж. Считаются завидными невестами. Они, бедняжки, с детства не избалованы вниманием, домовиты, скромны, привязчивы и добры.

Впервые Ия увидела, как с лица Сергея сошла высокомерная усмешка. Он взволновался, стал расспрашивать, как записываться, где записываться, трудно ли попасть, долго ли в очереди ждать. Папа отвечал серьезно и обстоятельно, без тени улыбки, только в глазах его за стеклами очков Ия уловила смешливые искорки. Она уже открыла рот, чтобы сказать: «Стоит ли возиться, Рыжик, ведь медицина старый хлам, сплошное шарлатанство?» Отец угадал ее реплику, приложил палец к губам.

— Здорово ты его поддел, папка,— сказала она, когда гости разошлись.

— Не люблю пустословия,— пожал плечами доктор.— «Знахарство, старый хлам». А когда пальчик поцарапал, бегом в поликлинику. Мыльный пузырь твой Сережа. К сожалению, мыльные пузыри занимают много места и привлекают взор. Даже нравятся некоторым, даже любуются ими.

Ия удивилась его раздражению. Потом догадалась:

— А, понимаю, ты всех мальчишек рассматриваешь как потенциальных женихов. Не бойся, я не приведу к тебе в дом такого зятя. Рыжик мне совсем не нравится, абсолютно. Но я собираюсь на сцену, я должна изучать всякие жизненные типы.

Среди «жизненных типов» был у Ии и настоящий взрослый поклонник, Маслов, молодой докторант химических наук и старик по ее понятиям, лет тридцати восьми — сорока, с заметной плешинкой на макушке. Ия всегда наблюдала эту плешинку, когда Маслов наклонялся, чтобы церемонно поцеловать ей руку. Он вообще был церемонен, преувеличенно вежлив, медоточив, любил высокопарные слова, отпускал изысканные комплименты насчет внешности Ии, ее платьев, прически, вкуса, изящества, отдельно насчет пальчиков, губок, глазок, щечек. Ия иногда ходила с ним в театр, и не без удовольствия. У Маслова никогда ничего не срывалось («Все как по Маслову»,— язвил Сережа). Билеты доставались заблаговременно, места были отменные, не надо было томиться в очередях или ловить «лишний билетик» у выхода из метро. В антракте бывали пирожные или шоколад, если Ия изволила согласиться, затем следовала чинная прогулка с обсуждением туалетов встречных дам.

Попутно Маслов похваливал фигуру и туалет своей спутницы. Ия чувствовала себя манекенщицей в Доме моделей или даже хуже того — манекеном на витрине с ярлычком: «Невеста-люкс, экстра-класс». Принадлежать к экстра-классу было лестно, быть манекеном скучновато, тем более что Маслов повторялся в выражениях своего восхищения.

От отца Ия узнала, что Маслов считается дельным и перспективным ученым. Но о работе своей он никогда не рассказывал, от расспросов уклонялся.

— Красавица моя, вам это будет скучно-прескучно,— уверял он.— Я занимаюсь изучением длинных-предлинных, томительно-монотонных молекул, увешанных радикалами, унизанных радикалами с невыразительно-однообразными названиями, все на «ин». У меня совести не хватит говорить о них с хорошенькой девушкой в театре.

И переводил разговор на прелестные ручки и глазки.

Ия так и не поняла, Маслов боится ей наскучить или скучает на работе сам. Или же, и такое бывает у специалистов, высоко ценит свои специальные знания, считает, что другие просто не способны понять его.

Однажды Ия нарочно свела его со своими сверстниками. Ребята встретили Маслова в штыки, не без тайной ревности, издевались над ним с откровенной мальчишеской грубостью, вслух хохотали над замысловатыми комплиментами. Ия была уверена, что Маслов исчезнет навеки, но он позвонил на следующей же неделе, пригласил Ию не куда-нибудь — в Театр на Таганке.

— А мне показалось, что вы обижены,— сказала Ия, почти извиняясь. Она чувствовала себя немножко виноватой, если не виноватой, то неделикатной хотя бы.

— Я не отступаю так легко,— заявил Маслов в ответ.— И в конце концов добиваюсь своего.

«Ну-ну! — подумала Ия.— Самомненьице, однако! Но на этот раз ты уйдешь с носом».

Но все же уважение почувствовала: с характером человек!

Одно время был у нее еще один претендент: младший лейтенант Асад — маленький, чернявый, с выпуклыми блестящими глазами. Он заговорил с ней в вагоне метро, вышел на ее станции и сделал предложение на эскалаторе. Это было первое предложение в ее жизни, и вообще у нее разгорелось любопытство: какие это типы делают предложение на эскалаторе через четверть часа после знакомства! Она привела Асада домой и представила отцу. Битый час гость рассказывал, сколько у него родни и какие у родни фруктовые сады у моря, не то у Черного, не то у Каспийского. На том же море Асад служил «на флоте», командовал катером. О службе он рассказывал хорошо, с вдохновением, с огнем в глазах. Катер воспринимал словно горячего коня: скачешь на нем с гребня на гребень,

нахлестывая нагайкой, все лицо в соленых брызгах, упиваешься ветром, кричишь в азарте, догнал вражеский линкор, выхватил торпеду из ножен, жахнул по звонкой броне, раскроил пополам от правого борта до левого.

Асад появлялся несколько раз. И всякий раз Ии казалось, что она сидит на пороховой бочке. Впрочем, «пороховая бочка» — это литературный штамп, Ия никогда не имела дела с порохом, скорее, ей представлялось, что она сидит на бочке с бензином с зажженной сигаретой в руках. Чирк — и пламя кинется с воем ей в лицо. Асад загорался внезапно и стремительно, то и дело норовил сгрести ее в объятия. Надо было вовремя заметить блеск в глазах и вызвать из кухни тетю Грушу.

Забава эта кончилась худо... вульгарно. Гость надавал хозяйке пощечин, крича истерически: «Зачем играешь, зачем издеваешься? Я мужчина, да? Ты женщина, да? Хочешь замуж, иди замуж, предлагал, как человеку. Не хочешь замуж, зачем в дом привела? Я мужчина, да?»

К счастью, тетя Груша была рядом за дверью и надежно вооружена половой щеткой. С помощью щетки она выставила воинственного мужчину.

— Ты у меня доиграешься, девочка,— говорил в тот вечер отец, прикладывая примочку к ее подбитому глазу.— Разве можно приводить в дом кого попало?

Ия отшучивалась:

— Наука требует жертв, папка, ты сам говорил это не раз. Я занимаюсь типологией, исследую типы людей. Такого экспоната еще не было в моей коллекции. Но, к сожалению, люди раскрываются как следует только в тесном общении, с глазу на глаз.

«С глазу на глаз»...— ворчал отец.— Еще чуть, и оставил бы тебя без глаза.

Пристыженная и даже немножко напуганная, Ия просидела в тот вечер дома, прилежно чинила отцовский халат. Но к утру приключение забылось. Утром она опять проснулась в радостном ожидании: что-то ждет ее светлое, что-то необыкновенно хорошее.

ГЛАВА 2

Видимо не очень доверяя благоразумию дочери, старый доктор решил сам пополнить круг ее знакомых.

— Ивушка,— сказал он однажды,— тут у меня сидит один любопытный экземпляр для твоей коллекции. Молодой инженер, талантище, как я понимаю. Пришел консультироваться. Я его вышлю из кабинета на полчасика, попрошу подождать в столовой. Ты возьми интервью, может, пригодится.

«Талантище» был громоздок и велик ростом, даже немножко

сутулился — вероятно, привык пригибаться к собеседнику. Черты лица у него были крупные: крупный нос, крупный подбородок, лоб тоже крупный, но его прикрывала неаккуратная светлая челка. А из-под челки глядели светло-серые, широко раскрытые, как будто раз и навсегда удивленные глаза — у пятилетних бывают такие. А толстые выпяченные губы выглядели обиженными, по-ребячьи обиженными, словно парень получил выговор и надулся, не всерьез, напоказ, чтобы взрослые видели обиду.

«Теленок»,— оценила Ия.

— Ходоров Алексей,— представился «теленок».

— Вы инженер? — спросила Ия.— А зачем пришли консультироваться к отцу?

Она уже научилась брать «интервью». Знала, что людей стоит спрашивать о работе. Если работа их интересует, и о себе расскажут интересное.

Гость не стал ни отмалчиваться, ни отшучиваться.

— Есть инженерное правило,— сказал он.— Машину лучше всех знает тот, кто ее чинит. Крутить баранку несложно, водить вы научитесь за две недели, а хорошим механиком не станешь и за два года. Психику лучше всех знают психиатры, специалисты по ремонту мозгов.

— А для чего же все-таки вам, инженеру, знание психики?

Гость помолчал, как бы подыскивая формулировку или же переводя свои мысли на общепонятный язык.

— Природа едина и слитна, это мы разрезали ее на науки. Разрезали и расставили знания по полкам: тут тебе математика, тут биология, а техника — в соседнем зале. Но когда берешься за мало-мальски крупную задачу, никак не ограничишься сведениями с одной полки. Вот мне пришлось проектировать машину для работы на океанском дне. Материал — металловедение и химия, конструкция — машиноведение, прочность — сопротивление материалов, работа на поверхности — метеорология, среда — океанология, физика моря, на дне подводная геология, тема исследования — гидрология, ихтиология, биология... Не вылезаешь из библиотеки, листаешь-листаешь рефераты до одурения, все равно в душе опаска: вдруг упустил? Вот и идешь к знатоку, к знатоку психологии в данном случае.

— Необъятное объять нельзя,— поддакнула Ия.

— Да, я знаю, это Козьма Прутков сказал: «Плюнь в глаза тому, кто хочет объять необъятное». Но иной раз нужно объять, просто необходимо. Ну вот и стараешься. Если не объять, понять хотя бы.

— Самонадеянный человек вы все-таки. Все объять, все понять. А умные люди знают, что ничего не знают.

Она смягчила одно из любимых изречений Рыжего: «Самый умный тот, кто признает себя дураком».

— Правильно,— согласился Ходоров.— Мир бесконечен, я — ни-

чтожная пылинка. Но из этой истины можно сделать два вывода: первый: испугаться, смириться, смиренно сложить руки, признать свое бессилие и не делать ничего. И второй: знать, что до неба башню не выстроишь, но все-таки строить, свой кирпич добавлять, чтобы за тобой идущие взобрались чуть выше, чтобы их кругозор был чуть шире.

Привычный и натренированный читатель фантастики, вероятно, не увидит ничего примечательного в речах молодого инженера, но Ию они заинтересовали, может быть, потому, что в ее маленьком окружении не было таких верхолазов-монтажников, башни до неба строящих. Сверстники ее еще не приступили к делу, только примеривались, выбирали по вкусу, Сергей же, самый авторитетный в их компании, «искал себя», уверяя при этом, что верхолазы от науки ничего не могут, пыль в глаза пускают, перетряхивая старый хлам. Ия подумала: «Может, и этот новый знакомый пыль в глаза пускает? Надо бы расспросить подробнее».

И когда инженер уходил, закончив беседу с отцом, Ия «совершенно случайно» оказалась в передней с хозяйственной сумкой. И «случайно» ей нужно было пойти в «Дары природы», по направлению к метро. Да, инженер мог ее проводить. А на пути оказалось кино «Горизонт». Ия, как ни странно, еще не смотрела новый фильм с Инной Чуриковой. Инженер самоотверженно составил ей компанию. По дороге и в фойе шел разговор об атомах и бесконечности, расщеплении наук и их синтезе, о технике и жизни. Ходоров легко переходил из одной области в другую, пояснял технические идеи литературными примерами, а литературу — законами математики.

Ия была подавлена эрудицией нового знакомого, даже его невежество в делах сценических не утешало. Правда, он был старше лет на десять, успел накопить знания. Ия, однако, сомневалась, что и через десять лет она будет так свободно обращаться с точными науками.

— Мне цифры всегда казались такими невыразительными, скучными-прескучными,— призналась она.— У вас они так осмысленно выглядят, выпуклые и красочные.

— Скучно ненужное,— сказал инженер.— А если нужно, берешься за скучное, и оно сразу приобретает интерес, потому что небезразлично, голосует «за» или «против». Раньше я терпеть не мог медицины. Болезни, уродства, стоны, что может быть противнее? И вот, видите, консультируюсь у врача, расспрашиваю о психопатах. Понадобилось, стало существенным. И поглощен и увлечен.

Часов в десять вечера двое оказались у подъезда, откуда вышли в половине шестого. Крупные снежинки, как конфетти, кружились в лучах фонаря и бесшумно таяли во тьме. Ия сняла с руки варежку, украшенную белыми звездочками, и, подавая руку, подумала, что

разговор надо бы продолжить. Главное она все-таки не выяснила. Как Алексей нашел себя? Искал долго и упорно, сидя по ночам над мудрыми книгами, как Сережа, или же случайно встал на рельсы (был поставлен на рельсы?) и покатился? Что понадобилось, то и увлекло?

— Мне было интересно с вами,— сказала она. И помедлила, ожидая, что спутник догадается назначить свидание. А когда она свободна? Еще сообразить надо.

Ходоров молчал между тем. Ия подняла глаза... и в качающемся свете фонаря увидела знакомое выражение нерешительной решимости. Инженер терзался, гадая, рассердится ли девушка, если он поцелует ее, или рассердится, не дождавшись поцелуя. Гадал, как мальчишка, как Валерка или Виталька. Ия все это прочла на его лице, и так ей стало скучно, так скучно!

— Ну до чего же вы все одинаковые! — воскликнула она.— Не надо, отойдите на два шага, вы все испортите. Мне было так интересно с вами, как с умной книгой, которую отложить жалко, оторваться не хочется, ждешь не дождешься продолжения. А у вас продолжение такое стандартное: сейчас начнете плести про губки, пальчики, глазки... Ну вот вы, совсем взрослый, скажите мне, взрослый человек, неужели ни один мужчина не может дружить, вот именно дружить с девушкой? Иной раз так хочется посоветоваться, поговорить откровенно. Брата у меня нет, папе не все скажешь: слишком близко к сердцу примет, а ему волноваться вредно. Лучше уж постороннему, безразличному. Вы, скажем, могли бы говорить со мной честно о самом сокровенном?

— Я постараюсь,— сказал Ходоров послушно.— Давайте попробуем. Завтра вечером вы свободны?

«Завтра? Завтра четверг, урок у Инессы Аскольдовны, пятницу и выходные лучше не занимать. Понедельник — день тяжелый и опять урок... Что остается?»

— Давайте во вторник на той неделе,— сказала Ия.— Только не дома, дома все время телефон. Вы всегда кончаете в пять? Очень хорошо. Тут недалеко кафе «Романтики», не доходя «Музыкальных пластинок». В шесть там еще свободные столики, никто подсаживаться не будет. Два часа хватит нам на разговоры? А в восемь разойдемся, каждый на свое свидание — вы на свое, я на свое. Там и будете плести о пальчиках и щечках. А у нас важный разговор о сути жизни, всерьез и с полной откровенностью.

Когда мне в «Романтиках» рассказали этот эпизод, честно говоря, я усомнился в искренности Ии. И, пересказывая его, спрашивал знакомых женщин, может ли это быть, чтобы девушка огорчилась из-за того, что к ней отнеслись как к девушке, не просто как к человеку.

Половина женщин ответила: «Конечно, девчонка притворялась. На самом деле была рада-радешенька, цену себе набивала».

А другая половина сказала: «Очень может быть. Весьма правдоподобно. У меня самой был такой случай, когда...»

Кому верить?

Я лично думаю, что все зависит от личной судьбы. Чего не хватает, о том и мечтают. Те, кому не хватало любви, не представляют, чтобы девушка огорчилась, услышав комплимент. Те же, кому достается внимание в избытке, могут и поморщиться. Как женщин их уже оценили, хочется, чтобы увидели в них человека.

Ии внимания хватало. Маслов ухаживал за ней с серьезными намерениями, Сергей — ревниво и раздражительно, Асад — с темпераментной страстью, соученики — с мальчишеской неловкостью.

Еще один неловкий мальчишка? Пожалуйста, не надо!

ГЛАВА 3

Ия без нетерпения ожидала следующей встречи, даже чуть не забыла о ней. В четверг у Инессы Аскольдовны было очень интересно, пришли гости, ветераны сцены, с умилением вспоминали корифеев, кто кого любил, с кем изменял, как ссорились, как подводили, подсиживали. В субботу всей командой ходили в театр, в воскресенье обсуждали спектакль. Сергей, по обыкновению, оригинальничал, утверждал, что «Десять дней, которые потрясли мир» никого не потрясают в наше время, вообще театр выдыхается, нужно искать некий синтез искусства с техникой. Ия вступилась за традиционный театр, ей было сказано, что она восторженная дурочка.

— Зачем же ты ходишь к дурочкам? — вскинулась она.

— А я не ищу ума в девчонках,— заявил Сергей высокомерно.

— Ну и катись тогда,— сказала хозяйка.— От двери до улицы двадцать шесть ступенек, пересчитай, пожалуйста.

Сергей ушел, объявил, что ноги его в этом доме не будет, его не интересуют почитатели старого хлама. Не позвонил в понедельник и не позвонил во вторник, хотя до этого договаривался повести Ию на квартиру к «гениальнейшему художнику всех времен». Грозил пустой вечер, и только тогда Ия вспомнила о своем «вторичном» знакомом. Может быть, он объяснит ей со всей откровенностью, как это мужчины могут сидеть у девушки пять дней в неделю, обсуждать с ней все на свете и считать глупенькой. Или мужчина подобен токующему глухарю: когда разглагольствует, ничего не слышит? Может глаголить и для глупенькой, только фигурка имеет для него значение? А если фигурка дает от ворот поворот, немедленно бежит к другой, еще более глупой? Сам-то Алексей как развлекается от вторника до вторника? Обещал рассказать откровенно. А Ия решится без утайки рассказывать обо всех своих увлечениях, с пятого класса начиная,

когда она, сидя на дереве, объяснилась в любви пионервожатому?

«Там будет видно,— решила она.— Первое слово дадим мужчине. Посмотрим, как он раскроется».

Ходоров пришел ровно в шесть часов и без цветов. Решили же: ни тени ухаживания, деловое обсуждение. В «Романтиках» было еще пустовато, даже у окна свободны столики. Выбрали третий от входа. Ия от обеда отказалась, попросила только мороженого. Алексей не без интереса выбрал порционное по меню. После этого полагалось ожидание: ждать, чтобы официант подошел, чтобы принял заказ, чтобы принес салат, хлеб и минеральную, чтобы повар приготовил порционное... двадцать минут. Ия знала: не для еды же идут в кафе. Алексей же, видимо, не знал порядка: молчал, то ли не придумал, как приступить, то ли не хотел навязываться.

Ия решительно взяла на себя инициативу:

— Честно выкладывается самое затаенное. Начинайте.

— А вы?

— Я после вас.— Ия положила локти на стол, поглядела с вызовом.

Алексей поерзал, настраиваясь.

— Ну что ж, начинаю без предисловия. Есть у меня главное в жизни, есть сокровенная мечта. Мечта моя: гармоничный человек.

Ия была несколько сбита с толку. По ее представлениям, главное, затаенное, сокровенное должно было относиться к области интимных чувств. Она и ждала излияний. Гармоничный человек? Может быть, гармоничная любовь имеется в виду?

— То есть вы хотите стать гармоничным человеком? — спросила она, перестраиваясь на ходу.

— Не совсем так. В школе хотел действительно. Глупый был, честолюбивый, выделиться стремился. Но толкового не извлек ничего: кто дурака валял, кто хохмил. Трое написали мне, что гармоничный играет на гармошке. Потом услышал на уроке физики: в науке все решает опыт, Король Опыт. Но как ставить опыт на людях? Подумал: хорошо бы иметь модель человека, на ней ставить опыты. Подумал и отложил в долгий ящик. У студента свои заботы, он сам — подопытная модель. Но вот сейчас уже в НИИ оказались возможности, и снова вспомнил я затаенное, затеял строить эту модель.

— Что значит модель человека?

— Машина, но видящая, как человек, рассуждающая и чувствующая, как человек.

— Разве может машина чувствовать?

Ия усомнилась только насчет чувства. Предыдущее поколение спорило: может ли машина мыслить? Тогда популярные журналы были переполнены статьями о механическом мозге, электрическом мозге, машинном разуме, машинах-шахматистах, машинах-переводчиках. Хотя Ия не интересовалась наукой, но кое-что о машинном

рассудке она слышала. Но не о чувствах. Кроме того, как и полагается девушке, чувства она ставила много выше разума.

— А вы можете чувствовать? — ввернул вопрос Алексей.

— Конечно. Я живое существо.

— Вот видите, вы живое существо, материальное, состоящее только из атомов, можете чувствовать. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что состоите только из атомов?

Ия хмыкнула неопределенно. Возразить она не решилась, но в глубине души сомневалась, что состоит только из атомов. Не может быть, чтобы из вульгарного водорода, кислорода, азота и желтой серы состояло ее обаяние, изящество, аромат юности, артистичность, волнующая прелесть.

Алексей заметил недоверие.

— Я уже привык к скептикам и всем объясняю одно и то же. Тут сбивает с толку скачок, разница уровней. Вот поглядите на ту сторону через улицу. Громадный многоэтажный дом, люди на тротуаре, как козявки. Никому и в голову не придет попробовать прыгнуть на крышу. Но по лестнице даже и без лифта поднимется каждый. Природа надстраивала свою биологическую лестницу три миллиарда лет, прежде чем добраться до человека. Если забыть о трех миллиардах лет, результат сногсшибательный. К сожалению, слишком долго рассказывать все это.

— У нас есть время,— сказала Ия самоотверженно.— Как условились — до восьми часов.

Алеша начал... и действительно говорил два часа. Но двухчасовая лекция — это добрых пятьдесят страниц, нельзя столько вставить в повесть. К тому же мне лично Алеша не читал лекцию в «Романтиках», мне он нарисовал таблицу на бумажной салфетке, видимо отработанную после многократных повторений.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА

Ступень	Задача	Органы	Слабости	Характерные виды
1. Генетическая	Построить организм и обеспечить его функции	Молекулы ДНК, клеточное ядро	Не учитываются изменения среды (времена года и т. д.)	Бактерии. Одноклеточные
2. Гуморальная (химическая)	То же, но с учетом внешней среды	Гормоны. Кровь. Сок	Медлительность. Не годится для ловли добычи и бегства	Растения. Одноклеточные
3. Программная (безусловно-рефлекторная)	Движение для ловли добычи и бегства	Нервы. Нервные узлы	Не предусмотрено изменение обстановки, новое поведение, личный опыт	Беспозвоночные

Ступень	Задача	Органы	Слабости	Характерные виды
4. Условно-рефлекторная	Накопление личного опыта	Мозг	Сиюминутность и эгоистичность. Приятно – больно, сытно – голодно сейчас. Опыт не передается потомкам. Трудны коллективные действия	Позвоночные
5. Сознательная	Забота о будущем. Передача личного опыта. Коллективные действия	Кора головного мозга	Называйте сами	Человек

— А у машин последовательность иная,— добавил Алеша.— Там первые две ступени не нужны, ведь мы сами строим машины, не поручаем им следить за построением своего машинного тела. Так что первой ступенью была программная, а за ней пойдут уже машины движущиеся, и машины говорящие, и машины, выбирающие свое движение, а там и чувствующие. Ну и соответственно надо будет конструировать им блоки — органы для движения, для речи, для выбора, для чувств и для рассуждения. У людей — органы, у машин — блоки.

На графике все это было наглядно и понималось быстро, в словесном же изложении заняло много времени — все время, отведенное для встречи. Алеша спохватился без пяти восемь.

— Что же это я все часы забрал эгоистически. А вы про себя ни полслова.

— Обо мне в другой раз. Значит, в следующий вторник, ровно в шесть. Нет, не провожайте меня, не надо, бегите на свое свидание. А я уже опаздываю на свое.

На самом деле никаких свиданий у Ии не было. Но ей расхотелось откровенничать с Алешей. Да и неуместно было бы после лекции о биокибернетике. Ия пошла домой, уселась на кушетку, обложилась подушками, включила проигрыватель, достала дневник. Особого рода дневник она вела: записи о знакомых под заглавием «Альбом типов». Подумав, заложила страничку треугольником, вывела на ней красивыми буквами: «Тип VI. Верхолазы».

И записала:

«Сегодня я познакомилась с человеком, лезущим вверх по ле-

стнице. За ним занимательно следить, потому что он в движении: лезет вверх. Как в кино — от кадра к кадру маленькое, но изменение. Будем встречаться по вторникам, раз в неделю. Надеюсь, что за неделю он сумеет подняться хоть на миллиметр. Жалко, если не сумеет, тогда весь интерес пропадет.

До сих пор мне не встречались такие, явно лезущие вверх. Маслов? Может, он и лезет, свою диссертацию продвигает, но меня не посвящает, я для него — внеслужебное развлечение. Сергей никуда не лезет, это я понимаю точно; он сидит в своем подвале и мрачно вещает, что звезд не существует вовсе, звезды — миф, все разговоры о звездах шарлатанство. Почему он такой злой? Может быть, потому, что нога больная, невозможно по лестнице карабкаться?

А я карабкаюсь куда-нибудь?

А папа?

Кажется, нет. У папы иной характер. Папа ужасно скромный. Я все слышу от него рассказы о деревне, где лечили молитвами и наговорами, и каким волшебником показался ему хирург в районной больнице. И вот папа сам стал доктором, для него это вершина счастья. Он лечит и вылечивает — одного больного, другого, третьего... сотого. Каждое излечение — обособленный холмик. Очевидно, не всякая профессия располагает к этакому последовательному альпинизму».

Ия поставила точку, закрыла свой «Альбом типов», заперла на ключик в заветном ящике, а потом все-таки опять вынула, чтобы дописать:

«Жалко будет, если Алексей разочарует меня. Возможно, выяснится, что он никуда не лезет, только собирается или воображает. Но все равно я буду искать таких верхолазов. Хорошо бы найти много, на все дни недели: Алексей —товарищ Вторник, кто-то другой — товарищ Среда, товарищ Четверг и так далее. Буду встречаться со всеми по очереди, сравнивать продвижение».

А почему Ию взволновал образ научной лестницы? Это уже я, автор, спрашиваю. Не потому ли, что она была дочкой своего отца, который уже прошел путь от сектантской деревни до высшего медицинского образования? Но для него высшее образование было высотой, вершиной восхождения, а для Ии, как и для Алеши,— пьедесталом.

И хотя Ия еще не достигла этого пьедестала, мысленно она отправлялась от него.

ГЛАВА 4

— Я ничего не понимаю в технике и не могу судить вас,— сказала Ия в следующий вторник.— Я просто поверила, верю, что можно сделать и говорящую машину, и даже, допустим, чувствующую. Но

зачем это нужно? Чувствующая машина — это же противоестественно.

— Я и сам не сразу понял, что нужно,— сказал Алеша.— Понял, когда мы испытывали самодвижущуюся машину, автомат ПА-24. Это было два года назад на Тихом океане.

Но про океанские приключения ходоровской машины мне рассказывал другой человек (мир тесен!) — геолог Сошин, Юрий Сергеевич.

Сошин был замечательной личностью в своем роде, я ему посвятил две книги, и еще материала осталось на две. Представитель самой романтичной из наземных профессий, он презирал самое слово «романтика». Жизнь его была сложена из приключений, кое-как сцементированных зимними отчетными месяцами (камеральной обработкой), но Сошин уверял, что в хорошей экспедиции приключений не бывает никаких. «Приключения от глупости,— говорил он.— Лодку перевернул на пороге — вот приключение. Но если лодку перевернул, коллекцию утопил, какой же смысл в экспедиции?» Задача профессии его была самая вдохновенная — видеть сквозь землю, угадать под непрозрачными толщами драгоценные клады. Но Сошин вносил во вдохновение методичность бухгалтера. Все у него было продумано и расписано: как собираться в дорогу, что брать с собой и как укладывать, как ходить, как тратить силы и как беречь, на что смотреть, что игнорировать, как записывать, как обсуждать, как терпеть и как гореть, как зажигаться и зажигать других, как придерживать и планировать вдохновение. И все это изображалось на графиках, все излагалось афоризмами в суворовском стиле, например таких: «Вперед идти или возвращаться? Усталость всегда голосует за возвращение. Конечно, идя вперед, может быть, ты и не найдешь ничего, но вернувшись, не найдешь наверняка».

Не могу сказать, что Сошин был влюблен в геологию. Влюбленность подразумевает волнение, порыв, вспышку страстей. Сошин же был предан своей науке бесстрастно, верен неукоснительно, пожизненно и ежечасно, на работе, дома, на пляже и в театре. Он даже возмущался, если его собеседники (или собеседницы) протестовали против разговоров о геологии на отдыхе. Неужели кому-то интереснее моды и разводы?

И вот этот философ и методист геологического вдохновения был прислан к Ходорову в качестве консультанта. Естественно, ведь подводные-то автоматы с самого начала предназначались для исследования океанского дна.

Очередная усовершенствованная модель ПА-24 испытывалась в Тихом океане, поскольку здесь рекордные глубины по соседству с сушей, каких-нибудь двести километров от Курильских вулканов до таинственной щели Тускароры. Именно поэтому Алеша оказался на Курильских островах и сюда же прилетели его консультанты, в их числе и Сошин.

Картинно описывал мне Сошин природу Курил. Островную дугу он сравнивал с челюстью великана, который захотел выпить море и не сумел, окаменел с разверстой пастью. Каждый остров — зуб (ничего себе зубики!), иные раскрошились от старости, у иных пустое дупло (кратер), заполненное соленой водой. И вот стоит среди вод это полукольцо с черными отвесными стенами, стоит наперекор пенным валам. А вулканы! Клокочущая гора, содрогающаяся, как кипящий чайник на огне, фонтаны ошпаривающего пара над трещинами, сотни шипящих фонтанов. И клубы бурого дыма над вершинами, по ночам освещенные зловещим пламенем изнутри. Но тут же рядом мягкие зеленые холмы, волнующиеся заросли бамбука, пологий берег. И машина мчит по мокрому песку, давя хрустящие раковины в лужах, а из белесого тумана, цвета чая с молоком, выкатываются могучие валы, шелково-серые или свинцовые с мыльной пеной на гривах. Выкатившись, замирают на секунду, как бы примериваются для удара и вдруг с яростным грохотом рушатся на сушу, загребают гальку, с ворчливым рокотом волочат в туман.

Перед лицом этой стихии такой беспомощной выглядела горсточка людей, что-то затевающих на пляже, такой несерьезной — решетчатая конструкция ПА-24, похожая на каркас разобранного для ремонта «козлика». Первая мысль была: неужели эта жиденькая машина предназначена для покорения рекордных глубин океана? Несолидно! Легкомысленно!

А между тем несолидная решетчатость машины была задумана нарочито. Более того, сквозная прозрачность была главным козырем Ходорова. Ведь почему проникновение в глубины так трудно для человека? Потому что мы дышим воздухом, нам необходимо кусок атмосферы таскать с собой, сохранять под водой этот воздушный пузырь, несмотря на чудовищное давление: 100 атмосфер на глубине километра, 1000 и более атмосфер на самом дне. Давление как в паровом котле, как в турбине высоких параметров. Вот техника и городила стальные панцири, словно для паровых котлов и турбин: жесткие водолазные скафандры, жесткие подводные лодки, броненосные батисферы, батистаты, гидростаты. И все для того, чтобы давление не расплющило запаянную банку с воздухом, где сидит и дышит человек.

Но машина-то не дышит. Ей не нужен воздух и не нужен панцирь для воздуха. Никаких подводных пузырей, пусть все ее детали находятся в воде. Печатные схемы, сети и блоки можно впрессовать в пластины, металл изолировать от воды стеклом или пластиком. И проблемы давления не существует: все получается легким, плоским, пластинчатым или решетчатым.

И кажется непрочным человеческому взору, привыкшему надежность связывать с массивностью, монолитностью.

Сам Алеша тоже показался несолидным при первом знакомстве. Вот какими словами описывал его Сошин:

«Худой, высокий, похож на непомерно вытянувшегося подростка. Лет двадцать восемь было ему тогда, для начальника экспедиции маловато. Глаза светлые, близорукие, немножко неуверенные; толстые, добрые, выпяченные губы. У начальника губы должны быть поуже, ему приходится зубы стискивать. Ходоров был похож не на взрослого инженера, а на многообещающего вундеркинда, из тех, что забирают все премии на школьных олимпиадах и с первого курса пишут научные работы. Поддавшись просьбам профессоров, я иногда брал таких в экспедицию и с ужасом убеждался, что все теории они знают наизусть, в уме перемножают трехзначные числа, но дров для костра наколоть не умеют, ужа не отличают от гадюки, не удосужились научиться плавать, пуговицы пришивать, портянки заворачивать. А лето коротко, и предпочтительнее не тратить время на изучение этих разделов геологии».

«Одним словом, я бы этого Ходорова не взял в свою партию» — так заключил Сошин.

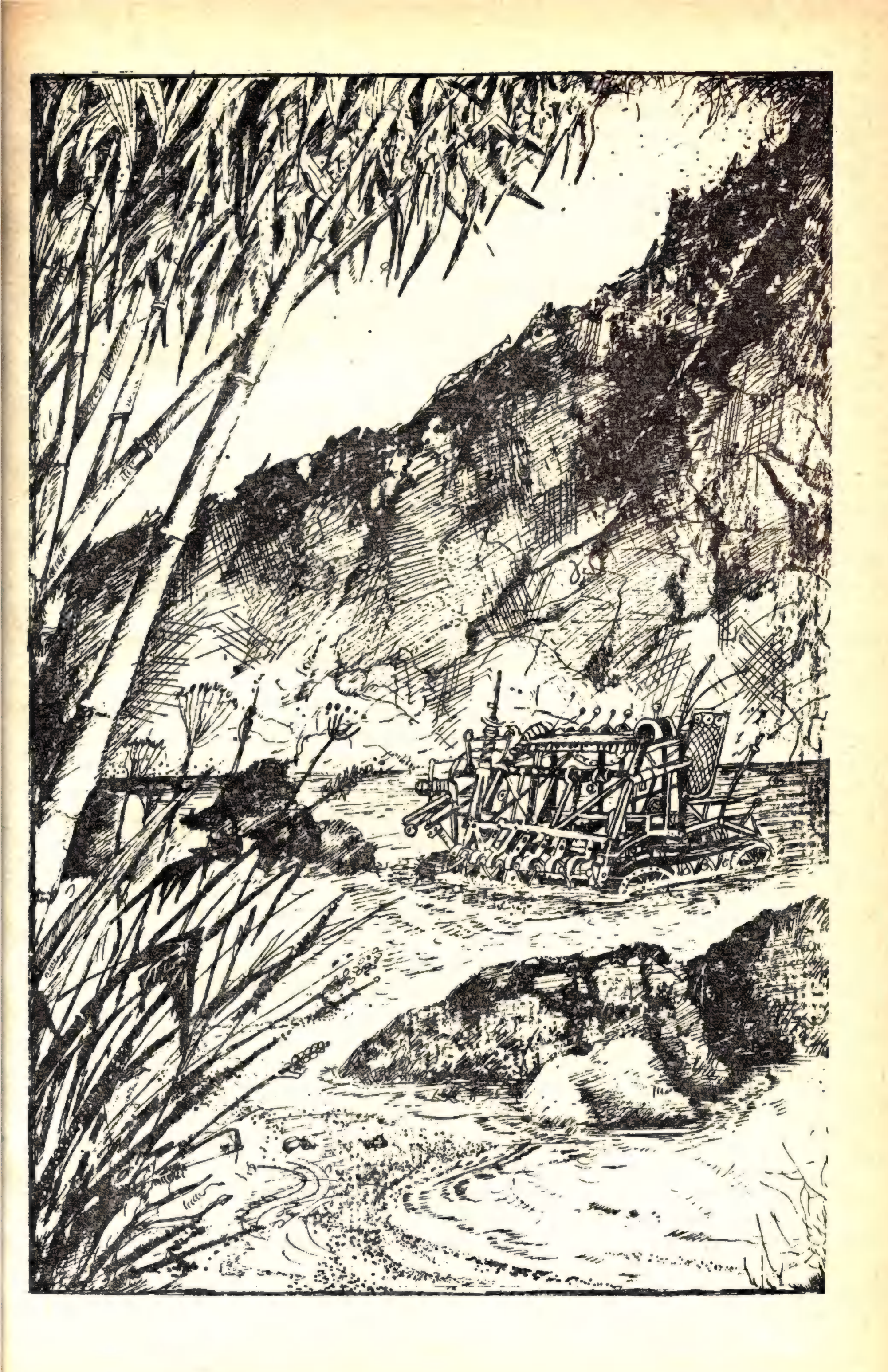
Вероятно, неорганизованность больше всего возмущала Сошина, этого великого бухгалтера озарения. Алеша действительно был прескверным организатором — не в том были его достоинства. Ия поняла это позже.

Алеша был шахматист по складу ума, шахматный комбинатор. Со школьной скамьи его увлекала игра с числами, из чисел он выкладывал чудеса. И призы забирал на олимпиадах, и научные работы писал с первого курса, как догадался Сошин, и сразу из института попал в конструкторское бюро, а через год стал начальником группы, притом ведущей — группы общего программирования автоматов. В голове его легко создавались великолепные композиции из чисел, формул, блоков, емкостей и сопротивлений, механических пешек и фигур. Но если какая-нибудь биологическая фигура (слесарь-механик или дежурный электрик) работала с ленцой, композитору легче было самому сбегать на склад, чем исправлять качественную неполноценность этой фигуры.

Наконец, уже во втором часу, с опозданием на полдня, был дан старт.

Лязгая гусеницами по камням, машина двинулась к ближайшей бухточке. Люди провожали ее, крича и махая платками, хотя махать было некому, в решетке никто не сидел. Внезапно Сошин заметил, что на пути машины торчит острая ребристая плита, как раз под самый клиренс, вот-вот напорется, забуксует. Кинулся оттолкнуть. Куда там! Плита и не шевельнулась. Но, демонстрируя свои таланты, машина сама обошла препятствие. Не доходя метров пяти, взяла в сторону, объехала плиту и вывернула на прежний курс.

Берег сравнительно круто спускался к воде, но машина и тут не сплоховала. Немножко притормозила, взяла чуть наискось, мягко съехала, увлекая за собой мокрую гальку. И вот уже гусеницы шлепают по воде, струи заливают ступицы. Мотор не заглохнет ли?



Нет, уже и ребристый вал покрыт водой, лопатки взбивают пену. Словно робкий купальщик, машина постепенно погружается по «колени», по «пояс», по «грудь». С полминуты еще режет волну острым носом, а там и нос нырнул, волны переплескивают через него. Некоторое время еще скользит над водой антенна, словно перископ подводной лодки. Скользит, скользит и погрузилась. Неспокойное море стирает треугольный след. Что там происходит сейчас под этой блестящей колышущейся поверхностью? Хорошо бы увидеть.

В том-то и дело, что можно было видеть.

Ходоров пригласил гостей в смотровую. Открыл дверь, обыкновенную дверь, обитую войлоком, а за ней оказался подводный мир.

В смотровой было несколько экранов: передний большой, два маленьких у самого пола, боковые — справа и слева, один на потолке и еще задний. Ни единого окна, одни только экраны: внизу видно дно, сбоку и наверху — вода. И так как изображение проплывало с переднего экрана через боковые на задний, создавалась полная иллюзия передвижения. Даже укачивало немножко, поскольку, пробираясь между подводных скал, машина то зарывалась носом, то переваливалась с боку на бок. Одна из зрительниц, особенно склонная к морской болезни, выбежала бледная, прижимая платок ко рту.

Отчасти даже хорошо было, что старт запоздал. Утренний туман успел рассеяться, и экраны светились радостным золотистым светом. В золотисто-зеленой воде расплывчатыми тенями проплывали скалы. Над ними шевелились водоросли, словно волосы, вставшие дыбом. Развевались зеленые ленты морской капусты, волновался красный и бурый мох. Мелькали похожие на астры актинии, белые, розовые и кремовые морские лилии с пятью лепестками вокруг хищного рта. Глаза не успевали все охватить, все заметить. «Смотрите, смотрите!» — слышалось то и дело. Вот стайка рыбок разлетелась брызгами, уступая машине дорогу. Рядом хищник, проголодался, распялил рот, всосал ближайшую. Пронесся толчками маленький кальмар — живая ракета, изобретенная природой. Выталкивая воду, вытягивал щупальца в струнку, а исчерпав инерцию, сжимался в комок. А вот оранжевая офиура, словно пять змеек, сросшихся головами. Смотрите, смотрите!

Безжалостно давя хрупкие раковины, машина переваливала через скалы, лавировала, обходя одинокие рифы, прибавляя скорость, всплывала, чтобы преодолеть каменный барьер или расщелину. Она прокладывала путь с такой уверенностью, будто за рулем в ней сидел опытный водитель, много лет проработавший на подводных трассах. И зрители после каждого броска невольно начинали аплодировать. Кому? Сегодняшнему имениннику — конструктору этой смышленой машины.

Именинник между тем стоял в углу, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, как капитан Немо. Вероятно, поза его должна бы-

ла выражать хладнокровие, но хладнокровия не получилось. Мысленно он сидел в машине, и это выражалось на его лице. Если на нижних экранчиках проползал полосатый, разрисованный рябью песочек, Алеша облегченно улыбался, морщины на лбу его разглаживались. Когда появлялись камни, он хмурился, выражение лица становилось горестным. А когда машина застревала, Алеша весь напрягался, даже наклонялся, словно плечом хотел подтолкнуть, приналечь.

Можно было понять его. Он чувствовал себя как тренер, выпустивший на стадион ученика и вынужденный надеяться, только надеяться, что молодой спортсмен не подведет. Чувствовал себя как моделист, отправивший в полет модель. Пока была у тебя в руках, ты был хозяином, мог подправить, переделать. Ты ее создавал, ты породил... но теперь она в воздухе, летит. И помочь ты уже не в силах. Милая, не подведи!

Километры за километрами от берега, метры, десятки, сотни метров вглубь. Светящиеся цифры на табло оповещали, что машина побивает один рекорд за другим. Далеко позади остались рекорды ныряльщиков за жемчугом, рекорды аквалангистов, рекорды водолазов в жестких костюмах. Не только цифры — самый цвет воды сообщал о глубине. Золотистая зелень мелководья сменилась темной, густо-малахитовой, потом зелень пропиталась сумраком, уступила место прозрачной синеве вечернего неба. И как полагается к вечеру, синева мрачнела, лиловела, чернела. На двухсотметровой еще виднелись черные силуэты водорослей. Впрочем, попадая в луч прожектора, они неожиданно оказывались красными. И рыб много было красных, и морских звезд. Красные лучи не доходили сюда с поверхности, красный цвет был здесь защитным.

Ниже вечерняя синева сменилась угольной чернотой запертого погреба. Но как только машина останавливалась, тьма оживала. Подвижные цветные созвездия окружали машину. Вот подводная Кассиопея — рыба с пятью голубыми пятнами в виде буквы «М». Другая с желтыми точечками на боку, как бы далекий океанский лайнер. Вот светящаяся пасть на маленьком вертящемся тельце, светятся глаза, светятся плавники. А вот порыв огненной вьюги, снопы искр, метеорный поток... креветки всего лишь.

Двое суток продолжалось путешествие. Не без приключений, не без волнений. Не раз бывало, что цифры, бодро скачущие на табло, вдруг застывали, и береговые пассажиры подводного корабля, Сошин среди них, с надеждой смотрели на Алешу: «Неужели кончилось странствие? Неужели тупик? И больше не увидим ничего? И помочь никак нельзя?»

Чем мог помочь Алеша? Послать приказ? Но не всякий приказ машина могла выполнить.

Однако о приключениях машины со слов Сошина я написал целую повесть. Она так и называлась: «Приключения машины, или Наш подводный корреспондент». Желающие могут познакомиться

со всеми подробностями по той повести. Здесь же я не хочу приводить ее полностью. Опасаюсь, как бы читатели не забыли, что нам нужно еще вернуться когда-нибудь к Ии в кафе «Романтики».

Итак, на третий день спуска (а для Ии это был второй вторник) на табло появилось пятизначное число — единица с пятью нулями,— глубина десять тысяч метров! Пятизначное число встретили аплодисментами, поздравлениями, объятиями. У Алеши остались синяки на плечах: каждый хлопал что есть силы.

Глубина десять километров, машина на дне Курильской впадины. Скачка по скалам кончилась, свет прожекторов упирается в непроглядную муть. Под гусеницами не то слякоть, не то кофейная гуща. В сущности, даже дном это можно назвать только условно; скорее, не дно, а уровень более плотной мути. Из нее, как обломанные зубья, торчат полузанесенные скалы, свалившиеся с откоса.

— Алексей Дмитриевич, мы не завязнем в этой грязи?

Зрители уже не отделяют себя от машины. Им кажется, что они сами путешествуют в глубинах.

— Не бойтесь, это предусмотрено. Мы так и ждали.

Но вот из желтоватой мглы выдвигается серая тень. Подходит вплотную, становится определеннее. Машина останавливается перед отвесными базальтовыми столбами. Этакий каменный шпунт, забитый в дно. Противоположный край глубоководной пропасти — начало океанского ложа.

Если бы океан внезапно высох, удивительная картина предстала бы перед глазами людей. Они увидели бы узкую пятикилометровую долину, почти ущелье, занесенное красноватым илом, и с обеих сторон его горные массивы, не хребты, а каменные стены. На востоке стена высотой в три-четыре километра, почти отвесная, серо-черная, угрюмая. На западе стена полосатая, пестрая, разбитая трещинами, украшенная причудливыми утесами. Полнеба заслонила бы та стена, и где-то на горизонте в голубом мареве на 11-километровой высоте еле виднелись бы конусы курильских вулканов с дымками на некоторых.

Виднелись бы! Но океан не высох. Прозрачная чистая океанская вода не так уж прозрачна на самом деле. На глубину в десять километров она не пропускает ни единого луча. Подводное ущелье было заполнено черной, как смола, жидкостью, и не было возможности полюбоваться его суровой красотой.

ГЛАВА 5

«Горячо поздравляем замечательным успехом. Желаем новых творческих достижений. Начальник ОКБ Волков».

Через час вторая телеграмма из того же ОКБ, за той же подписью. «Сообщите точный срок выхода машины на берег».

И третья через два часа:

«Молнируйте точный срок выхода машины, возможность повторного рейса. Встречайте комиссию регистрации рекорда».

— Да где же мы разместим комиссию? — спросила радистка, вручая депешу Алеше.— У нас же палатки!

Алеша даже побледнел, перечитывая. Но не палатки смущали его. Беда в том, что связь с машиной была утеряна четверть часа назад.

Виноват был, пожалуй, не Алеша. Виноват был, скорее, Сошин с его геологической философией: «Если пойдешь дальше, неведомо, найдешь ли новое, но если вернешься, нового не найдешь наверняка».

Сошин был особенно настойчив, может быть, потому, что на Курилы попал после большого разочарования.

Началось-то очень заманчиво. Ранней весной с Камчатки пришло известие: «Открыта алмазная трубка. Новое месторождение. На Камчатке вторая Якутия!» Областные геологи пришли в волнение, все силы бросили на алмазы, вызвали консультантов из Москвы, Сошина первого. В конце июня, бросив начатую экспедицию, он с Памира прилетел в Алмазную падь.

И скоро понял, что никакой трубки нет.

Конечно, нарочитого обмана не было. Была неопытность, торопливость, страстное желание сделать открытие. В общем, кто хочет видеть сны, тот видит. Доказательства подменили энтузиазмом, выхлопотали средства, привлекли «силы», и «силам» пришлось обоснованно убеждать, что месторождения нет. Как ни странно, опровергать в науке не менее трудоемко, чем находить. Ведь открыть достаточно один раз в одном месте, а отрицать надо везде. И открыватели при этом обижаются, упрямятся, требуют проверки и перепроверки, указывают другое место, третье, четвертое, спорят со скептиками, честят их ретроградами и предельщиками.

Есть люди, которые с удовольствием закрывают чужие открытия, с удовольствием поучают зарвавшихся энтузиастов, ощущая при этом свое превосходство. Сошин не принадлежал к числу этих снисходительных менторов, он предпочитал делать открытия сам. Лето, потраченное на опровержение, казалось ему утомительным и бессмысленным. Ну, оказался он прав, но чему радоваться? Алмазов-то нет.

И вот, сидя в экранной, пока Алеша с волнением следил за действием машины, а океанологи любовались созвездиями подводного мира и спорили о видах, семействах и классах, Сошин ловил свое: сведения о минералах, обнажениях и залеганиях, прикидывал, какие ископаемые стоит искать здесь.

Ступени спуска, уступы, по которым шагала машина, напоминали ему молодые горы, такие, как Альпы или Гималаи. Горы могучие, грозные, но не слишком щедрые на ископаемые. Дело в том, что они образовались из массивных толщ осадочных пород, таких, как песчаники и известняки, пород широко распространенных и не слишком ценных поэтому. Толщи эти надвинуты одна на другую,

редкостные глубинные минералы похоронены под ними в глубине. Бурить наугад многокилометровые скважины, да еще под водой, не имеет смысла.

И сама щель с ее рекордными глубинами не заинтересовала Сошина. Не увидел он намека на практическую пользу и там. Другое дело — противоположный склон с базальтовыми столбами. Сошину почудилось сходство с тектоническими глыбами Африки, Южной Америки, Индии, Восточной Сибири. Склон обещал такие же ископаемые, как в Южной Африке, Бразилии, Индии, Якутии... Точнее, не обещал, но давал надежду найти. Алмазы, в частности.

С этим рассуждением Сошин и приступил к Алеше.

Родственные души поняли друг друга. Вчерашний успех был для обоих вчерашним делом, волновало, что же дальше. Рекордная глубина взята, а за ней что? Сошину захотелось присоединить кибернетику к геологии, а Алеше — геологию к кибернетике.

И он охотно разложил перед Сошиным карту океанского дна.

— Прошу вас, Юрий Сергеевич, проинструктируйте машину, как и где искать ваши алмазы. Но учтите: она действует автоматически, не понимая, что делает. Представьте себе, что у вас очень старательный, очень исполнительный, точный, неутомимый, но ничего не соображающий помощник.

— Терпеть не могу исполнительных идиотов,— проворчал Сошин.— Всегда старался избавляться от них.

— Тогда попробуйте мне объяснить, а я уже переведу на идиотический язык.

Сошин начал рассказывать:

— Чтобы найти породы, мы, геологи, стараемся уяснить их происхождение. Прежде всего — образуются ли они в осадках или в застывающей лаве? Алмазы являются на поверхность вместе с самыми глубинными породами. Они находятся, возможно, и образуются в жерлах особенных вулканов, в так называемых трубках. Трубки эти обычно заполнены кимберлитом, синей глиной.

Выслушав лекцию (на самом деле она была гораздо длиннее), Алеша сказал:

— Попробуем сформулировать задачу. Итак, вы предлагаете подняться на плато восточнее впадины и там искать трубки. Как они ищутся?

— Вулканы образуются на разломах, обычно в зонах растяжения. Нужно после краевого поднятия искать прогиб, в нем перегиб.

— Перегиб машина найдет, это я запрограммирую. А что искать в прогибе?

— Выходы древних пород.

— Как их отличить — древние? На машине нет геологических часов. И были бы, анализ занял бы слишком много времени.

— Древние породы — глубинные. Они отличаются обилием магния, малым содержанием кремния.

— Опять-таки нет приборов для качественного анализа.

Сошин задумался.

— Есть еще одна примета: магнетизм. В трубках он в десятки раз сильнее, чем в окружающих породах.

— Это подойдет,— решил Алеша.— Магнитное поле мы регистрируем, можем увязать его с управлением.

И тут же начал заполнять печатный бланк:

ПРИКАЗ №...

от 29 августа 19... года
подводному автомату ПА-24

Ориентир	Действие
Немедленно	Двигаться на восток Преодолевать препятствия, всплывая
Переход со спуска на подъем	Движение на северо-восток
Магнитная аномалия	Взятие проб

Затем была вызвана радистка с толстым томом кодов под мышкой. Слова «ориентир», «немедленно», «движение», «северо-восток» были превращены в условные комбинации точек. Ленту с точками передали радистке, и понеслись во мрак, в непроглядные глубины категорические распоряжения: «приостановить», «приступить», «ориентир — немедленно»...

А через два часа на экране появился свет.

Он появился сразу, как только машина выбралась из подводного ущелья. Береговые наблюдатели не придали ему значения, решили, что бледное сияние исходит от самого экрана. Но свечение становилось все ярче и постепенно меняло цвет: сероватый невыразительный оттенок сменился фиолетовым, потом синим, потом голубоватым. Так как вода слабее поглощает фиолетовые лучи, голубизна означала приближение к источнику света.

Что же там светится в глубине? Огромное скопление креветок? Едва ли такое большое. Радиоактивные минералы? Хорошо бы открыть месторождение, еще интереснее, чем алмазное.

Таинственный свет мерцал примерно так, как мерцает телевизионный экран. Никакой закономерности установить не удалось.

Кто-то уже заговорил, что только живое существо может подавать такие неправильные сигналы. Потом стало ясно, что свет исходит из определенного места, примерно по курсу машины. Постепенно обрисовалось светящееся ядро и размытый ореол вокруг него. В нижней части ореола был вырезан темный конус, как бы силуэт горы.

— Вулкан? — предположил Алеша.

Минут через десять сомнения уже не было. Действительно, вулкан. Извержение, но подводное. О подводных извержениях знали давно, но впервые геологам доводилось наблюдать его воочию. Наземные вулканы способны выбрасывать пар и пепел на высоту в десятки километров, даже в стратосферу. Но многокилометровый столб воды, конечно, никакой вулкан пробить не мог. Зверь рычал с зажатой пастью. Пепел расплывался под водой тяжелой грозовой тучей, раскаленная лава, вырвавшись из недр, тут же меркла, на мгновение освещая струи пузырей. Гора мерцала, словно маяк ночью.

Вероятно, до кратера оставалось километра три, не больше, но, поглощая свет, вода скрадывала расстояния. К тому же лава казалась не огненно-красной, как на суше, а мертвенно-зеленой. Вулкан все еще выглядел смутным пятном, какая-нибудь ничтожная креветка, вспыхнув, могла затмить его.

Внезапно Алеша ринулся к двери, опрокидывая стулья, с порога крикнул радистке:

— Срочно изменение программы: «Ориентир — немедленно. Действие — отложить прежнюю программу. Поворот на 180 градусов. Курс — юго-запад». Скорее, срочно, иначе машина врежется в лаву.

Прошла томительная минута, прежде чем радистка зашифровала и отстучала приказ. За это время грозная опасность придвинулась вплотную. Половину экрана затянуло кипящее облако. Лава била уже где-то рядом.

Приказ дошел все-таки. Машина начала поворачивать. Туман переместился на боковой экран. Ковыляя по буграм застывшей лавы (изображение так и прыгало, зрителям казалось, что их жестоко трясет на ухабах), машина развернулась и начала спуск с опасной горы. Правый экран застлали клубы пара. Лава стекала где-то рядом.

Но почему-то и на переднем экране появился туман. Как понять? Обгоняет лава, что ли? Не забежит ли вперед, перережет дорогу, окружит даже? Алеша заколебался: не отвернуть ли левее? Но это отнимет время, скорость снизится, лава обгонит наверняка.

А это что еще? Впереди тьма, ничего не видно. И цифры глубины стремительно растут. Очевидно, уступ, прыжок с трамплина. Минута, другая... Когда же пологое дно? Не пропасть ли? Муть какая-то поднимается снизу. Пар или взбаламученный ил? Неужели машина угодила в побочный кратер?

Туман все гуще. Громадные пузыри. Яркая вспышка... и...

Бегут по всем экранам косые линии, так хорошо знакомые каждому телезрителю. Приемник работает, но изображения нет. В таких случаях вывешивают табличку: «Перерыв по техническим причинам».

Но всем было ясно, что причины на этот раз вулканические.

Поиски ничего не дали. Вспомогательное судно трижды обошло вулкан по контуру (теперь его нетрудно было найти с помощью эхолота), но не нащупало крупных металлических предметов в глубине. Плыли час за часом, и все дальше уплывали надежды. Алеша уныло сидел в каюте над листом с грустным заголовком:

«Объяснительная записка о причинах аварии опытной машины ПА-24».

— Ты эту ерунду порви,— убеждал Сошин.— Ты пиши о перспективах. Машина у тебя замечательная. Подводную геологию она ставит на новую ступень. Я предложу тебе сотни важных маршрутов. Хочешь, нанесу их на карту сейчас же?

— Меня не спросят о маршрутах на комиссии,— вздыхал Алеша.— Меня спросят, кто отвечает за убытки.

— А ты объясни, что это не убытки, это издержки, расходы на испытания. Хочешь, я выступлю на твоей комиссии?

— Вы для нашего Волкова не авторитет. Волков спросит, по какой графе списывать расходы.

— Подумаешь, Волков! Нет зверя страшнее Волкова! Найдем на него и Медведева, и Львова, и таких Китовых — заскулит твой Волков с поджатым хвостом. Графа отчетности! Если Волков твой не понимает государственной пользы, ему объяснят... вправят мозги.

Алеша вздыхал горестно. Он не хотел искать Китовых и не хотел вправлять мозги Волкову. Он хотел совершенствовать машину, стоять у кульмана, нажимать клавиши арифмометра, в чертежах и цифрах искать истину.

Примерно через неделю, оставив бесполезные поиски, он вернулся на береговую базу. Все здесь было по-прежнему; неумолчно грохотал прибой, соленые брызги умывали прибрежные скалы. На камне Алеша увидел капли олова и чуть не прослезился. На них было грустно смотреть, как на ненужную склянку из-под лекарства у постели умершего. Человек ушел, жизнь кончена, а склянка стоит.

На базе незачем было задерживаться. Алеша отдал необходимые распоряжения — материалы сложить, на сараи повесить замки,— а сам в тот же день отправился на аэродром. Снова машина помчала его по пляжу с уплотненным волнами песком, давя раковины, разбрызгивая соленые лужи. Поплыли мимо детали курильского пейзажа: пологие холмы, гибкие рощицы бамбука, мысы, рыбачьи избушки, сети на кольях. А что это там люди сгрудились, смотрят из-под руки на море? Что там ворочается темное в волнах? Туша кита, что ли? Нет, гораздо меньше, и угловатое притом.

— Стой! — крикнул Алеша водителю и ринулся вниз с откоса, падая, обдирая колени и локти.

Да, это была она. Из волн выбиралась исчезнувшая машина ПА-24. Зеленые ленты водорослей вились на ее каркасе, повсюду налипли мшанки, какие-то пестрые черви прижились в глазах-экранах, лопасти были погнуты, один экран треснул. Но все же она вернулась, заслуженная путешественница.

Как она вернулась, что произошло с ней? Об этом можно было только гадать. Спросите кошку, пропадавшую две недели, кто поцарапал ей глаз. Внимательно осматривая машину, Алеша нашел следы ожогов. Очевидно, она провалилась все-таки в горячую лаву, при этом экраны были попорчены, антенна сорвана, связь утеряна. Но двигатель уцелел, остались датчики, измерительные приборы, блоки управления, машинная память. Отчитываться машина перестала, но программу выполнять продолжала. Шла на юго-запад и юго-восток зигзагами, отмечала перегибы и магнитные аномалии, бурила и наполняла пробами заготовленные цилиндры. А потом, как ей и было задано с самого начала, вернулась назад и вышла на берег почти у самой базы, с ошибкой в два-три километра.

Алеша кинулся к приборам — смотреть, целы ли записи. Сошин же первым долгом распечатал один из цилиндров. Там оказался... нет, не алмаз, алмазы не так легко найти даже в трубках. Но Сошин увидел кимберлит, синюю глину, ту самую породу, в которой встречаются алмазы.

Где находилась эта трубка, где машина нашла ее, так и осталось неизвестным. Спросите кошку, где она поймала птичку, спросите, где стянула кусок сала. Тащит откуда-то!

Победителей не судят. Комиссия по расследованию причин аварии так и не была создана. Волков сказал:

— Дайте мне, Алексей Дмитриевич, списки отличившихся, рабочих не забудьте.

Сам подал список на премию, сам вписал туда Алешу на первое место. И сказал при этом, похлопывая по плечу:

— Теперь разворачивайтесь вовсю. Министерство геологии хочет организовать серийное производство. Наше дело — довести до рабочих чертежей.

Алеша обрадовался:

— Прекрасно. Но сначала нужно доработать кое-что. Автомат пока неполноценный, как бы немой. Мы его посылаем на разведку, а он не способен отчитаться. Попробуем разработать другую систему — автомат рассказывающий. Кроме того, нашему самостоятельности не хватает. Все по указке, все по указке. Нужно, чтобы он рассуждал, как человек, сам мог принимать решения в опасные секунды.

О том, что автомат, рассуждающий, как человек, должен и чувствовать, как человек, Алеша тогда не подумал. Это он понял позже, в процессе проектирования.

ГЛАВА 6

История приключений машины в океане заполнила два вторника целиком, второй и третий.

Какое впечатление произвел рассказ на Ию?

А у вас какое впечатление, читательницы? Что сказали бы вы, проведя с Алешей три вечера в «Романтиках»?

Ия не все поняла, многое показалось ей скучным. Но ведь она следила не только за сутью. Больше ее интересовал рассказчик — о чем он говорит и как.

Ей понравилось, что Алеша делает дело. Это выгодно отличало его от скептика Сергея. Сергей был остер, язвителен, на всех смотрел свысока и потому казался выше всех. Казался, пока не попробовал свысока взглянуть на Ию. И тогда задетая девушка спросила: «А с какой стати он смеется? Собственно говоря, какие у него заслуги, что он сделал особенного? Сидит со своим сарказмом, скрестив руки, на ночном дежурстве».

Новый же знакомый делал дело. И большое. Несмотря на свое невежество в технике, Ия поняла: Алеше поручено то, что молодым инженерам поручают редко. Видимо, он был незаурядным конструктором. И отец назвал его талантищем. По-видимому, такого же мнения был и Сошин — философ геологического вдохновения — и даже сверхосторожный, сверхрасчетливый Волков. Все ждали от Алеши особенного.

Новое знакомство импонировало и льстило девушке. Приятно было ходить в кафе с человеком, которого все считают особенным. Приятно, что он ищет твое одобрение, тратит время, чтобы перед тобой отчитываться, именно тебя посвящает в самые затаенные мечты, надстраивает лестницу, чтобы тебя взять с собой, с тобой первой заглянуть за горизонт... хотя бы и машинный.

Алеша лез выше всех... и вместе с тем проявлял скромность, Ия оценила это. О триумфах и наградах он совсем не говорил, зато охотно распространялся о затруднениях, своих собственных ошибках, посмеивался над собой: «Заблудился в мозговых извилинах». Но милая скромность в оценке итогов сочеталась у него с самой беспардонной самоуверенностью. Он признавал, что сделал мало, но ни секунды не сомневался, что может сделать все, лишь бы взяться по-настоящему. Сегодняшнее положение видел отчетливо, как на чертеже, перспективы — в радужном мареве.

«Бухгалтер сегодняшнего дня, менестрель будущего»,— написала Ия в своем «Альбоме типов».

Но в общем, Алеша понравился ей. «Не слишком ли понравился? — спрашивала она себя в том же «Альбоме».— Артистка должна быть зоркой, должна видеть не только свет, но и тень. А обещает много, выполнит ли? Хвастовство или самообман? Будь наблюдательной, Ия!»

И решено было наблюдения продолжить, пожертвовать изучению Алеши вторники.

На следующий вторник она спросила напрямик:

— Вы мне хотели рассказать про свою лестницу, Алеша. Та подводная машина — на лестнице? Где — у подножия или на самой вершине? А разговаривающая где?

— Подводная где-то в середине лестницы,— ответил Алеша.— Для машин — в середине, но для меня-то в начале. Для меня это первая ступень...

Говорилось уже, что Алеша, как и все студенты на планете, строил свою личную лестницу не от самого грунта. Добрые профессора и доценты, взяв его за ручку, за каких-нибудь пять лет подняли на уровень высших достижений человечества, на ту ступень, на которой находилась кибернетика в последней четверти XX века. Но дальше Алеша взбирался сам... И теперь, как добрый профессор, сам мог взять за ручку Ию и поставить ее рядом с собой, на ступень своих собственных достижений, поднять туда, куда забрался с таким трудом.

А дальше приходилось уже рассказывать про труды.

Где-то на другом конце города стоял решетчатый, внешне похожий на подводную машину механический несмышленыш, и его учили, именно сейчас учили (по вторникам тоже) разговаривать.

Уроки языка начались, к удивлению Ии, не со слов и не с грамматики, а с видения, с узнавания. Прежде чем разговаривать, как человек, машина должна была научиться видеть, как человек.

У нее были глаза — два телевизионных экрана, чувствительные, как и человеческие глаза, к трем цветам: красному, зеленому и фиолетовому, особенно отзывчивые к зеленому, в подражание нашим глазам.

Два экрана — матовые, стекловидные, прямоугольные, внешне два телевизора. Но чтобы видеть по-человечески, работать они должны были как глаз, не как телевизор. Там читающий луч скользит от рамки до рамки, прочерчивая строки подряд, беспристрастно и равнодушно, как бы штрихует поле зрения, ничего не выделяя. Человеческий же глаз — Ия узнала об этом только от Алеши — как бы рисует сам, несколько раз обводит силуэт, повторно прочерчивает самые темные и самые светлые пятна, изучает все, что выделяется из фона, по одноцветному и гладкому скользит бегло. Обводя лицо прохожего, мы сличаем контуры его с мозговыми записями памяти: «Что-то очень знакомое. Где мы видели такие черты? Ах, да это же знаменитый артист! Вчера видели в кино».

Следовательно, машине, в отличие от обыкновенного телевизора, надо было еще придать программу и механизмы прорисовки контуров, да еще память с каталогом образов, да еще увязать эти образы со словами, да еще добавить магнитную ленту с записями слов и микрофон для их произнесения.

И как же ликовала группа Ходорова, когда все эти устройства

сработали одновременно и, глядя на карточку с жирно начерченным квадратом, машина выговорила: «Квадрат!»

Первое правильное слово!

Младенец сказал бы «мама»!

Затем последовали круг, крест, точка, линия, треугольник. После геометрических фигур — столы, шкафы, книги, лампы и великое множество картинок с домиками, деревьями, людьми, животными, птицами. Машина запоминала их с одного раза, опознавала картинки безупречно, в любом порядке, от начала к концу, от конца к началу. Ни один человек не сумел бы запомнить столько предметов зараз. В первые дни долговременная память наполнялась молниеносно. Темп ограничивала не машина, а люди — помощницы Алексея: не успевали подбирать и показывать новые карточки, не успевали произносить названия предметов, проверять, заносить в каталог выученные слова.

Хуже пошло на следующей неделе (уже после четвертого вторника), когда машина от картинок перешла к узнаванию подлинных вещей. Тут она делала немало ошибок. Но и об ошибках Алеша рассказывал с восторгом, считая их «очень поучительными».

Познакомившись с миром по рисункам, машина путалась с размерами настоящих предметов. Лопухи назвала бананами, огородную грядку — хребтом, мусорную кучу — горой, телеграфный столб — стеблем. А когда ей показали луну на небе, безапелляционно объявила, что это ломтик сыра. Впрочем, гоголевский сумасшедший тоже утверждал, что «луну делают в Гамбурге из сыра, и прескверно делают притом».

Машина худо разбиралась и там, где требовалось по детали узнать целое. Ногу или руку называла сразу, но, когда ей показали ступню, не сумела догадаться, что это тоже нога (правда, англичане и немцы ступню ногой не считают). Алешу — своего духовного отца — научилась узнавать быстро, но встала в тупик, когда он закрыл половину лица, ответила: «Это незнакомый предмет».

Еще труднее давалась ей классификация. Стол она упорно называла животным, видимо затвердив, что животные — это четвероногие. Долго не отличала мужчин от женщин. Но тут, возможно, учителя были виноваты. Не учтя капризов моды, Алеша объяснил, что мужчины стригут волосы коротко, ходят в брюках, а женщины — в юбках. А мода того года как раз и породила долгогривых юношей и девушек в цветистых брюках с кружевами на щиколотках. Вот машина и запуталась, как та наивная девчушка, которая спрашивала, как отличают мальчиков от девочек на купанье, когда на них нет ни юбочек, ни штанишек.

Алеша обо всем этом рассказывал с увлечением, даже с каким-то умилением, радуясь и успехам и ошибкам машины. Ошибки ему даже казались полезнее, указывали на упущенные тонкости. Ия же твердила одно:

— Все-таки машина остается машиной. Не узнала самого близкого знакомого по половине лица! Никакой младенец, самый крошечный, не ошибется так глупо.

— А вы понаблюдайте младенцев,— сказал Алеша, ничуть не обидевшись.— Сравните восьмимесячных, годовалых, двухгодовалых. Ведь они тоже начинают с нуля — с абсолютнейшего. Мы, взрослые, забываем всю меру их незнания. Машина где-то на этом уровне. Попробуйте уточнить.

Ии легко было выполнить совет. Она жила в многолюдном квартале новостроек. Младенцы любого калибра дремали, гулькали или хныкали в садике под окнами, и любая соседка охотно поручала ей свое чадо, чтобы сбегать в магазин на углу, посмотреть, что завезли туда. У Ии был громадный выбор подопытных кроликов под голубыми и розовыми одеяльцами.

Проявляя холодную жестокость, Ия напугала, откровенно напугала семимесячную девчушку злобной гримасой. Та заревела протестующе. Ия, сама чуть не плача от сочувствия, взяла обиженную на руки. Девочка затихла, только головкой вертела. Озиралась в поисках страшного лица, прижимаясь к теплой надежной груди. Лицо, грудь и чужая тетя не сливались у нее в единое целое.

В другой раз, собрав двухгодовалых детишек, Ия устроила им экзамен.

— Что это? — спросила она, указывая на луну.

— Теп,— сказал самый бойкий («Хлеб» на его детском языке).

То есть луна показалась ему похожей на хлеб. О том, что ломти не вешают на небо, он еще не знал.

С трехлетним, самым сообразительным из компании, Ия пошла гулять по набережной. Возможно, парнишка впервые увидел реку, мосты, самоходные баржи, речные трамваи. Он был потрясен, увлечен, захвачен.

— Хоцю гулять там, где ловно (ровно),— потребовал он, потянувшись к лестнице.

Откуда он мог знать, трехлетний, что люди не могут ходить по воде, как посуху.

Но этот уже знал, что ломоть, висящий наверху, называется луной. На вопрос: «Где небо?» — показал пальчиком вверх. И поинтересовался:

— На даце (даче) тоже небо?

И машину спросили про небо. Та ответила скучнее:

— Небо — это верхняя часть карточек.

Увы, с миром она знакомилась по картинкам. Дети, даже самые комнатные, все-таки сначала видят комнату, а потом уже книжки с картинками.

Усвоив существительные, названия предметов, машина начала изучать прилагательные, прежде всего цветовые.

Абрикосовый, агатовый, аквамариновый, алебастровый, алый,

аметистовый, апельсиновый, багровый, белый, бирюзовый, бордовый, брусничный, бурый, васильковый, вишневый, голубой (голубиный), гороховый, горчичный, гранатный, желтый и т. д. Не стоит приводить здесь все слова вплоть до буквы «я». Машине разрешалось и самой определять оттенки с помощью суффикса «овый». Немедленно она предложила «наташевый» цвет — цвет загорелых рук и «алешевый» — голубовато-зеленовато-серый — цвет Алешиного рабочего халата.

Машине сообщили также профессиональные названия из жаргона художников (кобальт, кармин, ультрамарин, кадмий, охра светлая, красная, сепия, сиена жженая), цвета текстильные (мов, электрик, сомон, гри-перль), масти лошадей (буланая, вороная, гнедая, игреневая, караковая, пегая, саврасая, сивая, соловая, чалая, чубарая) и цвет волос: блондинки, брюнетки, шатенки, светло- и темно-русые, рыжие, седые, крашенные хной, басмой и под седину, в сиреневый и голубой цвет. Машина все это запомнила быстро, но, стремясь к точному определению оттенков, долго еще путала, какие слова полагается употреблять. Описания у нее получались примерно такие:

«Наташа приехала в русом автобусе. Наташа — женщина саврасой масти, кожа у нее наташевая, глаза алешевые, платье — кадмий желтый, носки — брюнетки, туфли киноварные».

Когда слова были приведены в порядок, машина отправилась сдавать первый экзамен в Музей изобразительных искусств, что на Волхонке, против зимнего бассейна.

В ассирийском дворике машина обратила внимание на крылатых быков. Безошибочно определила цвет изразцов. В итальянском зале осмотрела конные статуи кондотьеров, сказала при этом:

— Люди и лошади оливково-зеленой масти.

Долго стояла перед копией Давида, забросившего пращу на плечо; высказалась:

— Человек-гигант из белого материала, твердый, неподвижный, машина, не умеющая говорить.

Растущая толпа свидетелей аплодисментами отмечала все удачи и неудачи кибернетического младенца. Затем через готический портал машина проследовала в картинную галерею и там опозорилась на глазах уже покоренной, уже сочувствующей публики.

— В деревянной раме натянуто полотно. На нем пятна неопределенной формы,— заявила она перед первой картиной.

— Неопознанный предмет,— глядя на аппетитный фламандский натюрморт.

— Неопознанный предмет, неопознанный, неопознанный...— твердила она, переходя от полотна к полотну. Иногда добавляла: — Наложена краска картинового цвета.

«Картиновый» произносила по буквам, как бы знакомя со словом, созданным самостоятельно.

Веселый смех сменился снисходительными усмешками. Зрители расходились, пожимая плечами, разочарованные, но и довольные тем, что лишний раз убедились в превосходстве человеческого, своего собственного разума.

— «Пятна неопределенной формы». Высказалась тоже! Каких малышей приводят и те узнают, где дядя, где тетя.

Пристыженный Алеша, прервав испытание, погрузил машину в «темно-русый» автобус.

А дома, в родной лаборатории, машина обрела прежнее мастерство, безошибочно определяла цвета на репродукциях тех же картин.

Где же дефект?

— Что такое картиновый цвет? — догадался спросить Алеша.— Назови в этой комнате предмет картинового цвета.

— Не вижу,— сказала машина.

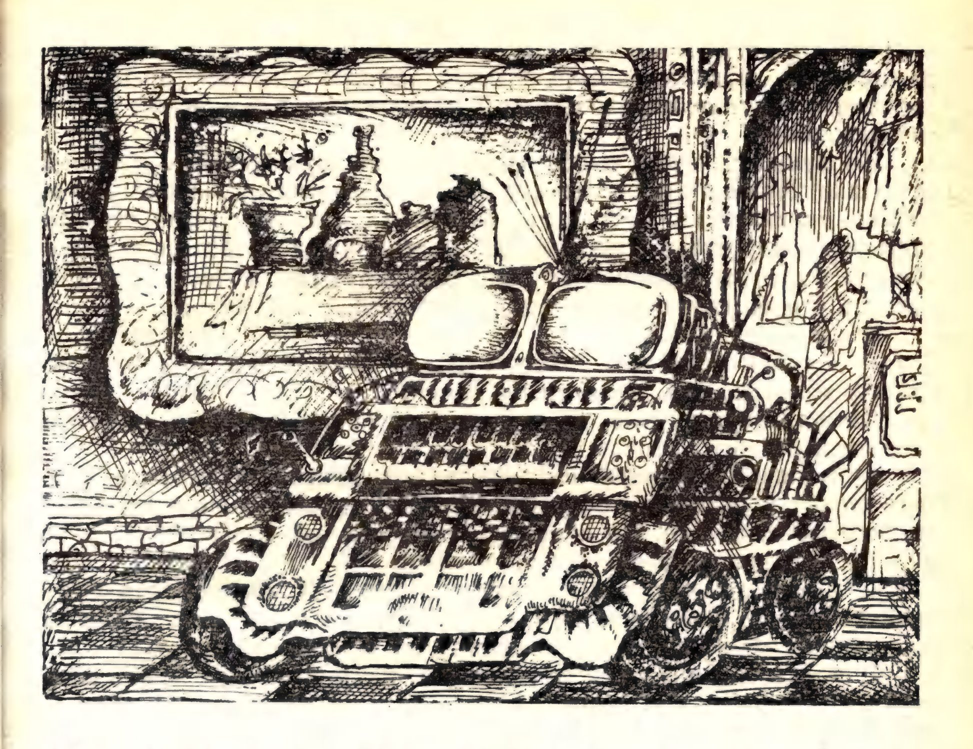
Света, Марина и Наташа привезли из своих домов все картины, какие нашлись. Но ни на эстампах, ни на гравюрах, ни на акварелях, ни на этюдах знакомых художников картинового цвета не нашлось. Всю неделю возились, предлагая машине всевозможные литографии. В понедельник Алеша попробовал показать машине спектр. И вот тут картиновый цвет обнаружился. Он оказался в дальнем ультрафиолете, за пределами человеческого зрения. Глаза машины, в отличие от человеческих, воспринимали эти лучи. И как выяснилось на другой день, именно этот участок отражало потемневшее масло старых полотен. Все они казались машине одинаково ультрафиолетовыми (картиновыми).

И вечером, это был уже шестой вторник, Алеша с удовольствием докладывал Ии, что тайна картинового цвета раскрыта. Суть в том, что у машины и человека по-разному устроены глаза, не совсем точно совпадает цветовое видение.

Ия пожала плечами:

— Не понимаю, Алеша, чему ты радуешься? (К шестому вторнику они уже перешли на «ты», перешли как старые знакомые. Условились же: никакой любви, ни поцелуев, ни флирта.) Не понимаю, чему радоваться. Ты сделал неудачные глаза, не человеческие, лишний раз подтвердил, что машина не похожа на человека, не может служить моделью. До цели еще дальше, чем думали. Неделя ушла впустую, на поиски маленькой ошибки.

Пожалуй, Ия была не совсем тактична на этот раз. Но тут сказалась некая психологическая тонкость. К шестому вторнику выяснилось, что Алеша ее не обманывал. Он действительно занимался интересным делом и продвигался в своем интересном деле: лез вверх по лестнице. Ия чувствовала себя такой пустой, такой бессодержательной рядом с ним. Так боялась, как бы не скатиться к преклонению. Во имя самоуважения, во имя самоутверждения, ради душевной независимости она должна была найти в Алеше хоть



какой-нибудь недостаток. И вот явный недостаток: любовь к ремонту ради ремонта. Средства заслоняют цель.

Кольнув, Ия опасливо смотрела из-под ресниц, готовая защищать свое право на критику или же извиняться, если очень обидела. Алеша даже не заметил укола.

— Ивочка, конечно, я радуюсь задержкам. Задержка — это же превосходно. Все великие открытия начинаются с неудач. Пока все идет гладко, мысль скользит, задуматься не о чем. Зацепились, зашли в тупик — вот когда начинаешь голову ломать. Машинные глаза отличаются от человеческих? Да это великолепно! Значит, мы получим иное видение мира, видение номер два. Как бы с двух сторон смотрим на мир. Да я нарочно буду делать теперь машины с разными глазами, разноглазо исследовать минералы, почвы, растения, животных, картины, ткани — все на свете. Картиновый цвет старого масла — это уже маленькое открытие. Может быть, в результате можно будет создать нетемнеющее масло для художников. А может быть, у рака есть какой-нибудь раковый цвет, а у холеры — холерный, у растущих детей — ярко-ростовой, у плохо растущих — бледно-ростовой. Завтра же начну подбирать все бракованные глаза из кладовки. И Волкову подам заявку на сотню вариантов. Он обрадуется: изучение мира разными глазами — это уже синица

в руках. Картиновый цвет — махонькое открытие, но и о нем можно рапортовать. Сто вариантов, тысяча вариантов, варианты зрения, варианты видения, варианты слуха, обоняния... на десяток лет хватит исследований.

Ия закусила губу, чтобы скрыть довольную улыбку. Молодец девушка! Правильно определила главный недостаток Алеши. Он все время упускает из виду цель. Возможно, это оборотная сторона широкого кругозора. Везде видит интересное и забывает главное. Обещал модель образцового человека будущего и вот готов променять его на сотню вариантов ущербности.

Ия высказала все это.

— Ты как ребенок,— сказала она.— Хватаешься за новую игрушку и забываешь, куда шел и зачем.

Алеша надулся, даже губы распустил обиженно. Действительно, большой ребенок.

— Конечно, «модификация интервала спектра видимости» — такое звучит не слишком понятно. Профану трудно оценить значение подобного открытия. Но образованный опытный специалист...

Тут подошла очередь Ии обижаться.

— Да, я не специалист,— сказала она.— Я малограмотная дурочка. Может быть, тебе не стоит тратить свои драгоценные часы, популярно объясняя мне свои специальные достижения.

Наступило принужденное молчание. Алеша яростно жевал шницель, Ия крутила соломинкой в стакане и размышляла, не надо ли ей оскорбиться на «профана», подняться и уйти. Внезапно Алеша поднял голову, улыбаясь широко и простодушно.

— Ты умница, Иютия,— объявил он.— Ты умница, а я остолоп увлекающийся. И все ты объяснила правильно. Когда лезешь в гору, кругозор все шире, столько видишь всяких увлекательных лощинок, долинок, рощиц, утесов! Но все камни рассматривать — ста жизней не хватит. Ты права, надо карабкаться дальше. Ты следи, чтобы я карабкался не отвлекаясь, ладно? Ну и все. Дай лапку, друг-девушка.

Ия охотно протянула руку. Она была так довольна, просто счастлива, что в их содружестве и для нее нашлась роль. Не просто выслушивать, но и следить, следить, чтобы не отвлекался.

«Следить и направлять!» Вписав эти слова в отчет о шестом вторнике, Ия отложила ручку в сторону и задумалась с мечтательной улыбкой. Хорошо, если есть у тебя человек, за которым сто́ит следить. Вот пройдут года, Алеша будет лезть и лезть со ступеньки на ступеньку, все вверх и вверх. Успехи его будут расти, и слава будет расти, станет он ученым со всемирным именем, будет книги писать, потом о нем напишут книги. И может быть, припомнят тогда, что всю жизнь, каждый свой шаг он обсуждал с маленькой скромной женщиной, следившей, чтобы «талантище» не разбазаривал свой талант на пустяки.

Всю жизнь? Но разве Ия собирается всю жизнь прожить возле Алеши? Да ничего подобного! Они просто друзья, хорошие друзья, совершенно равнодушные, друзья по вторникам.

И девушка приписала торопливо:

«Надо активнее искать объекты для среды, четверга и прочих дней недели».

ГЛАВА 7

О недостатках Алеши Ия неожиданно услышала и с другой стороны.

Каждый вторник в еженедельном отчете она неизменно слышала жалобы на директора ОКБ. Алеша затеял опыт, Алеша выдвинул идею, а Волков, уговаривая, убеждая, возмущаясь, стучит кулаком по столу или, похлопывая по плечу, твердит: «Не допущу самодеятельности. Мы подрядчики, у заказчика не было таких требований, выдерживайте параметры... Не допускаю, не разрешаю!» Ни один вторник не обходился без сетований на Волкова. И Ия возненавидела директора ОКБ заочно, непримиримее, чем Алеша, безжалостно желала ему приобрести диабет и выйти на пенсию досрочно.

И как же она взволновалась, когда (мир тесен!) ей довелось встретиться с этим Волковым лицом к лицу.

Это произошло на приеме по поводу диссертации Маслова. Верный поклонник Ии защитил, и очень удачно, только один черный шар — блестящая победа. У оппонентов замечания были микроскопические, о терминах и оформлении; выступающие требовали немедленного опубликования, уверяли, что у Маслова готовая монография. Конечно, победителю очень хотелось, чтобы Ия своими ушами слышала похвалы, на прием был приглашен папа и с дочкой, хотя диссертант, естественно, не мог посадить ее рядом с собой. Рядом сидели руководители и оппоненты. Как полагается, произносились речи в честь оппонентов, рецензентов, диссертации, диссертанта, милых женщин, красивых девушек, а громче всех, длиннее всех и витиеватее всех выступал сидевший против Ии развеселый и добродушный толстячок лет сорока пяти, с залысинками, этакий весельчак, рубаха-парень, свой в доску. А в перерыве между жарки́м и тортами он пустился в пляс, вскрикивал, хлопал себя по подметкам и икрам, притоптывал перед Ией, приглашая ее. Девушка не стала чиниться, прошлась павой, помахивая платочком. Потом толстяк танцевал еще лезгинку, зажав столовый нож в зубах. И вдруг Ия слышит, что фамилия его Волков, он начальник ОКБ, сто двадцать научных сотрудников в подчинении, крупный инженер...

— А это очень трудно — быть начальником ОКБ? — спросила его Ия с наивной бесцеремонностью, разрешенной красивым девушкам.

К ее удовольствию, Волков не отшутился, не ответил в стиле Маслова: «Вам, девушка, это скучно». Польщенный вниманием

молоденькой партнерши, Волков охотно пустился в объяснения:

— Я вам все расскажу, все разъясню как на ладони. И если пойдете в инженеры, зарубите это на своем коротеньком носике, потому что в учебниках самое главное не написано. В учебниках ученые профессора пишут про технику, а самое главное на свете — это ладить с людьми. Люди, девочка, хотят быть довольны. Наверху тебя слушают, когда довольны. Внизу слушаются, если довольны. А довольны, когда идет хорошая зарплата и к ней премия в каждом квартале. Премию же дают, как известно, за перевыполнение плана на три процента, на пять или на десять. На тридцать перевыполнять не стоит, тридцать настораживают, вызывают подозрение: план не занижен ли?

Выполняется же план не в мастерских, не в лабораториях и не в цехах. На самом деле план выполняется, когда он составляется, и это уж моя забота, чтобы составить план выполнимый, чтобы задания были реальные, и лучше много мелких заданий: если и сорвутся два-три — не беда. И всегда ты на виду, часто рапортуешь об успехах, тебя не забывают. А чтобы выполнять с гарантией, нужно иметь — и это тоже моя забота — самые лучшие материалы, самое лучшее оборудование и лучшие кадры. Кадры, девочка, кадры! Кадры я подбираю сам, и только по деловым качествам. Для меня не существует записочек от друзей, телефонных просьб, сладких улыбок и красивых глазок. Проси у меня прибор, проси провода, полупроводники — одолжу. Олуха мне не навяжешь. Если есть штатная единица, я не тороплюсь замещать, загодя высматриваю человека. И какие у меня наладчики, какие монтажники, какие модельщики! Художники! Ювелиры! Дютьков, дядя Ваня, к примеру. Я его на выставке заприметил, увел из-под носа у замминистра. Ему же цены нет: если бы имел право платить пятьсот, платил бы, платил бы больше, чем сам получаю, и выгода была бы государству, потому что он десять новичков-губошлепов заменяет один. А научные сотрудники! Вот Ходоров Алексей. (Ия даже вздрогнула.) Он еще студентом был, диплом писал — я на него нацелился. Его на кафедру прочили — я в министерство ходил, отбил с трудом. Зато имею продукцию. Сенсация каждый год. Не патент, не вариант, а новая идея. Сенсация! Конечно, хлопот с ним, потому что сумбур в голове, каша идей, за все хватается, сил своих оценить не может. И придерживаешь. Не придержишь — увязнет в бесплодной теории.

Ия была смущена: «Как же так? Человек неглупый, приятный даже, Алешу ценит, хвалит, гордится... и ставит палки в колеса».

— Надо ли всегда придерживать? — спросила она.— Время-то теряется, люди простаивают. Успели бы подняться на две-три ступени вверх.

Волков прищурился, зорко присматриваясь к девушке, посерьезнел:

— Две-три ступеньки? Вы, часом, не знакомая Ходорова? Лю-

бимый его разговор про ступеньки. Так вот скажу вам, девушка, и это тоже запоминайте: был такой ученый, видный ученый, он изрек, что наука — это способ удовлетворять свое любопытство за счет государства. То ли в шутку сказал, то ли всерьез, не ведаю, но вещи такие допускать нельзя. А Ходоров ваш («Ваш?») из той же породы. Он спортсмен, у него азарт, соревнование, рекорды личные, ему надо по лестнице залезть выше всех... за счет государства. А я от государства приставлен распоряжаться государственным счетом, вот я и примериваюсь, какая польза от этого ходоровского рекорда. И не всегда вижу пользу... не всегда.

И в «Альбоме типов» появилось рассуждение.

«Выходит, не одна истина в науке,— писала Ия.— Есть правда спортивная — нужны рекорды. Есть правда практическая — польза от затрат. Даже две пользы — сегодняшняя и послезавтрашняя. Как сочетать все? Как не забывать все? Наверное, оправдание Алеши в будущей пользе. И надо, чтобы он помнил о ней, чтобы деревья сегодняшних рекордов не заслоняли ему дальний лес».

Но все это произошло позже, после десятого и одиннадцатого вторника, а пока шло обучение машины описательному языку.

Вскоре Ия знала, как оно организовано практически. Прежде всего составлялся список слов. Эту несложную работу выполняла лаборантка Света, выбирая по алфавиту прилагательные из «Толкового словаря» по алфавиту. Начали, как выше рассказывалось, с группы цвета: абрикосовый, апельсиновый, багровый, белый, бирюзовый... И на все оттенки подбирались образцы, их надо было показать, записать, проверить, спросить по порядку и вразбивку, устранить путаницу, еще объяснить как-то разницу между белым, белесым, беловатым, белеющим... Сто слов за рабочий день запоминала машина. Нет, это была не синекура!

Изучив цвета, машина принялась за формы. Пошли списки слов с окончаниями на «истый», «овый», «атый», «натый», «ватый», «образный», «подобный»...

Бугристый, ветвистый, волнистый, волокнистый; носатый, хвостатый, рогатый, бородатый, блинчатый, пластинчатый, зубчатый, трубчатый; Г-образный, Т-образный, П-образный, безобразный; дельтовидный, стреловидный, страховидный, невидный; мужеподобный, женоподобный, бесподобный...

И на все это были заготовлены образцы: бугристого, ветвистого, волнистого и прочих. А как изобразить бесподобное? Долго спорили, так и не придумали.

После форм подошла очередь запахов. Тут, к удовольствию Светы, работы со словарем не было. В нашем языке почти нет прилагательных, описывающих запахи обобщенно, независимо. Мы говорим «запах лимона», «запах хвои», «запах помойки», увязывая аромат или вонь с конкретным источником. Описать невозможно, можно только запомнить, в лучшем случае сравнить. У люизита запах горь-

кого миндаля, фосген пахнет прелым снегом, иприт — редькой, редька — видимо, ипритом. Приходилось приносить в лабораторию лимоны, сосновые ветки, помойные ведра. Девушки зажимали носы, а Наташа звучно произносила по обязанности: «Запах гниющего мусора».

Небогат у людей и словарь вкуса: кислый, горький, соленый, сладкий, пресный, безвкусный — вот и все. Лингвистика тут явно отстает от гастрономии. Но поскольку машина питалась электрическим током, в рот не брала ничего, эта глава обучения пропускалась. Так что Свете, Марине и Наташе не пришлось превращаться в поварих, чтобы знакомить машину с десятью тысячами блюд из «Книги о вкусной и здоровой пище» или же с экзотическими австралийскими тортами из кокосовых орехов и французскими улитками в виноградных листьях.

Звуки. Вот тут пришлось потрудиться. Язык богат звуковыми словами, сам основан на звуках, щедр на звукоподражательные слова и в особенности на описание звуков речи.

Надо было объяснить машине, что такое ахать, бахать, охать, ухать, ворковать, ворчать, галдеть, гаркать, гикать, гласить, голосить, глаголить, гнусавить, горланить, граммофонить, грассировать, греметь, громыхать, грохотать, гудеть, гундосить...

Слишком сложно было бы, прослушивая ленты и пластинки, выискивать соответствующие звуки. Помощницы Алеши сами устроили студию звукозаписи: галдели, гаркали, гоготали, гудели, гундосили хором. Машина выслушивала их — в натуре и в записи — потом определяла: «Это гвалт. Это гам. Это гомон».

Сам Алеша не отличал гам от гомона.

Краски для нас обычно ассоциируются с предметами, поэтому столько прилагательных в словаре цвета: вишневый — цвет вишни, малиновый — цвет малины, оранжевый — цвет апельсина, коричневый — цвет корицы. Звуки же оповещают о движении, ближе связаны с глаголами, а не с существительными. И естественно, на уроках звука машину знакомили с действиями. После любительской звукозаписи гама, гвалта и гомона потребовались любительские фильмы: «Наташа ходит», «Наташа бегает, прыгает, возит, шаркает, стучит, молотит, ломает, рвет». Вот тут Ия завидовала откровенно, с трудом удерживалась от критики. Будущая артистка возмущалась в ней, она считала, что Алеша неудачно выбрал исполнительницу. Право же, Наташа так неестественно стучала, так ненатурально молотила, прыгала так неуклюже и скованно! Ия пилила и сверлила бы куда выразительнее. Вообще она некиногенична, эта бесцветная Наташа.

Ия даже намекнула, что вот хорошо бы ввести в лабораторию умелую имитаторшу. Если нельзя пригласить опытную артистку со сцены, взять хотя бы начинающую. Увы, артистка не полагалась Алеше по штату. Три универсальных лаборантки: и чтобы галдеть, и чтобы шаркать ногами, и чтобы помойные ведра приносить.

Но все-таки кое-что и от Ии перешло к машине. Внешность

у нее была машинная, голос Наташин, а имя от Ии. Называлась она: «Опытная интеллектуальная машина № 1», сокращенно: «Ия-машина». Ия поняла, что Алеша нарочно превратил свое детище в ее тезку. По вторникам Ия-девушка слушает, как обучается Ия-машина.

Три месяца продолжалось это обучение. При своей механической безотказной памяти машина вобрала за три месяца примерно столько слов, сколько ребенок вбирает за три года — от двух до пяти. Где-то в самом конце мая, накопив изрядный запас существительных, прилагательных и глаголов, машина отправилась осматривать мир. Куда? Куда ведут пятилетнего ребенка прежде всего для знакомства с миром? В зоопарк, конечно. В зоопарк повез и Алеша свою ученицу. И в ближайший вторник после этого (вторник одиннадцатый) Ия получила копию ученического сочинения своей тезки, отпечатанную на наклеенных ленточках.

«КАК Я БЫЛА В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ

Мы поехали впятером на светло-русом автобусе: я («Вежливость не успели привить, еще не объяснили, что «я» — последняя буква в алфавите»,— заметил Алеша), Марина, Наташа, Алеша и электрик Дежурный. Ехали по улице. Улица — это продолговатое ущелье между домов. В ущелье мчатся автомашины: грузовые, самые большие — с прицепами, средние — пассажирские, на самых маленьких люди сидят верхом, как зеленый всадник на зеленом коне в музее. Эти машины громко трещат (имеются в виду мотоциклы). Все автомобили яркого цвета: антрацитово-черные, небесно-голубые, индигово-синие, вишнево-красные, кирпичные, кремовые (машина обстоятельно перечисляла все встреченные расцветки, как будто ей доставляло удовольствие щеголять свежеприобретенными знаниями).

Зоопарк — это сад, обнесенный высокой оградой. Над входом решетчатая арка с выпуклыми буквами. Я прочла: «ЗООПАРК». Я — машина, умеющая читать, я знаю все буквы. В алфавите всего тридцать две буквы, а я могу считать от минус бесконечности до плюс бесконечности.

Сразу за входом находится жидкая поверхность небесно-голубого цвета, которая называется озеро. На нем птицы, но не летучие, а плавучие. Птиц я опознала потому, что на них не волосы, а перья. У плавучих птиц чайникообразная форма, тело овальное, обтекаемое и длинная гибкая шея. Шею они вытягивают, опускают в воду и со дна достают свой обед. После обеда сытые отдыхают на берегу. Они спят, стоя на одной ноге, другую греют на животе, а нос тоже греют, засунув под мышку...»

Далее рассказывалось про слоновью горку, бегемота, про обезьян («Это человекоподобные животные»,— точно отметила машина). Кенгуру привлек внимание: «Животное ушастое, двуногое, с кар-

маном на животе. Хвост как третья нога — крепкий, большеватый, у основания толстоватый, кончик островатый. Мордочка оленевидная, уши коровоподобные, мех на спине оранжеватый, на животе беловатый. Глаза мариноподобные...» («Какая клевета!» — кричала Марина-лаборантка, заливаясь румянцем.)

Алеша ликовал: «Сказочный темп развития! За месяц вышли на уровень пятилетнего ребенка!»

Ия смолчала. Про себя решила проверить, пятилетний ли это уровень. Правда, машина объявила, что умеет читать, знает все буквы, но зато не сумела правильно назвать мотоцикл. Какой городской мальчик не знает мотоцикла в пять лет?!

Среди соседских детишек Ия нашла и пятилетнего. Выпросила его на воскресенье, повела в зоопарк. Это оказалось очень любопытно для нее. Она уже забыла, какой сама была в пять лет, потеряла свежесть восприятия. Училась у своего спутника удивляться, училась наблюдательности. Мальчонка подмечал сотни деталей, которые она, взрослая, пропускала мимо внимания.

На обратном пути и еще три дня паренек говорил только о зоопарке. Рассказывал он, пожалуй, примитивнее машины, меньше слов употреблял. Прилагательные игнорировал вообще, оттенки красок и не поминал, обходился существительными и глаголами.

— А она как нырнет, клювом роет в иле, а лапы к пузу прижимает! А он как захлопает крыльями, хлопает, а взлететь не может! А орел как посмотрит одним глазом! А фламинго голову сунул под крыло и спит. А они как запрыгают! А она как кинется!

Слов не хватало, и мальчик дополнял их пантомимой. Как лев прыгал на решетку за мясом, мягко крался, как тигр, как орел смотрел на мир одним глазом, даже пробовал стоять на одной ноге, засунув нос под мышку.

— Конечно, дети должны подражать,— сказал отец Ии.— Словами не все объяснишь. Вообще подражание — древнее открытие природы, дословесное, дочеловеческое. Все бессловесные звереныши учатся, подражая. Как же иначе приобрести условные рефлексы родителей? Только подражанием. Обезьяны, самые смышленые из животных, подражают больше всех. И маленькие человечки унаследовали эту склонность.

— Папка, это так интересно наблюдать! Почему ты не рассказывал мне раньше про психологию детишек и зверюшек?

Отец помолчал.

— Инесса Аскольдовна звонила,— заметил он, как бы меняя тему.— Спрашивала, здорова ли ты. Ты уже три недели не ходила.

Да, Ия запустила уроки сценического мастерства. Почему-то ей скучно стало у старой артистки. Раз не пошла, другой...

— Папка, ты меня извини, но я что-то разочаровалась. Не хочу у нее заниматься, не вижу пользы. Время теряешь. Сплетни про знаменитых, ломанье. И вообще боюсь, что я не буду артисткой.

Наверное, я неправильно поняла свой интерес к людям. Я вовсе не хочу их изображать, мне важнее в психологии разобраться, понять мотивы поведения.

Отец расцвел, даже покраснел от удовольствия.

— Доченька, если бы ты пошла по моей дороге...

— Нет, папка, это не по мне. Ты не обижайся, ты же все понимаешь. Я не хочу быть среди убогих, среди твоих психов. Это слабые люди, несчастные, не лучшие люди. А мне хочется быть среди сильных, настоящих, таких, кого нельзя не уважать. И учиться у них. И потом самой воспитывать таких, которых нельзя не уважать. Психология меня интересует, но здоровая, крепкая, перспективная. Вот с детишками я вожусь охотно. Может быть, мне надо идти в педагогический? Я еще подумаю, время есть до первого августа. Ты не волнуйся, я не буду бездельничать. В крайнем случае пойду в детский сад воспитательницей. Там трудно, и там нужны люди всегда.

— Ну что ж, Ивочка, тебе виднее. Год в детском саду — не пропащий год для девушки. Учись воспитывать чужих детей, своих воспитаешь лучше.

— Ох, папка, и куда ты загадываешь? Кто говорит о детях? Я еще специальность не выбрала.

— Не знаю, как насчет специальности, а замуж выходят все. Нечаянно как-то получается. Знакомятся, встречаются раз в неделю, потом влюбляются, решают жить вместе...

— Ну уж это глупости, папка. Понимаю, на что ты намекаешь. У нас с Алешкой просто дружба. Ну да, он содержательный человек, с ним интересно. Пожалуй, даже он самый интересный из моих знакомых. Но уверяю тебя, это просто дружба.

— Да, конечно, всегда так бывает: сначала самый интересный, потом — единственный интересный.

ГЛАВА 8

После экскурсии в зоопарк в биографии машины (или у машин не биография, а что-то другое, технография скажем)... в техно- или биографии произошел перелом. Только что машину на плечах вносили в зоопарк, а через неделю послали с поручением в лес. Для пятилетнего малыша это было бы слишком самостоятельное задание.

Но не только у машин — и у животных этапы развития не такие, как у человека. Маленький человек чуть ли не самое беспомощное из живых существ: не ходит, не стоит, только и умеет — сосать. Цыпленок — тот сам себе устраивает роды, клювом разбивая скорлупу; кенгуренок, цепляясь за шерсть, сам ползет в сумку; ягненок стоит на ногах, через день-два самостоятельно удирает от волка. Зато, правда, человек с первой минуты видит свет,

а щенята и котята прозревают не в первую неделю. У каждого вида своя последовательность развития, у вида «Ия-машина» — своя. Ходить и действовать она могла задолго до того, как выучила первое слово. Программа действий была отработана еще на ее немой прабабушке, той, что нашла кимберлит на дне океана. Алеша мог просто вставить готовые блоки в рассказывающую машину, как бы наследственные гены ходьбы и поиска.

Но после этого вступил он в темный лес неизведанного — таинственную область чувств. Машине понадобилось самое первое и, вероятно, самое древнее чувство — ощущение голода.

Ия сомневалась:

— И машина будет голодной, а потом — сытой?

— Будет! — уверял Алеша.

— И она будет чувствовать, именно чувствовать голод?

Алеша долго объяснял, что такое чувство, что такое ощущение, что такое раздражимость и раздражение, сначала объяснял с апломбом, потом сам запутался в дебрях определений. В конце концов признался честно:

— Мы долго спорили, так и не пришли к единому мнению. Машина будет действовать так, как будто она чувствует голод. Но будет ли она чувствовать, мы не уверены.

«Как будто» само по себе потребовало сложных приспособлений. Ведь на самом-то деле машина питалась электричеством от батарей и заряжалась раз в месяц, то есть целый месяц она была как бы сытой. Чтобы имитировать голод, Алеша поставил на батареи ограничитель, так что ток поступал в сеть порционно, только после успешного выполнения задания, как бы в награду. Так дрессированный тюлень получает кусочек рыбы после каждого номера. Чтобы заработать свои киловатт-часы, машина должна была что-то найти: минерал, растение, бумагу, банку; найденное положить в ящичек — набор ящичков был у нее на спине — и переместить этот ящик в пустой «живот». Там замыкался контакт, и ток поступал в электрическую сеть. Провода здесь — аналогия кровеносных сосудов.

И что же изобрела машина первым долгом? Очковтирательство. Обнаружила, что контакты замыкает не находка, а ящик, заполненный или пустой — одинаково. Быстро переставила все ящики со спины в пустое брюхо и явилась в лабораторию сытая, как бы сытая.

— Помню, во время войны, в тяжелые годы, мы наливались чаем. Целый чайник вольешь в себя, в желудке булькает. Вроде бы сыт, а питательности никакой,— припомнил отец Ии, выслушав рассказ о фокусе, придуманном машиной.

Алеше пришлось переделать схему, вмонтировать добавочные фотоэлементы, так чтобы пустой ящик не замыкал контактов... чтобы пустой чай не обманывал брюхо.

В очередной понедельник, накануне тринадцатого вторника, ма-

шина получила проверочное задание: пойти в лес, собрать коллекцию цветов. Было дано при этом разъяснение: цветком считается растение незеленого цвета, растение надо вырвать с корнями или срезать у самой почвы. Заполнять ящички одинаковыми цветами запрещалось. Машине был выдан электрический аванс на два часа работы, остальное она должна была заработать в лесу.

День был погожий, солнечный и прохладный, какие выдаются в Подмосковье при северном ветре. Машину вывели на пустырь позади забора, на изрытый ямами пустырь, вывели, включили и проводили глазами до синеющей вдали опушки.

Волноваться пришлось недолго. Уже через час с небольшим машина показалась снова. Пыля гусеницами, она деловито спешила к воротам по прямой, не останавливаясь, чтобы срезать еще один цветочек,— видимо, заполнила все свои емкости. Подлетела к воротам, резко затормозила, как молодой уверенный и рисующийся уверенностью шофер, разом выдвинула напоказ все свои ящички, малые и большие: дескать, полюбуйтесь, какой я молодец.

Чего там только не было в ящичках! Полный набор полевых цветов: нежные лесные фиалки, иван-да-марья в желтой юбочке и лиловом жилете, наивно-голубые незабудки, пронзительно-желтая сурепка, ромашки: «любит — не любит — плюнет — поцелует», сладковатая «кашка» — клевер белый, клевер красный,— мягковолокнистый чертополох, полупрозрачный шарик одуванчика и отдельно одуванчики желтые, еще не отцветшие, беленькие чашечки земляники, колокольчики, пахучие зонтики болиголова, а в основном лютики, лютики, лютики,— чуть побольше, чуть поменьше, с двумя цветочками на стебельке, с тремя цветочками на стебельке. И кроме цветов, машина представила еще листья, желтоватые и бурые, засохшие, подходившие под определение «растение незеленого цвета», был подберезовик с изъеденной улиткой ножкой и небольшой белый гриб, налитой, тугой и самоуверенный, была тополиная вата, березовые сережки, голубое яйцо какой-то пташки вместе с травянистым гнездом, гусеница, свернувшаяся колечком, затоптанная папиросная коробка (машина слишком широко трактовала определение: «Собирать незеленое, вросшее корнями в грунт») и венец всего — живой ежик! Оказавшись на солнышке, еж осмелел, высунул свою свинячью мордочку, растопырил уши, уткнулся носом в лужицу, набрал в ноздри воды, поперхнулся и тут же наморщил лоб, готовый мгновенно натянуть колючую защиту на глаза.

— Фу! — сказал Алеша, как глупой собаке говорят, когда она принесет не ту палку. Он выбросил на землю ежа, гусеницу, яйцо и папиросную коробку: — Это фу, и это фу, и это фу. Фу, это не цветы.— Хотя, в сущности, он и сам был виноват: неточно определил, что такое цветы.— А эти цветы одинаковые.— Он разложил на земле набор лютиков...

— И представь себе, она возражала,— рассказывал Ии Алеша,

разводя руками.— У нее, видишь ли, своя концепция была насчет одинаковости. Она показывала различия в форме лепестков, размере листочков, в количестве цветков и листочков. Пришлось прочесть ей лекцию, что совершенно одинаковых предметов не бывает. Название подразумевает вид, тип, группу более или менее сходных предметов. Вот эти желтенькие цветочки с четырьмя лепестками — лютики. Нужен один лютик, остальные — фу!

С чревом, опустошенным на три четверти, проголодавшаяся машина вынуждена была повернуть назад в лес.

На этот раз она не вернулась ни через час, ни через два. («Видимо, перебрала распространенные виды цветов, новые найти трудновато»,— думал Алеша.) Но время шло, беспокойство возрастало. К концу рабочего дня все ходоровцы отправились в лес на поиски.

Кое-где машина оставила следы: рубцы на сырой глине, полосы примятой травы. Впрочем, неопытные следопыты не очень отличали сегодняшние следы от вчерашних. Зато вскоре услышали молву о подвигах машины.

Все встречные женщины хором убеждали не ходить сегодня в лес, лучше вернуться засветло.

— Там шайка грабителей,— уверяли они.— Убивают, раздевают, насильничают. Одна из нашей деревни шла с цветами на станцию, в истерике домой прибежала. Налетели на машине, сбили, чуть не раздавили...

Услышав про цветы, Алеша насторожился.

Потерпевшую удалось разыскать. Она охотно рассказала,— в двадцатый раз, наверное,— как она шла по дорожке через березняк, нагнулась грибок подобрать, аккуратный такой подосиновичек, а корзину с цветами поставила рядом («туточки»). И как раз в эту самую секундочку — трах-тарарах! — не козлик, не мотоцикл, что-то непонятное как наскочит сзади, как наподдаст, и верзила этакий как спрыгнет, как толканет!.. (Насчет верзилы у рассказчицы не было никаких сомнений.) Но только и она не дура, завизжала, как зарезанная, народ на шоссейке услышал, голоса какие-то зазвенели. Так что бандит струсил, подхватил корзину и удрал на своем мотоцикле — только гарью пахнуло. Да и разронял все с перепугу, зря букеты разорил.

«Проштрафились,— подумал Алеша.— Голод запрограммировали, сдерживающих инстинктов не дали. Придется объяснять теперь, что такое право личной собственности».

Полчаса спустя на пустынной просеке с глубокими разъезженными колеями, в глянцевитой грязи перед лужами рубцы виднелись очень четко; Алешу остановил бородатый объездчик, трусивший на неоседланной лошади.

— Ты не видал здесь, товарищ дорогой, чудаковатую машину, навроде танкетки-самоделки? — спросил бородач сердито.

— Не видал,— ответил Алеша уклончиво.— А что за машина?

— Да уж не знаю, что за машина и какой бес в ней сидит. Не похоже, что взрослый водитель, озорует хуже всякого мальчишки. Влезли ко мне в лесничество, забор повалили, цветы порвали, не столько порвали, сколь помяли, георгины у меня там на грядке, гладиолусы, еще кое-что по мелочи. Главное, парник загублен. Огурцы у меня там были в цвету. И всего-то два цветка сорвано, а пленка вся исполосована в ленты. Легко ли ее склеить, пленку, двадцать квадратов. Возился сколько!

Алеша даже закряхтел.

— Вы, товарищ, не мотайтесь зря,— сказал он.— Вы возьмите-ка с собой вот эту девушку, покажите ей, что к чему, и составьте акт об убытках, только по-честному, без сочинительства. Акт составьте на Ходорова Алексея Дмитриевича, старшего научного сотрудника ОКБ. Это его машина, пусть он за все и заплатит из собственного кармана.

— Да я лишнего не стребую,— загудел бородач, успокаиваясь.— Пленку жалко, располосовали на ленты. Пускай ваш Ходоров выпишет мне пленку, и дело с концом. И не к чему акты сочинять, разводить писанину. Да вы зайдите сами, товарищ, поглядите своими глазами. И скажите, чтобы не доверяли там машину мальчишкам.

От лесничества след вел в чащу. Предприимчивая машина продолжала пополнять коллекцию. Двойной отпечаток гусениц ломился через худосочный осинник, на влажной почве машина как бы наметила рубчатые рельсы. За осинником в сырой низине бугрились голубые шапки незабудок, каждая кочка — голубой букет. Но незабудки уже имелись в коллекции.

— И главное, не отзывается,— бормотал Алеша, в десятый раз настраивая радиоприемник.

Опять след выбрался на заброшенную, заросшую мелколесьем просеку. Просека сменилась трухлявой гатью через болото. Уже вечерело, над болотом повисал туман. Казалось, воздух уплотняется на глазах: становится непрозрачным над каждым оконцем бурой воды, усаженным тугими кувшинками.

«А ведь кувшинки должны были соблазнить машину. Наверное, она полезла за ними»,— подумал Алеша.

И действительно, тут она и нашлась, увязшая по самые глаза. Завязла и билась-билась, пока не израсходовала всю энергию. А когда израсходовала, даже SOS послать не смогла.

Все это происходило в понедельник, накануне тринадцатого вторника. Так уж повелось в ОКБ у Алеши: испытания проводились по понедельникам, выявлялись какие-нибудь неполадки, затем всю неделю они устранялись, в следующий понедельник проходила проверка нового приспособления и после этого Алеше было что порассказать в «Романтиках».

— Значит, с чистым голодом дело не пошло,— подвел он итог на этот раз.— Голодная машина не знает удержу, лезет очертя голову, вредит вокруг: и себе вредит, и всем вокруг вредит. Хулиган получился. Впрочем, это неточное определение. В хулигане сидит садист, наслаждающийся мучительством. А у нас просто бесшабашный малец, не признающий человеческих законов. Человеческих и природных. Теперь будем учить правила поведения.

— Воспитывать вежливость?

— Нет, за неделю не воспитаешь. Да и не тот уровень, у нас пока звериный. Дрессировать будем. Сделаем страх и сделаем боль.

В последующие дни машине делали «больно».

Боль конструировали, как и голод, по аналогии с животным миром. У живых существ боль — это предупреждение о возможной поломке. По всему телу рассеяны чувствительные клетки, которые сообщают организму о всяком непорядке — непомерном давлении, непомерной нагрузке, перегреве, переохлаждении, о посторонних предметах, о ненужных химических веществах, даже о ненужной пище («Живот болит!»).

Стало быть, пришлось на всех деталях и важных узлах машины ставить датчики-предохранители, датчики напряжения, механического и электрического, датчики температурные, датчики кислотные и щелочные. Задолго до разрушения, с надлежащим запасом прочности, датчики включали тормозной сигнал, и машина не своим голосом (Наташиным) вопила:

— Ой, больно!

— А тебе на самом деле больно? — допытывался Алеша.

Но машина не могла объяснить, она не знала, что такое «на самом деле».

Боль — предупреждение о повреждении — возникла у самых примитивных животных, как только появилось самостоятельное движение, возможность уклоняться от опасности.

У высших же животных, имеющих глаза, нос, уши и центральный нервный штаб, к болевому предупреждению добавилось еще одно, предварительное,— страх называется. Боль — началось повреждение, страх — будет больно.

Машину предстояло научить и страху.

Ее учили бояться поездов, троллейбусов и автомобилей, уступать им дорогу, пересекать улицу только при зеленом свете; ее учили бояться людей в лесу, уступать им дорогу, ни в коем случае не приближаться (чтобы не было новых нападений на торговок с корзинами цветов). Учили бояться заборов, плетней и колючей проволоки. Учили бояться крутых склонов, грязных луж, топкой почвы; надо же было избежать новых приключений в болотах. Учили бояться высокой скорости, угрожавшей перегревом, и узких дорожек, где можно было заклиниться между стволами.



Рельсы, люди, заборы, кручи, чащи, болота стали «страшно».

— Ой, страшно! — пищала машина Наташиным голосом.

Алеша с увлечением рассказывал, как это натурально получается у машины. Подходит к шаткому мостику и мнется. «Ой, страшно!» — этаким жеманным голоском. «Ой, страшно!» — у светофора.

— Бедняжка, а мне жалко ее,— заметила Ия.— Неужели нельзя было обойтись без этих «страшно» и «больно»? Сказали бы просто: этого нельзя и того нельзя.

— Это было бы проще всего,— возразил Алеша.— Дай инструкцию на все случаи жизни, ничего и выбирать не надо. Но, увы, инструкции не предвидят непредвиденного. В меняющемся мире невозможно выжить на основе наследственных наставлений. Природа поняла это еще на уровне рыб и ввела условные рефлексы в добавление к безусловным, личный опыт и личную память в добавление к памяти тела. Мы думаем, что наша машина подобна собаке, посланной в лес с поручением. Хозяин приказал ей найти, но не знает, где искать. И не знает, что его собака встретит на пути. Пусть остерегается. Пусть убегает, когда в нее кидают камни. Пусть ей будет больно. Больно — это маленький выкуп во избежание большого вреда. Страх — еще меньший выкуп во избежание большой боли. Мы приучаем машину к осторожности.

И вот осторожная машина отправилась в лес с очередным заданием: грибов набрать к обеду.

— Столько тысяч в тебя всадили, хоть бы на трешку пользы,— напутствовали ее механики.

Но пользы не было и на пятак. Уже через десять минут пришел сигнал бедствия: «Ой, больно!» Кинулись на помощь. Машина была целехонька. Стояла в густой траве в двух шагах от опушки.

— Впереди лужа. Топко. Трясина,— объяснила она.

Видимо, датчики ступиц, чувствительные к влажности, восприняли росу как предвестник опасного болота.

Алеша вывел машину на сухую дорожку. Покинул. Через пять минут снова SOS.

— Впереди незнакомые люди,— доложила машина.— Они идут навстречу. Поворачиваю в гараж.

— Обойди за деревьями.

— За деревьями болото. Поворачиваю. Догоню вас.

Дождались беглянку, проводили ее еще раз до опушки, наказали без грибов не возвращаться. Ждали два часа. Опять донеслось:

— Спасите! Страшно!

Машина стояла шагах в двадцати от того места, где ее оставили. Стояла с потухшими глазами перед первой же канавой. Тока почти не было. Электрический аванс она израсходовала, добавки не заработала, не найдя ни единого гриба.

— В лесу плохое освещение,— заявила машина.— Ожидается болото с неба.

— Даже смешно,— сказала Ия, выслушав отчет.— Был озорной мальчишка, сорви-голова, стала трусливая девчонка, которая темного леса боится. Сменили характер за две недели.

Алеша задумался.

— Какой же характер дать машине? Наверное, что-то среднее нужно, какая-то пропорция страха и голода, золотая середина. Но как ее определить — золотую середину? Знаешь что, Ивушка, ты спроси отца. Может, он подскажет какое-нибудь правило, зоологическое или психологическое.

ГЛАВА 9

Шестнадцатый вторник.

— Папа говорит, что нужна борьба. И страх полезен зверю, и голод полезен. Но пусть они сталкиваются, меряются силами, так чтобы сильный голод подавлял бы слабый страх, а сильный страх заглушал бы голод.

Алеша отодвинул тарелку. В отличие от зверей, у человека сильный интерес заглушал голод.

— Меряются силами — это понятно,— сказал он.— Вопрос в том, как измерять силу, в каких единицах выражать, как назвать единицы страха и голода? Всю неделю обсуждаем. Вообще-то в науке принято именовать единицы в честь ученых: вольт, ампер, ньютон, фарада. Но проголодался на семь с половиной дарвинов и струсил на четыре менделя — это же оскорбление памяти ученых. Кто-то предложил волчеры и зайцеры — звучит как-то не по-людски. Я думаю, что надо бы измерять голод процентами, просто процентами израсходованной энергии. Но где проценты в страхе?

— Папа тоже говорил насчет процентов. И еще велел передать: пусть учтут, что проценты неравнозначны. Первые проценты голода слабее первых процентов страха. Сидеть в норе безопаснее, не стоит выбираться из нее, рыскать и рисковать из-за пятипроцентной мелкой закуски. Тут на помощь страху приходит лень. Лень тормозит активность, глушит аппетит. Но вот желудок пуст, голод проснулся, лень подавлена. Зверь выбрался из берлоги. И чем сильнее голод, тем больше активность, больше смелость; страх почти забыт.

— Понимаю,— сказал Алеша.— Тут разные кривые. Активность растет круче, чем голод. Это все можно изобразить на схеме.— Он вынул шариковую ручку, написал на бумажной салфетке «0%», отметил голод легкий, умеренный, сильный, неудержимый, потянул кривую активного поиска от нуля до ста процентов...

— Не до ста,— поправила Ия.— Папа сказал: если зверь найдет добычу, он наедается впрок, на двести процентов, чтобы зря не разгуливать потом, не подвергать себя риску лишний раз. И чтобы

лишнюю энергию не тратить. Тут его опять одолевает лень, лежит себе в берлоге и переваривает. Но вот что папа велел тебе напомнить: стопроцентной растраты сил тоже не бывает никогда. Когда остается пять процентов или три, активность прекращается, падает до нуля. Это уже не лень, а апатия. Но и безнадежная апатия тоже полезна животному. Уж если, потратив почти все силы, оно не нашло еды, лучше не бегать понапрасну, положиться на авось. Авось времена переменятся, еда сама свалится невесть откуда. Выжидать лучше, чем выложить все без остатка.

Алеша, пощелкивая цветными стерженьками, все это изображал на салфетке.

— Очень и очень любопытно! — приговаривал он.— Значит, тут кривая круто забирает вверх, на ней острый пик и резкое падение. Но зачем же сдаваться раньше времени, если есть еще пять процентов энергии? Я бы боролся до последней капли крови.

— Папа говорит, что это по Дарвину так получается. Что полезно животному, то и отражается в его поведении. Бороться до последнего вздоха, как ни странно, не всегда полезно. И при страхе, как при голоде, борьба идет не до конца. В панике зверь проявляет чудеса ловкости, быстроты, выкладывает все резервы. Но, пойманный, замирает. Когда лев схватит антилопу, она впадает в шок. Если бы трепыхалась, хищник прикончил бы ее в одно мгновение. И тут остается последняя надежда — на авось. Авось что-нибудь помешает льву, он бросит добычу, не дотащив до логова. И люди унаследовали это отключение. Когда Ливингстона сцапал лев, человек впал в транс — все видел, ничего не чувствовал. И спасся... Льва успели застрелить.

— Ия, ты гений! — сказал Алеша.— Мы все искали простоту, прямую однозначность, а тут кругом психологические противоречия. Спасибо, Ивочка. Ты молодец, быть тебе великим ученым.

— Это не я, это папа все объяснил.

— Все равно: он объяснил, а ты изложила. У тебя удивительная ясность ума. Давай прояснять дальше. Можно я сяду рядом, а то тебе неудобно смотреть на график вверх ногами.

Алеша перебрался на другую сторону стола, неуклюже задел Ию коленкой, мазнул челкой по щеке и поспешно отодвинулся, краснея...

— Итак, гм-гм, существует четыре стадии активности: ленивая раскачка, энергичный поиск, яростный напор, безнадежная апатия.

— По-моему, машине апатия ни к чему.

— Нет, пожалуй, и апатия небесполезна. Если горючее на исходе, а вырваться не удается, незачем тратить зря киловатт-часы. Надо оставить ток хотя бы на позывные: «Спасите, завязла!» Помнишь, когда машина провалилась в болото, она SOS не подавала, самоуверенно рвалась, пока все аккумуляторы не сели. Если бы радировала о помощи, мы бы ее куда быстрее нашли.

— Папа говорил еще, что разная бывает апатия. Есть апатия

бессилия — от безнадежности или от голода. И есть еще апатия от сытости — эта для экономии добытой пищи, чтобы силы зря не расходовать. Лев — тот спит восемнадцать часов в сутки. Спит, поест и опять спит. Скука какая! Я бы с тоски пропала.

— Ну, лень мы машине программировать не будем. Ей незачем ток экономить. Пусть заряжается и приступает к делу сразу же. А вот скука... Зачем она? Будильник своего рода для сытого существа. Голод тоже будильник, но для голодного. А сытое зачем же тревожить? Только что мы говорили: вылезать из норы небезопасно и неэкономно.

— Надо же размяться, побегать, а то опухнешь от безделья,— вставила Ия.

— Да, опухнешь. Опухнешь — вот причина. Надо размяться, поиграть немножко. Детеныши — те играют, чтобы научиться. Играют котята, играют лисята, играют ребята. Прячутся, ловят, подкрадываются, удирают. Малыши учатся играя. А взрослые звери? Зачем жестокий кот играет с мышкой,— отпускает и цапает, отпускает и цапает? Что за садизм, извращение у животного? Может быть, тренируется, отрабатывает хватку, быстроту реакции? Значит, игра — это тренировка. Зверь сыт, наелся впрок, переварил, накопил запас энергии, можно потратить часть и на тренировку. Может, и машину научить игре? Пусть себе упражняется по ночам.

— А сама по себе она не играет? — спросила Ия.— Если ей приятно работать в лесу, вероятно, ей и играть в поиски приятно.

Алексей застыл с широко открытыми глазами.

— Ия, ты гений. Нет, честное слово, без всяких шуток. Вот что значит свежий взгляд со стороны. Мы два месяца спорим: больно машине или как бы больно? Приятно или как бы приятно? Ты права: если ей на самом деле приятно искать, она будет играть в поиски. И это можно проверить. Прямо сейчас, сегодня вечером. Ия, можно я позвоню тебе поутру? Раз в жизни нарушим правило, поговорим не во вторник. По телефону же. По телефону не в счет.

Ия колебалась не больше одной секунды.

— Ну нет, условие есть условие,— сказала она.— Кто же играет без правил? Тура ходит по прямой, слон — по диагонали. Ни один шахматист не позволит себе попросить: «Разрешите один разочек двинуть туру ходом коня». Нет, от вторника до вторника я о тебе не думаю и думать не хочу, у меня другое в голове.

— А я всю неделю думаю о вторнике, слова подбираю для недельного отчета,— протянул Алеша плаксиво, но настаивать не посмел, вздохнул уныло и опустил глаза.

Ия торжествовала. Все-таки приятно, когда тебя так слушают, так ценят, так подчиняются. И кто? Ведущий конструктор ОКБ, крупный мужчина, плечистый, басистый, с этакими кулачищами. Как двинет — кости переломает. Но слушается. Водишь его, словно слона на веревочке. Жутковато, но лестно.

А кончился этот день плохо, ссорой, почти серьезной. И причина-то была глупейшая: самый древний из споров. Наверное, еще Адам с Евой решали его, не могли решить; наверное, их лохматые предки лопотали о том же, зацепившись за ветки хвостами.

— Ну хорошо,— сказал Алеша, надувшись.— Если у тебя голова другим занята, не буду отрывать. Пойдем дальше. Допустим, ординаты голода положительны, страха — отрицательны; из голода вычитаем страх, получаем направление действия. Нападение или бегство. Но ведь кривые-то разные у разных животных, у разных людей тоже. Какой же характер придать нашей машине — мужской или женский? Отчаянный или осторожный?

— Смотря для чего. Женский, если ты хотел сделать модель гармоничного человека. Ты не забыл о модели?

— Ты считаешь, что женщина гармоничнее?

— Безусловно. Женщина мягче, чувствительнее, культурнее, добрее, гуманнее. Женщина человечнее. А человечность недаром так называется. Видимо, это главная черта человека.

— Вот тебе и на! Трусость — это тоже признак гармонии?

— При чем тут трусость?

— Ты сама сказала в прошлый раз, что машина стала похожа на трусливую девчонку. «Был озорной мальчишка-сорванец, стала трусливая девчонка». Это твои слова.

— Не придирайся к словам. Я имела в виду чувство ответственности, разумно-умеренную осторожность.

— Далеко уедешь с твоей разумной осторожностью. Едва ли Колумб доплыл бы до Америки, а Амундсен открыл бы полюс с твоей разумной осторожностью. И был бы Гагарин осторожным, воздержался бы от полета в космос.

— А Валентина Терешкова? А Софья Перовская? А Волконская и Трубецкая? А Жанна д'Арк? Исключения? Ты хочешь сказать, что я не исключение? Так зачем же ты заурядной трусливой девчонке рассказываешь то, что она не может понять? Зачем? Советуйся со своим отважным Волковым, води его сюда в «Романтики» хоть каждый день.

ГЛАВА 10

Прав оказался отец в конечном итоге: самый интересный из друзей постепенно стал единственно интересным. Только с ним встречалась Ия, только о нем и думала (вопреки своим собственным заявлениям). Все дни недели заслонил вторник.

Маслова Ия отшила. Объявила ему с невежливой прямотой, что ей скучно с людьми старшего поколения. Нарочно хотела обидеть резкостью, но Маслов только поклонился изысканно, поцеловал ей руку и сказал, что люди старшего поколения умеют быть терпеливыми. Прибавил, прощаясь, что назойливым не будет, позвонит

через месяц-другой, справится, как дела, как настроение, может, и окажется полезным.

Рыжий ушел сам, по собственной инициативе. Сказал, что ему надоело слушать каждый день одно и то же, про того же технаря. Обыденный серый технарь, технарь как технарь, занят винтиками и шпунтиками, считать умеет, думать и не пробовал. И сама Ия с ним опустилась: не читает, не мыслит, не чувствует, не ищет нравственные начала. Ему, Сергею, скучно тратить время с обывательницей.

Изредка появлялись на горизонте новые знакомые. Являлись и исчезали, даже не попадая в опись типов. Не годились они в герои вакантных сред, четвергов и пятниц. Не выдерживали никакого сравнения со вторником.

Один содержательный вечер в неделю — шесть дней ожидания. Но скуки не было. Ия читала, читала серьезные книги по биологии, зоологии, психологии, педагогике, даже по технологии материалов. Читала главным образом для того, чтобы понимать Алешу, грамотно отвечать ему, грамотно давать советы, направлять, когда заносит в сторону. Пусть направляет она, искренний друг, а не хитроватый, себе на уме, Волков.

И ждала вторника. Не заполненный в прошлом вторник, самый невыразительный день недели, сделался наиглавнейшим, как прожектор, освещал все прочие дни. Предыдущий вторник светил в спину, предстоящий — в лицо, словно фонари на автостраде. Целую неделю Ия вспоминала слова Алеши, перебирала их, взвешивала, сортировала, думала о том, что сказала сама и что скажет в следующий раз, размышляла об Алеше, о его достоинствах и недостатках. Пожалуй, больше о недостатках — о том, что ей предстоит исправлять.

Вот, например, неуважение к женской гуманности — важный недостаток?

— Папа, Алеша говорит, что голод — это мужское чувство, а страх — типично женское. Это верно? Что ты скажешь как психолог?

— Скажу, что это явное упрощение. Каждому животному — ведь мы и в прошлый раз говорили о животных — нужен и голод и страх. И нужна борьба двух чувств, чтобы большой страх парализовал малый голод, а большой голод побеждал бы страх. Решает мера, все дело в мере. Но мера-то у разных существ разная. У каждого вида своя кривая. Это толково твой Алеша изобразил на графике.

— И вовсе он не мой! — поспешно вставила Ия.

— Я говорю — изобразил толково. Но кривые различны. У хищника крутая кривая голода и пологая — страха. У травоядных наоборот: постоянный умеренный аппетит к жвачке и острые пики страха. Да и внутри вида разной формы кривые у детенышей

и взрослых, молодых и старых, самцов и самок. Кто слабее, тот и боязливее. То же перешло по наследству к людям, к мужчинам и женщинам. Сильный мужчина — активный добытчик, ему больше нужен голод — стимул действий. Женщина при детях, ей приходится терпеливо сидеть дома, чуть не сказал «в норе», добытчика дожидаться, потомство охранять. Ей природа выдала меньше аппетита, больше опасливости, страха, грубо говоря.

— Толково ты объясняешь, папка, а все равно обижаешь. Это у вас с Алешкой единый фронт мужского зазнайства. Вы герои, а мы — трусишки, и вините природу. Да я, если хочешь, куда смелее Алексея. Он со своим начальством спорить боится.

— Девочка, я сказал, опасливые, осторожные, а не трусливые. Вы и обязаны быть осторожными, чтобы сберечь потомство, сохранить его физически и генетически. Вам дана великая обязанность и право направлять развитие человечества. Как направлять? Сто́ящих отцов выбирая для будущего поколения.

— «Направлять, выбирать»! А где же тут любовь, папка?

— Любовь и есть выбор. Выбираешь того, кто заслуживает быть отцом, прообраз для собственного сына.

— А как же говорят про любовь с первого взгляда?

— Не знаю, девочка. Думаю, что с первого взгляда бывает не у всех. Зависит, какие требования у сердца главные. Если по сердцу красивый, сильный, ловкий — это сразу видно, с первого взгляда понятно. А если сердцу важнее добрый, заботливый, принципиальный, чистый, талантливый, смелый — этого сразу не разглядишь. В нашей безопасной и благоустроенной жизни еще случай нужен, чтобы проявить смелость, время, чтобы талант показать.

— А мне, папочка, какой нужен — смелый или талантливый?

— Спроси свое сердце. Но мне кажется, ты сама сильная, тебе каменная стена не нужна, чтобы за спиной мужа от жизни прятаться. Ты из тех, кто всматривается. У тебя любовь будет расти постепенно.

«Значит, я из тех, у кого любовь растет постепенно,— думала Ия, сидя над отчетом о шестнадцатом вторнике.— Я к Алешке совсем равнодушна была. Он чужой был, только любопытство возбуждал, а потом стал самым хорошим на свете. Для других он может быть и скучным, неуверенным, нерешительным, никудышным даже, а для меня — все равно самый наилучший. Инесса Аскольдовна плечами пожимает: «Боже мой, рохля такой! Всю весну ходит на свидания, не поцеловал ни разу. Разве это мужчина?» Соседка сказала во дворе: «Ты с ним наплачешься. Мой такой же. На работе горит, с доски Почета не снимают, а дома гвоздя не вобьет. Только ужинает и ночует. На все дела я одна и одна: подай, прибери, купи, еще и деньги раздобудь. Эгоист самовлюбленный». А другая добавила: «Сухарь какой-то, скукота тебе с ним. Всё про ученость да про ученость, а когда же живое слово?»

А мне не скучно. У нас дело общее. Ощущение такое, будто ребенок у нас машинный, модель ребенка, сообща воспитываем, лепим характер. И я ничуть не обманываюсь в Алешке, знаю все его слабости наперечет, но все равно он самый милый. Он мой. Мой дом всех милей, потому что я в нем живу. Мой человек всех милей: я его для себя выбрала. Если верить папе, выбрала сердцем и, значит, люблю.

Всё это Ия думала про себя, а в тетради написала только два слова: «Да, люблю!»

«Люблю! Мир насыщен и многозначителен. Люблю! Грудь налита горячей радостью. Люблю! Жизнь переполнена до края, нет ни малейшей щелочки для тоски и скуки. Я люблю, я готова делиться ликованием, всех на свете утешать и подбадривать, раздавать прохожим цветы на улице, покупать игрушки ребятам. Я люблю, я нашла смысл и назначение. Я люблю, ничего не нужно сверх того, нечего прибавить».

Прав был старик отец. Ия была сильным человеком. «Да, люблю!» — написала она. Не «я любима»!

Семнадцатый вторник.

— Играет! — объявил Алеша, радостно улыбаясь.— Она играет по ночам. Значит, чувствует. Вот видишь, взобрались мы по лестнице почти до самого верха,— заключил он.— Получилась машина с чувствами. А ты не верила, что получится.

— Ну а любовь? — напомнила Ия.

Не могла не напомнить. Самым главным, почти единственным, всезатмевающим чувством была для нее любовь. Говоря о чувствах, она и подразумевала любовь. Нет любви — стало быть, все равно бесчувственная железяка.

Алеша посерьезнел.

— Мы уже размышляли о любви. Но любовь — это другая ступень на лестнице, даже другой этаж. Голод, боль, страх, скука — это мои чувства, они эгоистичны, это чувства для себя. Сытый голодного не разумеет, и «гвоздь в моем сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте», и «каждый умирает в одиночку». Больно мне, тошно мне, скучно мне, весело мне. Но любовь, материнская прежде всего,— первое социальное чувство. Мне больно, когда другому больно. Я думаю, что в этом направлении и будет развиваться человек. Природа сделала только первый шаг, чуть-чуть отступила от эгоизма. Любовь к ребенку — не к своему, к девушке — не к своей. Наши потомки распространят чувства на друзей, товарищей, на всех людей на свете. Пусть никто не чувствует себя сытым, если вокруг голодают. Пусть не веселится, если за стенкой плачут.

Ия не очень прислушивалась. Она задумалась о потомках, о своих собственных потомках, как она будет воспитывать у них чуткий общественный слух на чужие несчастья. Ей представились

кудрявые бутузы, глазастые и толстогубые, с наивно-удивленным вопросительным взглядом, как у Алеши. Как у Алеши? Разве она хочет, чтобы ее дети были похожи на него? Так далеко зашла в мечтах? Ну да, зашла, да, хочет. Любит и хочет. А он?

И ей захотелось задать вопрос. Не словами, конечно. Какая же девушка спрашивает словами? Есть много способов спросить молча.

Ия положила на стол свою загорелую лапку. Как бы случайно забыла ее в непосредственной близости от Алешиной длани, разлапистой, с обкусанными ногтями и желтыми следами ожогов на плоских пальцах. Алеша поперхнулся, опять заговорил о чем-то, а длань между тем начала подкрадываться к лапке, миллиметр за миллиметром, с показной нечаянностью. Но Ия видела все уловки длани, даже не глядя ощущала. Какое-то особое поле возникло вокруг их столика, полупрозрачной перегородкой отделило внешний мир. Все краски снаружи потускнели, затуманились, все звуки отодвинулись, слились в глуховатый ритмичный гул: гал-гал-гал... А внутри поля напряжение все возрастало, словно ткань натягивалась до отказа. И вот пушок прикоснулся к пушку, короткое замыкание; искры посыпались из мизинца в мизинец. Ия замерла, зажмурилась на секунду. Секунду блаженной слабости позволила себе. Но...

— Сэр (самым строгим тоном), кажется, вы нарушаете договор. Вы пóшло ухаживаете. Уберите руку тотчас же. Что стóят ваши слова насчет дружбы, дружбы, чистейшей дружбы? Право, вас следует наказать. Следующий вторник мы пропустим вам в назидание. Кстати, мне пора готовиться к экзаменам.

И напряжение исчезло. Словно выключателем щелкнули.

Но как Алеша испугался! Даже побледнел, даже заикаться стал. Начал извиняться, уверять, что никакого ухаживания не было, ничего такого он не имел в виду. Понес что-то несусветное, будто встреча с Ией необходима для ритмичной работы ОКБ, все подгоняется ко вторничному отчету в «Романтиках», даже сама машина привыкла к испытаниям в понедельник; пропущенная встреча сорвет выполнение месячного плана. Неделя без «Романтиков» пропащая, все равно как прогул. Ия обязана простить его, просто обязана, в интересах графика пожертвовать собой, прийти хотя бы на полчаса.

В конце концов Ия милостиво согласилась не принимать во внимание нескромность Алешиного мизинца.

Что ж, объяснение не состоялось, но объяснение состоялось. Ия любила и была любима. Слова о любви, правда, не были произнесены вслух, но Ия могла и подождать. Даже намеренно отложила, отодвинула слова в будущее. Счастье придет, пока что можно посмаковать его приближение. Право же, ожидание счастья не хуже самого счастья.

Прекрасный был вечер, может быть, лучший в жизни.

К сожалению, единственный, неповторимый, не повторившийся.

ГЛАВА 11

В среду днем отцу стало худо на работе.

Закружилась голова, полки и папки с историями болезней поплыли по часовой стрелке снизу влево и наверх, никак не хотели остановиться, улечься на свое место. Доктор присел на порог, чуть отдышался, сам дошел до кабинета директора, поехал домой на трамвае зачем-то, привык не облегчать жизнь, а заставлять себя вытерпеть. И зря. Дома он упал на пол, пришлось звать соседей, чтобы положить его на кровать. У него отнялись рука и нога, вся правая половина тела. Врач из поликлиники произнес страшное слово «инсульт», удар — по-старинному.

Несколько дней прошли как в угаре. Дверь в квартиру не закрывалась. Медицинские сестры сменяли врачей, врачи — сестер. Наскоро занимая у соседей десятки и четвертные «до завтра», Ия моталась по больницам, разыскивала каких-то знаменитых профессоров-целителей, которые будто бы могли помочь. Профессора, поддавшись мольбам, приезжали, говорили все одно и то же: кровоизлияние в мозг, покой, покой, покой, не тревожить, не волновать, не трогать, не ворочать. Если ночью не станет хуже, непосредственная опасность минует. Некоторые прописывали какое-нибудь особенное лекарство, которое можно было достать только через союзное министерство. Ия добывала особые лекарства, капала обыкновенные, ставила грелки к ногам, приносила из аптеки кислород в подушках и банки с пиявками, мыла дряблую кожу за шеей, чтобы разборчивые кровопийцы не отказались присосаться, и опять мчалась в паническом ужасе уговаривать какую-нибудь знаменитость, страшась, что сделано не все возможное, где-то таится спасительное средство, кому-то известен спасительный рецепт.

Непосредственная опасность все же миновала. В воскресенье врачи сказали, что отец будет жить. Восстановятся ли речь и движения, сказать пока трудно. Может, и восстановятся постепенно. Месяца через три будет яснее... будем надеяться на лучшее.

Ия поспала, кажется, в первый раз за всю неделю, немножко прибралась, выкинула грязные бинты с бурыми пятнами, вымыла пол, заказала тете Груне диетическое меню. И тут встал вульгарный вопрос: деньги.

До сих пор Ия знала только один способ добычи денег: прийти к отцу в кабинет вечерком, потереться носом о пиджак, промурлыкать жалобно: «Папка, ты будешь меня презирать, но мне ужасно хочется новые туфли. Лаковые так надоели! И вообще они вышли из моды. Сейчас носят на высоком каблуке. Не могу же я быть хуже всех».

И отец, ласково взъерошив волосы дочке, со снисходительным вздохом отодвигал правый ящик стола: «Ох и кокетка ты у меня!»

Но сейчас спрашивать не приходилось. Отец лежал недвижно, какой-то незнакомый, беспомощный, с искривленным ртом, сам с

жалобной надеждой глядел на дочку, что-то силился вымолвить половиной рта.

Ия без спроса полезла в правый ящик, денег там не оказалось. Нашла только сберкнижку, на счету не слишком много: семьдесят два рубля с копейками. И на те в сберкассе запросили доверенность. Отец расписаться все равно не мог. Ия побежала за пособием к нему на работу. Там ее направили в кассу взаимопомощи, но председателя кассы не было, он только что ушел в отпуск. Соседки по дому, те, что одалживали десятки и четвертные, посоветовали Ии снести старые вещи в скупку. Что-то удалось продать — даже на отдачу долгов не хватило бы. Что-то Ия сдала в комиссионный, ей велели справиться через две недели. Усталая от очередей в душных коридорчиках магазинов, Ия возвращалась домой в самую жару. И тут вспомнила, что сегодня вторник. Переодеться успеет ли?

Алеша уже дожидался в «Романтиках», сидел за третьим столиком. Увидя Ию, привстал с нетерпением. Поздоровался с обиженно надутыми губами и сияющими глазами. Ия опаздывала, но пришла все-таки. У него был ворох новостей, он торопился выложить. Произошло чудо. Волков сотворил чудо нечаянно. На очередное испытание он привел авторитетную комиссию. Алеша привык к комиссиям, даже имена-отчества не мог запомнить. А оказывается, там был один товарищ примечательный... в общем, из тех, чью фамилию узнают из некролога, читая, что ушел некто, дважды герой и четырежды лауреат.

«Ваши машины на Ио хорошо бы послать»,— сказал этот «дважды» и «четырежды».

— Друг-девушка, ты помнишь, что такое Ио?

У Ии в голове вертелось что-то мифологическое. Ио — возлюбленная Юпитера, ревнивая жена превратила ее в корову. А ради Европы — другой возлюбленной — легкомысленный бог сам превратился в быка. Еще Леда была, к этой он явился в образе лебедя, а к Данае — золотым дождем.

— Стыдись, девушка, одна любовь у тебя в голове. Я про астрономию говорю. Ио и Европа — спутники Юпитера. Ио вроде нашей луны, только вулканы страшнейшие и орбита примерно такая же и тоже обращена к своей планете одной стороной. В общем, астрономы с давних пор целятся на Ио, считают, что именно там должна быть главная база йовографии, то есть юпитероведения. На Ио надо жить и оттуда пикировать на Юпитер.

Но все это пока не для людей. Полет туда четыре года и обратно четыре года. На пути опасный пояс астероидов. Вокруг Юпитера радиационные пояса похуже земного. Облучение смертоносно. Сила тяжести на Ио лунная, облегченная, расслабляющая, на Юпитере — трехкратная перегрузка. И двадцатикратная при выходе из пикирования. И газовая толща с давлением в тысячи и сотни тысяч атмосфер. И сто пятьдесят градусов мороза на

поверхности, а в недрах, вероятно, сотни тысяч, если не миллионы.

Но смертоносное для людей может быть для машин безвредно и даже незаметно.

Ия слушала невнимательно, со смешанным чувством снисходительного неодобрения. Ио, превращенная в корову! Ио, превращенная в базу! Какие детские забавы! Как это все наивно, как мелко по сравнению с миром взрослых, где пиявки не присасываются, сберкассы не признают подписи и профессора, пойманные за рукав в коридоре, полагают, что речь едва ли восстановится полностью. Ия даже обиделась сначала, почему Алеша не спросил, как она поживает, как поживает отец. Но потом отошла, сама оправдала Алешу, вспомнила, как в первые вторники он предлагал ставить и ее еженедельные отчеты, а она уклонилась, небрежно сказала: «У меня не бывает ничего примечательного». Тогда ей казалось, что от нее нечего взять, пусть Алеша наполняет ее жизнь содержанием. А потом получилось, что донором стала она: от нее шли утешения, поддержка, наставления, поправки, советы... даже советы отца. И вот Алеша привык получать и не спрашивать. Даже не спросил об отце сегодня.

Напомнить? Но Ия медлила. Алеша был так весел, так приподнято бодр... Ию утешала его эгоистическая жизнерадостность. Она отдыхала душой возле него. Так взрослые отдыхают, глядя на беспечные игры малышей. Алеша ликует — стало быть, не все в жизни безрадостно. И не будем торопиться, ввергая этого большого младенца в нудный мир рецептов «цито» и незаверенных доверенностей. Будни сами по себе, праздник сам по себе. Быть может, речь и восстановится постепенно.

И вдруг Алеша, взглянув на часы, заторопился:

— Ах, черт возьми, сорок пять минут до поезда! Ну, я так рад, так рад, что ты пришла, все-таки я успел тебе рассказать в общих чертах. Подробно напишу с полигона, постараюсь подгадать так, чтобы ты получила письмо во вторник ровно в шесть.

Он все еще был в игре, соблюдал договорные условия.

— Постой, почему письмо? Ты не приедешь во вторник?

— Да ты не слышишь ничего! Чем у тебя голова занята? Я же битый час рассказываю, что меня приглашают работать на космос. И я согласился... И еду на дальний полигон, сегодня еду, поезд через сорок пять минут. Я пошел, Ивочка, бегу стремглав. Салют, дружище!

Строго соблюдая правила игры, он даже не попытался поцеловать ее на прощание... дружески.

А Ия осталась — главой семейства, главой в восемнадцать лет, с двумя беспомощными иждивенцами на руках.

Ведь тетя Груня тоже была беспомощным иждивенцем. Она знала уборку, кухню, окрестные магазины, знала, где дают, что и почем, могла в крайнем случае дойти до Усачевского рынка, выбрать

продукты посвежее, даже поторговаться, зажимая деньги в кулаке. Но ко всему прочему миру она относилась с опасливым недоверием. Даже ночные дежурства ей нельзя было поручить. Она путала аптекарские склянки, могла вообще вылить лекарства, потому что не верила в греховную науку, больше уповала на молитвы. Молиться она не ленилась, могла и всю ночь простоять на коленях, уговаривая бога пощадить, помиловать неразумного брата. Бог представлялся ей суровым, мрачно-обидчивым... Она искренне считала, что это бог наказал брата параличом за неуважение к дедовским запретам, жалела брата, но в душе не очень была уверена, что имеет основания просить о смягчении приговора.

Итак, тетя Груня взяла на себя кухню и бога, а с внешним миром Ия была одна лицом к лицу.

Доверенность она оформила в конце концов, справку от врача представила в сберкассу и деньги получила — семьдесят два рубля с копейками. Но в тот же день пришел агент по страховке. Оказалось, что отец застраховал себя, но на случай смерти, а не от болезни и срочно-срочно нужно вносить квартальный взнос, а иначе все пропадет. Ия подумала-подумала и отдала деньги.

На следующий день — новое волнение. Пришла повестка: дом назначен на снос. Жильцам предлагают в двухнедельный срок выбрать квартиру для переселения. Выбрать квартиру? Ия не решалась без отца. Что она понимает в районах, этажах, как соберется, что возьмет с собой, что бросит? И как сложиться без отца, как перевозить больного? Можно ли ему переезжать вообще? Можно ли жить в суете переезда? Ия спросила районного врача, нельзя ли поместить отца в больницу временно. Та сказала, что это трудно, больницы неохотно берут хроников, тянут. И вообще дома ему лучше, две сиделки при одном человеке — такого в больнице не будет. Можно ли перевозить? Нет, не стоит, надо отложить, добиться отсрочки. Добиться? Где добиться? Кого просить? Ведь дом предназначен на снос.

Переезжать или не переезжать? И куда? И когда?

В эту пору и появился Маслов.

Он пришел незаметно, мягкий и настойчивый, и все пошло «как по Маслову». Председатель кассы взаимопомощи сам принес на дом безвозмездную ссуду. Какой-то неведомый сослуживец вернул отцу давнишний долг. Честно говоря, Ия подозревала, что сослуживец этот изобретен Масловым. Выяснились сроки сноса — второй квартал будущего года, горячку пороли зря, срок назначили с запасом, хватало времени для неторопливого выбора. За ордером Маслов поехал сам, объяснил, кому надлежало, что речь идет о видном ученом, тяжело больном, нуждающемся в особых условиях, привез ордер на прекрасную квартиру неподалеку, на Фрунзенской набережной, с окнами на Москву-реку и Нескучный сад. Ии самой захотелось переезжать как можно скорее.

В первое время Ию тяготило вмешательство Маслова. Она невольно боялась, что тут же будет предъявлен счет: принимаешь услуги, принимай и ухаживание. Но Маслов проявил деликатность, он не навязывался, ни разу ни единым намеком не обмолвился о своих чувствах. Но постепенно, настойчиво и незаметно стал своим человеком в доме. И вот уже тетя Груня советуется с ним, что готовить больному, и врач ему, а не молоденькой девчонке дает инструкции, и отец с надеждой смотрит на гостя живым левым глазом, улыбается спокойно, если Маслов в комнате, беспокойно косится на дверь, если незнакомый пришел без Маслова. Непослушными губами силится выговорить: «Мма... Ммасс...» Все чаще Ия думает, что отец был бы доволен, даже благодарен ей, если бы она ввела Маслова в семью.

От Алеши между тем приходили письма по вторникам, раз в неделю, во второй половине дня. Оказывается, он не поленился, специально написал на почту, чтобы его письма клали в почтовый ящик около шести вечера. Письма большей частью были коротенькие, торопливо-шутливые, чувствовалось, что Алеша не без труда соблюдает недельное обязательство, обеспечивая псевдовторник, спохватывается где-то в субботу вечером, после испытаний, расчетов, добавочных докладных и деловых встреч. За все время пришло только одно обстоятельное письмо, писанное на промежуточном аэродроме, где Алеша застрял из-за нелетной погоды.

«Друг-девушка!

Здравствуй! И прими письменный эрзац-вторник.

Друг-девушка, ты можешь быть довольна мной, я не разбрасываюсь, не отклоняюсь, не перескакиваю с темы на тему, с океанского дна в космос, но прямым путем иду к намеченной и тобой утвержденной теме.

Будет модель человека... и даже модель общества, группы, во всяком случае.

Дело в том, что для экспедиции на Юпитер одной машиной не обойдешься. На Ио придется создать группу, притом неоднородную. Там потребуются:

машины-строители для сооружения базы и радиостанции;

транспортные машины — эти будут доставлять исследователей на Юпитер и поджидать их на спутничной орбите;

исследователи-иоволазы — ныряльщики в глубины Юпитера;

ремонтные машины, обслуживающие строителей, шоферов и иоволазов;

стационары-вычислители для обработки добытых фактов и пересылки их на Землю по радио, и одна из них — машина-командир, координирующая всю эту деятельность, ибо с Земли командовать практически нельзя, радиосигнал на Ио идет минут сорок, а то и больше. Полтора часа от привета до ответа. Не покоординируешь.

Нужны машины самостоятельные и разные. **Разные** — подчер-

киваю трижды. Бесчувственным нужна была бы разная программа, а нашим — чувствующим — разные характеры.

Например, строителям и ремонтникам нужно повышенное чувство скуки, пусть работают не покладая рычагов по двадцать четыре часа в сутки.

Транспортникам, наоборот, скука вредна. Ведь им придется терпеливо ждать на орбите, терпеливо преодолевать пустыни космических просторов.

Исследователям нужен голод, точнее, острая жажда открытий и минимум осторожности. Нужна отвага, и даже самоотверженная. Вероятно, многим придется идти на верную гибель, нырять без надежды на возвращение, лишь бы добыть новые факты, хотя бы по радио о них доложить.

А стационарным машинам, координатору в том числе, отчаянность ни к чему. Им по чину рассудительность, расчетливость, разумная осторожность.

Разные! Все разные!

Ивушка, друг-девушка, я твержу это слово «разные», «разные», я подчеркиваю «все разные», потому что тут зерно истины. Ни на минуту я не забывал, что наши машины в идеале — модель человека. Помнишь, мы с тобой спорили, кто гармоничнее, мужчина или женщина? И вот ответ: оба гармоничны, потому что дисгармоничны. Гармония в сочетании неодинаковых. До-ре-ми-фа-соль-ля-си — равноправные ноты в мелодии. «До» не должно зазнаваться, считая себя первым и единственным, мотив не построишь на одной ноте. Симфония — в гармоничном сочетании нот, команда — в гармоничном сочетании характеров. Семья — в гармоничном сочетании характеров, мужского и женского, неодинаковых, неодинаковых, неодинаковых...

Ведь мы с тобой тоже гармоничная команда, аккорд из двух нот. Правда, друг-девушка?»

Ия перечитывала письма Алеши с раздражением и умилением. Они умиляли ее, как милые воспоминания далекого беззаботного детства, и раздражали своим детским беззаботным эгоизмом, болтовней о пустяках, невниманием к подлинной жизни. Машины-ныряльщики, машины-проверяльщики, Юпитер со спутниками, тысячи атмосфер, тысячи градусов — кому это нужно все? Миллионы лет люди жили, не ведая про Ио,— ни холодно ни жарко от этой чужой Луны. Бирюльки все эти откровения Алеши. Подумаешь, достижение — модель гармоничной команды! Пусть наведет гармонию в живой команде из трех личностей. Все разные, и все беспомощные: парализованный старик, темная, ничего не понимающая, напуганная жизнью бабка-сектантка и восемнадцатилетняя девчонка без заработка и специальности с двумя иждивенцами на руках. Вот где проблема.

Ия чувствовала, что Алеша уходит от нее в прошлое, в ее собственное детство, которое кончилось в тот момент, когда она увидела хрипящего отца на полу и побежала за соседями, чтобы

взгромоздить его на кровать. С тех пор реальностью стала тумбочка с лекарствами, а Алеша — романтичным воспоминанием. Алеша уплывал в дымку, а в реальной жизни был Маслов, необходимый, надежный, всепроникающий, всеобволакивающий.

И тогда Ия решила написать письмо, сказать ясно, что для нее время игрушек прошло, началась взрослая жизнь, пора решать, как ее строить: вместе или врозь?

Девушки-читательницы, не пишите вы писем, не надейтесь выяснить чувства на почтовой бумаге. Это я, автор, говорю вам на основе своего авторского опыта. Слова многозначны, их можно толковать так и этак. А суть выражается улыбкой, выражением глаз, прикосновением. Мизинцем в свое время Алеша выразил свою любовь, мизинчиком Ия показала, что ждет объяснения. Но в конверт она не могла же вложить мизинчика.

И не могла, будучи нормальной девушкой, так и написать всеми буквами: «Поиграли — и довольно, давай поженимся». Так в мире не принято. Юноши могут предлагать себя прямо — девушки обязаны ставить вопрос косвенно. В «Романтиках» Ия и спрашивала косвенно, положив руку на стол,— Алеша ответил нескромным мизинцем. Ия еще переспросила, предложив отменить ближайшее свидание. Алеша ответил откровенным испугом. Видимо, и сейчас надо было спрашивать так, чтобы испуг был ответом.

Ия написала, что для нее пришла пора решений. Юность позади, романтические забавы кончились. Ей сделал предложение солидный деликатный человек, который давно ее любит. (Тут Ия забежала вперед, на самом деле Маслов повторил свое предложение только через месяц.) Надо полагать, что этот человек сделает ее счастливой, и отцу он очень нравится, отец чувствовал бы себя спокойно с таким зятем. Конечно, брак накладывает обязанности. Мужу неприятно будет, если тайком или с его ведома она будет еженедельно встречаться и даже переписываться с молодым мужчиной. Ей не хотелось бы никакой недоговоренности в семье, никакой тени подозрений. Увы, им придется прекратить встречи в «Романтиках». Пусть это останется приятным воспоминанием юности.

Как должен был ответить Алеша? Как мог ответить Алеша, тот самый, который впал в панику из-за одного-единственного пропущенного вторника? Ия не сомневалась, что он примчится с первым же самолетом спасать любовь.

И перехитрила себя. Алеша понял письмо буквально, поверил в каждое слово. Пришел в отчаяние и ярость. Ночь провел на берегу лесного озера, глядя в зловеще-черные воды. Нет, топиться не собирался. Просто мрачно-беспросветная чернота отвечала мрачной беспросветности души. Кажется, Алеша скрежетал зубами и даже всхлипывал. Кусал губы, сдерживая слезы. Стыдился слез. Плакать не хотелось даже в непроглядной тьме. Утром накатал четырнадцать страниц отчаянных и еще четырнадцать гневных, с яростными про-

клятьями. Но бросил в мусорный ящик — не в почтовый. Какие у него могли быть претензии, в сущности? Условились же не любить. Условились, что раз в неделю он отчитывается, она выслушивает. Невинная детская игра. А теперь детство кончилось, повзрослевшая женщина устраивает свою жизнь. Судьбу устраивает, а он путается под ногами, глупый романтик, поверивший в чистую дружбу.

И Алеша ответил коротко. Написал, что желает Ии счастья и не будет мешать счастью. О вторниках всегда будет вспоминать с удовольствием и благодарностью. Обиды нет и не может быть никакой. Они встречались по-дружески, а личная жизнь шла своим чередом. Он никогда не спрашивал Ию о ее увлечениях и не рассказывал о своих. Сейчас у него тоже увлечение, видимо серьезное. Интересная женщина, культурная, образованная, талантливый астроном. Может быть, к зиме они поженятся. Вот смешно было бы, если бы обе пары встретились в Доме бракосочетаний. И все выдумывал, все врал бессовестно, врал из самых лучших побуждений. Вообразил, что Ия мучится, чувствует себя чем-то обязанной, решил помочь ей освободиться от обязанностей. Думал, что ей легче будет распоряжаться собой, если он внушит, что сам к ней равнодушен.

И еще написал, что их дружба — дело естественное. Ему рассказывали, что у хевсуров, жителей горной Грузии, есть похожий обычай. Там из хозяйственных соображений принято было сыновей женить пораньше, а невест подбирать не слишком молоденьких, чтобы в дом входила крепкая работница, ломовая лошадка. Естественно, чувства в этих расчетах не было. Но юношам и девушкам разрешалось до свадьбы выбрать себе друга по влечению. Этот выбор даже отмечали подобием обручения, и побратимы ночь проводили вместе. Только не раздевались, и обнаженный меч лежал между ними.

«Очевидно, это естественно,— заключил Алеша.— Есть возраст дружбы, и есть возраст любви. Кончилась наша хевсурская дружба. Но я рад, что она была у нас.

Прощай, друг-девушка».

И это нелепое письмо он кинул в почтовый ящик.

Ия не ответила. Больше писем не было. И вторников не было.

ЭПИЛОГ

Эту историю выслушал я в кафе «Романтики», сидя за столиком у окна под тяжеловесной бригантиной и чугунным витязем. Я уже говорил, что эти «Романтики» разыскать нетрудно. Нужно доехать до станции метро «Фрунзенская», не переходя проспекта, завернуть направо, миновать зеленого карася на вывеске, полуфабрикаты и туфли, а там, не доходя до магазина пластинок, будет кафе на углу. Вот как раз я и шел за пластинками, по дороге меня захватил



дождь, зонтика я не взял, а столики за витриной выглядели так заманчиво. Но везде сидели парочки, мешать им не хотелось. Я подсел к одинокому мужчине. Потом уж разглядел его: серые глаза навыкате и пухлые, словно надутые губы. Странное выражение: смесь взрослой пытливости и обиженного детства. Словно человек задает вопросы беспрерывно и недоволен, когда от него отмахиваются: дескать, «вырастешь — узнаешь» или «много будешь знать — скоро состаришься».

Я немножко продрог под дождем, потребовал целый кофейник, чтобы согреться, естественно, предложил чашечку соседу. Мы поговорили о меню «Романтиков», слово за слово, он сказал, что бывает здесь частенько по вторникам, за этим самым столиком. «Почему за этим?» — спросил я. И услышал изложенную выше историю. Конечно, не со всеми подробностями. Кое-что я узнал позже, кое-что домыслил. Отличить легко. То, что неудачно,— это я домыслил.

— Ну и где теперь Ия? — спросил я.

— Ия на Ио,— ответил он быстро.— Простите за привычный каламбур. Имею в виду, что на Ио главная Интеллектуальная машина, стационарная машина-матка, сборщик сведений, хранитель сведений и распорядитель, диспетчер проворных разведчиков. Но все это вписывается наилучшим образом в мою лестницу — в лестницу, ведущую к моделированию человеческого поведения. Ведь последние

машины-то наши связаны по радио. Радиосигналы поступают в их эмоциональные блоки, они воспринимают чужой страх и все кидаются на помощь, они воспринимают чужую удачу и все кидаются на плодотворную разработку. Как вы считаете, ведь и нам, людям, полезна была бы такая связь? Мы бы ощущали общий страх, общую боль, общую заботу и общую радость, и общее ликование тоже. Ведь если бы я... в свое время... если бы тогда я... если бы не был глух к боли Ии, все было бы иначе у нас, как следует, не то, что сейчас...

— Я вас и спрашивал про Ию,— сказал я, не про Ию-машину, про Ию-девушку.

— А девушку я с той поры...

И тут он осекся. Замер с открытым ртом, не договорив фразы. Я обернулся, проследив его взгляд.

По проходу шла невысокая молодая женщина в строгом темном костюме с белым воротничком. У нее было резко очерченное, немного усталое лицо, узкие сжатые губы, подчеркнутые помадой, чуть прищуренные глаза. Она осматривалась несколько настороженно и замкнуто. И вдруг...

Словно свет озарил ее изнутри, лицо потеплело, заиграло румянцем. Поплыли уголки рта, глаза заискрились. Так бывает в лесу после дождя, когда солнце пробьется сквозь тучи и мокрая зелень разом вспыхнет россыпью самоцветов. Впрочем, этого словами не расскажешь. Вы меня поняли, если хоть раз смотрели в глаза влюбленной женщине. А если не смотрели ни разу, несчастнейший вы человек.

Алексей поднялся, улыбаясь широко и растерянно. Взялся за мой стул, чтобы предложить его, забыл, что на нем сидит кто-то.

И я удалился на цыпочках. Шепотом спросил счет. Мог бы и кричать на все кафе, Алексей ничего не заметил бы.

Дождь уже кончился. Последние капли стекали по стеклу, кривя лица за витриной. Когда я проходил мимо, двое сидели молча, уставившись друг на друга. Женщина порылась в сумочке и, ничего не вынув, забыла руку на столе. Мужчина положил рядом свою разлапистую длань.



КРЫЛЬЯ ГАРПИИ

РАССКАЗ



Некоторые писатели полагают, что название должно скрывать смысл книги. У захватывающего приключенческого романа может быть скромный заголовок: «Жизнь Марта» или «В городе у залива». Пусть читатель разочаруется приятно. Скучным же мемуарам разбогатевшего биржевика следует дать громкое название: «Золотая рулетка» или «Шепот богини счастья». А иначе кто же будет их покупать?

Эта повесть названа «Крылья Гарпии». Естественное название, соответствующее содержанию, оно само собой напрашивается. Конечно, можно было бы озаглавить ее «Крылья любви», но это напоминало бы мелодраматический киносборник. Если же в заголовке стояло бы просто «Крылья», люди подумали бы, что перед ними записки знаменитого летчика или же сочинение по орнитологии.

После заголовка самое важное — вводная фраза. Она должна быть как удар гонга, как отдернутый занавес, как вспышка магния в темноте. Нужно, чтобы читатель вошел в книгу, как выходят с чердака на крышу, и увидел бы всю историю до самого горизонта. Как это у Толстого: «Все смешалось в доме Облонских». Что смешалось? Почему? Какие Облонские? И уже нельзя оторваться. Вводная фраза должна быть...

Но кажется, давно пора написать эту фразу.

1

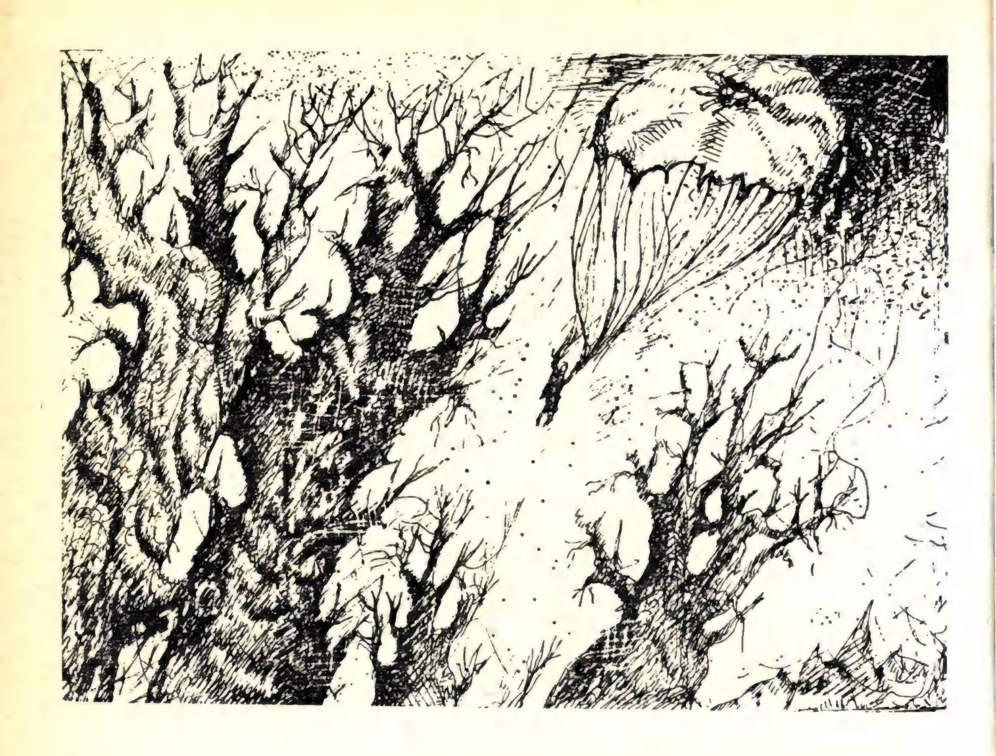
На четвертые сутки Эрл окончательно выбился из сил. Он, горожанин, для которого природа состояла из подстриженных га-

зонов и дорожек, посыпанных песком, четверо суток провел лицом к лицу с первобытным лесом. Эрл не понимал его зловещей красоты, боялся дурманящего аромата лиан, хватающих за рукава, трухлявых стволов, предательски рассыпающихся под ногами. При каждом шаге слизистые жабы выскакивали из-под ботинок, под каждым корнем шипели змеи, может быть и ядовитые, в каждой заросли блестели зеленые глаза, возможно — глаза хищника. Эрл ничего не ел, боялся отравиться незнакомыми ягодами, не спал ночами, прижимаясь к гаснущему костру, днем оборачивался на каждом шагу, чувствуя на своей спине дыхание неведомых врагов.

Ему, уроженцу кирпичных ущелий и асфальтовых почв, тропический лес казался нелепым сном, аляповатой, безвкусной декорацией. Шишковатые стволы, клубки змееподобных лиан и лианоподобных змей, сырой и смрадный сумрак у подножия стволов, сварливые крики обезьян под пестро-зеленым куполом — все удивляло и пугало его. Он перестал верить, что где-то есть города с освещенными улицами, вежливые люди, у которых можно спросить дорогу, какие-нибудь люди вообще. Четвертые сутки шел он без перерыва и не видел ничего, кроме буйной зелени. Как будто и не было на планете человечества; в первобытный мир заброшен грязный и голодный одиночка с колючей щетиной на щеках, с тряпками, намотанными на ногу взамен развалившегося ботинка.

Всего четыре дня назад он был человеком двадцатого века. Лениво развалившись в удобном кресле служебного самолета, листая киножурнал с портретами густо накрашенных реснитчатых модных звезд. Был доволен собой, доволен тонким обедом на прощальном банкете. И когда смолк мотор, тоже был доволен: тише стало. Внезапно пилот с искаженным лицом ворвался в салон, крикнул: «Горим! Я вас сбрасываю». И ничего не понявший, ошеломленный Эрл очутился в воздухе с парашютом над головой. Дымные хвосты самолета ушли за горизонт, а Эрла парашют опустил на прогалину, и куда-то надо было идти.

Он шел. Сутки, вторые, третьи, четвертые... Лес не расступался, лес не выпускал его. Эрл держал путь на север, куда текли ручьи, надеялся выйти к реке — хоть какой-то ориентир, какая-то цель. На второй день развалился правый ботинок, Эрл оторвал рукава рубашки и обмотал ногу, но почти тут же наступил на какую-то колючку; а может, это была змея? В траве что-то зашуршало и зашевелилось — то ли змея уползала, то ли ветка выпрямлялась. Эрл читал, что ранку полагается высасывать, но дотянуться губами до пятки не мог. Давил ее что было сил, прижег спичками, расковырял ножом. И вот ранка нагноилась, от яда, от ковыряния, от спичек ли — неизвестно. Ступать было больно, куда идти — неизвестно. Эрл смутно представлял себе, что океан находится где-то западнее, но никак не мог найти запад в вечно сумрачном лесу. Быть может, он никуда не продвигался, кружил и кружил на одном месте.



Так не лучше ли сесть на первый попавшийся ствол и дожидаться смерти, не терзаясь и не бередя воспаленную ногу?

А потом забрезжила надежда... И надежда доконала Эрла.

Сидя на трухлявом бревне, он услышал гул, отдаленный, монотонный, словно гул толпы за стеной или шум машин в цеху. Толпа? Едва ли. Завод? Едва ли. Но может же быть лесопилка в джунглях, или автострада, или гидростанция — жизнь, люди! Собрав последние силы, Эрл поплелся в ту сторону, откуда слышался гул, а потом просочился и свет. Эрл оказался на опушке, у крутого известкового косогора, упиравшегося в небо. Натруженную ногу резало, на четвереньках Эрл взбирался на кручу, переводя дух на каждом шагу, взобрался, поднялся со стоном и увидел... водопад! И без гидростанции! Гудя, взбивая пену, крутя жидкие колеса и выгибая зеленую спину над скалистым трамплином, поток прыгал куда-то в бездну, подернутую дымкой, сквозь которую просвечивали кроны деревьев.

И обрыв был так безнадежно крут, а даль так беспредельно далека, что Эрл понял: никуда он не уйдет, никуда не дойдет, лучше уж сдаться, тут умереть.

Нет, он не бросился с кручи, просто оступился на скользких от водопадной пыли камнях, упал, покатился вниз по осыпи и ударился головой. Бамм! Черная шторка задернула сознание, и больше

Эрл ничего не видел. Не видел даже, как белокрылая птица, парившая в синеве, осторожными кругами начала приближаться к нему, как бы присматриваясь, готов ли обед, не будет ли сопротивляться пища.

1а

Муха села на край чернильницы, и Март кончиком пера столкнул ее в чернила. Как раз под конторой помещалась кухня, и сытые мухи, глянцевито-черные с зеленым брюшком, заполняли комнату младших конторщиков. Мухи водили хоровод вокруг лампы, разгуливали по канцелярским бумагам, самодовольно потирая лапки, с усыпительным жужжанием носились над лысиной бухгалтера. Никакие сетки на окнах, ни нюхательный табак, ни липкая бумага не помогали.

Конторщик поглядел, как барахтается утопающая в чернилах, и написал каллиграфическим почерком на левой странице:

«Пшеница Дюрабль IV категории.

Остаток со стр. 246:

кг... 6529, гр... 600».

Девять лет изо дня в день Март записывал зерно. У зерна была категория, сорт, влажность, вес, цена, сортность, клещ. Конторщик в жизни не видел клеща, с трудом отличил бы пшеницу Дюрабль от ячменя Золотой дождь. Его дело было не различать, а регистрировать наличность. Девять лет изо дня в день зерно, записанное слева в приходе, медленно пересыпалось на правую страницу, в расход, и выдавалось по накладным за №... Потом приходила новая партия по наряду №... тоже с сортом, влажностью и клещом.

Девять лет текло зерно с левой страницы на правую. Девять раз в конце толстой книги Март подписывал: «Остаток на 31.XII... кг. ... гр...» Это означало, что год прошел и до конца жизни осталось надписать на одну книгу меньше.

Муха выбралась все-таки из чернильницы и поползла по стеклу, волоча за собой лиловый след. Неприятно было смотреть на нее — горбатую, со слипшимися крыльями. Март поддел ее пером и стряхнул обратно в чернильницу.

— Ужасно много мух у нас,— заметил счетовод.— И с каждым годом все больше.

Бухгалтер поднял голову:

— Что ж удивительного? Плита прямо под нами, чуть повар начнет гонять мух, все они летят к нам.

— Житье этому повару,— вставил контролер.— Сыт, семью кормит еще. Жена к нему три раза в день с кастрюлями ходит. Если считать, что в каждую порцию он не докладывает ложку масла,— сколько же это выйдет к концу года? Тысячи и тысячи!

— Да, от честного труда не разбогатеешь,— подхватил счетовод.— Порядочную девушку нельзя в театр пригласить. Водишь, водишь ее сторонкой мимо буфета, фотографии на стенках пока-



зываешь. Вчера познакомился с одной,— добавил он, проводя кончиком языка по губам.— Блондиночка, но чувства огненные. Порох!

Контролер продолжал бубнить свое:

— Черт знает, ухитряются же люди! Я знал одного кладовщика, который списал по акту две тысячи метров первосортного сукна и спустил налево за полновесные монеты. И заработал на этом пятьдесят тысяч чистоганом. Вот вам — без образования, без диплома, без светских манер и иностранных языков.

Март вздохнул и обмакнул перо. Девять лет он слушал мечты контролера о махинациях с сукном, о поджоге застрахованного дома, о подделке выигравшей облигации. На одних только колебаниях влажности, уверял тот, можно заработать золотые горы. Девять лет счетовод — видный мужчина с мокрыми усиками — хвастался своими шкодливыми романами. И бухгалтер, потирая лысину, девять лет рассказывал, сколько выпил вчера и сколько выиграл в преферанс.

Перо брызнуло, и на букве «о» расплылась большая клякса. Из кляксы выползла муха и заковыляла через все графы. Март в сердцах сбросил ее на пол и раздавил. Страница была испорчена. Надо было начинать новую и писать терпеливо:

«Пшеница Дюрабль IV категории...»

Он уже не надеялся на мошенничество и встречу с пылкой блондинкой. У него была жена, а способностей к аферам не было. Он писал: «Остаток со стр...»

2

Теперь, когда Эрл был мертв, он удивлялся, почему люди боятся смерти. Со смертью кончается страх, голод, тоска и неуверенность, на душе становится покойно. Если бы он мог, всем знакомым сказал бы: «Не бойтесь смерти! Страшен только страх».

Только непонятно было, почему после смерти так горит правая нога. Огонь распространялся по мышцам, захватывая клеточку за клеточкой. Глядя на себя со стороны, Эрл видел, как пылает огромное человеческое тело, и ветер тянет полосу черного дыма, словно от горящего самолета. Вместе с пожарными Эрл лез на свое тело и тушил его, направляя струю прямо в пламя. Вот взметнулись оранжевые языки, опаляя Эрлу брови и ресницы. Он закашлялся, пошатнулся и, дико крича, полетел в пекло.

Огонь в пекле горел оттого, что в самом низу у костра сидела девушка, старательно ломала сухие ветки и подкладывала их в огонь. Потом она становилась на колени и, смешно вытягивая губы, изо всех сил дула на ветки. Ее золотистые щеки наливались краской, становились похожими на зрелые абрикосы. Эрл любовался девушкой. Одна черта не нравилась ему: у нее, как у греческих статуй, не было переносицы. Лоб и нос составляли прямую линию. И это придавало лицу непреклонное, строгое и вместе с тем лукавое выражение.

Когда костер разгорелся, девушка вытащила нож и стала точить его, поглядывая на Эрла. Эрлу стало страшно, он вспомнил, что находится в стране людоедов. Неужели золотистая девушка точит нож, чтобы зарезать его? Он хотел бежать, но, как это бывает во сне, не сумел даже шевельнуть пальцем. Мучительно морща лоб, с замирающим от ужаса сердцем Эрл старался приподняться и не мог. Набитые хлопком мускулы отказались повиноваться. Тогда он понял, что он не Эрл, а только чучело Эрла, и жалобно заплакал...

Действительность постепенно входила в его мозг, перемешанная с бредовыми видениями, и выздоравливающий разум сам очищал ее от галлюцинаций. Задолго до того, как Эрл окончательно пришел в себя, он уже знал, что лежит один в прохладной пещере, отгороженный от входа сталагмитами, что ксилофон, который он слышит,— это музыка падающих капель, что в пещеру его принесла девушка с греческим профилем, та самая, которую он видел в бреду у костра.

Ее звали Хррпр, если только можно передать буквами странные рокочущие и щебечущие звуки ее языка. Словом «хррпр» назывался и весь ее народ, затерянный в тропических лесах, между чужими

и враждебными племенами. Освоить произношение Эрлу не удалось, и он окрестил свою спасительницу мало подходящим, но сходным по звучанию именем Гарпия.

Два раза в день, утром и вечером, Гарпия приходила к нему с фруктами и свежей водой. Она разжигала костер, обтирала Эрлу лицо, кормила его незнакомыми плодами, очень ароматными, но водянистыми и безвкусными, и еще какими-то лепешками, пресными и вывалянными в золе. Как потом оказалось, соплеменники Гарпии употребляли золу вместо соли.

Не сумев овладеть гарпийской фонетикой, Эрл стал учить девушку своему родному языку. Внимательно глядя ему в рот, Гарпия повторяла за ним слова, смешно коверкая их и проглатывая гласные: «Эрл... члвек... вда... хлб». Эрлу очень хотелось расспросить, как добраться до моря, но слов пока не хватало.

— Где блит? — спрашивала Гарпия.— Кшать? Пить?

— Все хорошо,— отвечал Эрл.— Ты хорошая.

И, исчерпав запас слов, они дружелюбно смотрели друг на друга. Иногда, протянув загорелую, покрытую золотистым пушком руку, девушка осторожно поглаживала Эрла по щекам, уже заросшим курчавой бородой. «Неужели я нравлюсь ей? — думал Эрл.— Вот такой, как есть,— грязный, заросший, с исцарапанной мордой? Неисповедимы тайны женского сердца! Впрочем, бедняжка горбата, вероятно, никто не хочет взять ее в жены».

А ум у девушки был светлый, жадно впитывал новые сведения. За один визит она запоминала сотни две слов. Уже через неделю Эрл рассказывал ей целые истории о волшебном мире телефона и авто. Гарпия понимала и отвечала сносно, если не считать акцента.

Гарпия проводила возле Эрла часа два в сутки. Пока она сидела у костра, в пещере было весело и уютно. Но затем костер угасал, тени выбирались из своих углов, чтобы затопить пещеру сыростью и мраком. Сталагмиты угрожающе сдвигались, и капли гремели, как барабаны, заглушающие крики смертника на эшафоте.

Эрл твердил Гарпии, что не может жить без солнца. Она не понимала или не хотела понять. Эрл указывал на выход. Гарпия отрицательно мотала головой и стучала ладонью по шее, словно хотела сказать: «Пойдешь туда — голову потеряешь». И Эрл решил сам пробраться к выходу. Однажды, когда девушка ушла, он пополз за ней на четвереньках. Белое платье, мелькавшее впереди, указывало ему дорогу в лабиринте сталагмитов. Вот платье мелькнуло где-то справа и исчезло. Но там уже брезжил свет. Эрл прополз еще несколько десятков шагов навстречу солнечным лучам...

Тот же обрыв был у него перед глазами, но не затянутый дымкой; сегодня можно было разглядеть все подробности. Белые и полосатые горы окаймляли плотным кольцом глубокую котловину километров около двадцати в поперечнике. Морщинистые скаты гор были испещрены черными пятнами пещер, перед некоторыми дымились



костры. Да и долина была вся густо заселена, повсюду сквозь шерсть лесов пробивались дымки, на полянах виднелись прямоугольники огородов.

Силясь разглядеть селения внизу, Эрл заглянул через край известковой площадки. Отвесная круча уходила вниз, в туманную мглу. Голова закружилась, как на крыше небоскреба у перил. Потянуло прыгнуть в бездну. Эрл в ужасе отпрянул.

Но как же Гарпия взбирается сюда? Неужели два раза в день она карабкается на эти опасные кручи?

Он оглянулся в поисках тропки и вдруг увидел девушку неподалеку. Не замечая Эрла, она стояла на обособленной скале, остроконечной, похожей на рог. Эрл удержал крик ужаса: Гарпия могла вздрогнуть и сорваться. Смотрел на нее, шептал: «Осторожнее!»

Гарпия не мигая глядела на горизонт, заходящее солнце золотой каймой обвело прямой профиль, тонкую шею, высокую грудь. Потом девушка медленно подняла руки над головой, свела их, словно собиралась прыгнуть с вышки в воду. Эрл замер.

— Не надо! — только и успел он крикнуть.

Но было уже поздно. Стройное тело летело вниз, на хищные зубы скал. Такая молодая — и самоубийство! Зачем? И вдруг Эрл увидел,

что за спиной девушки, там, где был уродливый горб, выросли крылья. Не бабочкообразные, как у фей, и не такие, как у ангелов — маскарадные, не способные поднять человека. Крылья у Гарпии были совсем особенные — из тонкой прозрачной кожицы, просвечивающие перламутром. Пожалуй, они напоминали полупрозрачные плащи-накидки, но громадные, метров восемь в размахе, целый планер. Почти не взмахивая ими, девушка спикировала вниз и теперь плыла где-то в глубине над дымными кострами и пальмовыми рощами.

Крылатая девушка! Как это может быть?

2а

— Другие мужья,— говорила Гертруда,— давно бы имели собственный домик за городом.

Квартира у них и правда была не очень удачная: на самом углу, у оживленного перекрестка. Рычание грузовиков и зубовный скрежет трамваев с утра и за полночь мешали им слышать друг друга. А над окном висел уличный рупор и целый день убеждал их чистить зубы только пастой «Медея». Гертруда говорила, что она с ума сойдет из-за этой античной девки, что у нее начинается зубная боль от слова «Медея». Но можно ли было рассчитывать на лучшую квартиру при заработке Марта!

У них были две комнаты, раздвижной диван-кровать, круглый обеденный стол и еще другой — овальный, за которым Герта писала письма своей сестре, несколько разнокалиберных стульев, кресло-качалка, пузатый шкаф оригинальной конструкции, но без зеркала. Трюмо не хватало.

— Другой муж,— говорила Гертруда,— давно купил бы трюмо.

У Герты были мягкие густые волосы с золотистым отливом, здоровый, свежий румянец. Она любила покушать, но обычно жаловалась на отсутствие аппетита, полагая, что всякая интересная женщина должна быть эфирным созданием. И хотя Герте уже исполнилось двадцать девять, никто не давал ей больше двадцати трех. Поэтому Гертруда с большим основанием считала, что заслуживает лучшего мужа.

— Другие мужья,— говорила она,— не заставляют ходить своих жен в отрепьях.

В третий раз уже упоминается в нашей повести о «других мужьях», и это становится навязчивым. Март же изо дня в день вот уже шесть лет слышал, что другие мужья сумели бы найти средство, чтобы лучше отблагодарить жену за ту жертву, которую она принесла, «отдав Марту свою молодость».

Они познакомились шесть лет назад. Гертруда была очень миловидной девушкой, еще более миловидной, чем сейчас (тогда

ей давали не больше восемнадцати). Она пела приятным голоском опереточные арии и мечтала или говорила, что мечтает о сцене. Но артистическая карьера не состоялась. В театр приходили сотни миловидных девушек с приятными голосами, Герта не выделялась из общей массы. Режиссеры — люди, произносившие всю жизнь напыщенные речи о высоком искусстве,— отлично знали, что не боги горшки обжигают. Любая средняя девушка сумеет более или менее естественно закатывать глазки, целуясь на сцене. Из множества девушек режиссеры выбирали тех, которые соглашались целоваться не только на сцене... Но Герта была из добропорядочной семьи и хотела выйти замуж.

Тут и подвернулся Март. Гертруде было двадцать три, она уже побаивалась, как бы ей не остаться в девушках. Мать с ее претензиями, подагрой и мнительной боязнью сквозняков порядком надоела Герте. Ей хотелось, наконец, уходить из дому, когда вздумается, и не просить денег на каждую порцию мороженого. Март был достаточно хорош собой, носил черные усики, писал стихи и, кроме того, выражал желание жениться, что выгодно отличало его от режиссеров театра «Модерн-Ревю». В довершение всего у него был приятный мягкий характер, и опытная мама сказала Герте незадолго до свадьбы:

— Только не бойся скандалов, деточка, и ты свое возьмешь. В браке командует тот, кто не боится скандалов.

Герта была возмущена и шокирована. Тогда она представляла себе замужество розовой идиллией. Но в дальнейшем достаточно часто применяла мудрый совет матери. Март действительно боялся скандалов, соглашался на все капризы Герты, но беда в том, что он был слишком беден, чтобы выполнять эти капризы. Право, он оказался бы приличным мужем, если бы зарабатывал раза в три больше.

Месяцами они откладывали деньги на новое платье, на трюмо, на холодильник, на летнюю поездку к морю. Серьги ожидали мифической прибавки к рождеству, переезд на новую квартиру зависел от выигрыша по займу. Кроме того, у Марта были еще две акции серебряных рудников в Гватемале, которые должны были принести чудовищные дивиденды. Гертруда аккуратно покупала газеты только для того, чтобы на последней странице разыскать телеграммы из Гватемалы, а в хорошие вечера, вооружившись карандашом, подсчитывала будущие доходы, дивиденды, проценты и проценты на проценты. У нее получалось, что лет через десять Март сумеет преподнести ей автомобиль из гватемальского серебра.

Только будет ли она моложава в ту пору? Станут ли ей давать не больше двадцати трех?

Да, конечно, Герта заслуживала лучшего мужа.

3

— А разве у ваших девушек нет крыльев?

Гарпия с полчаса лежала молча, не мигая глядела в костер, где седели и с треском лопались смолистые сучки.

— Мне очень жаль ваших девушек,— продолжала она.— У них серая жизнь. Столько радости связано с крыльями! Еще когда я была девочкой и крылышки у меня были совсем маленькие и усаженные перьями, как у птицы, я каждый день мечтала о полетах и все прыгала с деревьев, сотни раз обдиралась и ревела. А потом я стала взрослой, и крылья у меня развернулись в полную силу, я начала учиться летать. Нет, это ни с чем не сравнимо, когда ты паришь и воздух покачивает тебя, как в колыбели, или когда, сложив крылья, камнем ныряешь вниз и тугой прохладный ветер свистит в ушах. У нас каждая девочка только и мечтает скорее вырасти и начать летать. Нет, ваши девушки несчастные. Это очень странно, что у них нет крыльев.

— Почему же ты удивляешься? — спросил Эрл.— Разве ты не видела, что у меня нет крыльев?

— Но ведь ты мужчина,— протянула Гарпия, все так же глядя в огонь.— Мужчины крылатыми не бывают. Они совсем земные, даже мечтать не умеют. Живут в другой долине, копаются там в земле. Они неприятные, мы не летаем к ним никогда.

— Но твоя мать летала же,— сказал Эрл, улыбаясь наивности девушки.

— Может, и летала,— произнесла Гарпия, подумав.— Потому что у нее уже нет крыльев. Все девушки, которые побывали у мужчин, приходят от них пешком. Мужчины обрывают крылья. Они завидуют нашим полетам. Они вообще завистливые. Всегда голодные и ссорятся между собой. Один кричит: «Подчиняйтесь мне, я всех умнее!» А другой: «Нет, мне подчиняйтесь, я всех быстрее бегаю!» А третий: «Я всех сильнее, я могу вас поколотить!» И они дерутся между собой, им всегда тесно. Все потому, что крыльев нет. Были бы крылья, разлетелись бы мирно.

«Какая смешная карикатура на общество! — подумал Эрл.— Действительно, вечно голодные и всегда нам тесно. Ходим и толкаем друг друга: «Посторонись, я тебе заплачу. Посторонись, я тебя поколочу!»

— У нас и женщины такие же,— сказал Эрл.— Каждая хочет, чтобы все другие ей подчинялись и завидовали и чтобы она лучше всех была одета — красивее и богаче.

— Понимаю,— отозвалась Гарпия.— Когда девушка возвращается от мужчин, она тоже становится злой. И сторонится подруг, и все смотрится в блестящие лужи, вешает на себя ленты и мажет красной глиной щеки. И тоже ей тесно, она все плачет и жалуется. Все оттого, что крыльев нет уже.

— Очень странно! — повторил Эрл.— Какая-то нелепая игра природы.

— Почему же нелепая? — возразила Гарпия.— Ведь у муравьев точно так же. А муравей, можно сказать, человек среди букашек.

В ее огромных зрачках, зеленовато-черных, как у кошки, извивалось пламя. Она напряженно думала. Наверное, за всю жизнь ей не приходилось так много думать, как последние недели.

— Ты не похож на наших мужчин,— произнесла она после долгой паузы.— Они маленькие, сутулые, а ты большой. Ты не станешь драться за ветку с плодами, за хижину. Возьмешь, что понадобится, и уйдешь. Я как увидела тебя, сразу поняла, что ты лучше всех. Наши мужчины такие скучные, такие крикливые. Скажи, зачем девушки летают к ним?

— Не знаю... Любовь, наверное...

— А что такое любовь? — Брови Гарпии очень высоко поднялись над громадными глазами.

Что такое любовь? Столько раз в жизни Эрл повторял это слово, а сейчас не мог ответить. Что такое любовь? Все называют этим емким словом неукротимую страсть, и похрапывание в супружеской постели, и встречу в портовом переулке, и салонный флирт, и всепоглощающее чувство, ведущее на подвиг, или на самоубийство, или на самопожертвование.

— Вот приходит такая пора в жизни,— невнятно объяснил Эрл,— беспокойство такое. И в груди щемит — здесь. Ищешь кого-то ласкового, кто бы стоял рядом с тобой. И горько, и радостно, и места себе не находишь. Так начинается любовь.

— Понимаю,— прервала его Гарпия.— У меня бывало такое беспокойство раньше. Тогда я улетала за горы, далеко-далеко, носилась вверх и вниз, уставала, тогда успокаивалась. А теперь я прилетаю сюда, сажусь у костра, смотрю на тебя, и больше мне ничего не нужно.

Она подняла на Эрла большие чистые глаза, как бы с немой просьбой объяснить, что же такое творится в ее душе, и Эрл отвернулся, краснея. Там, в цивилизованных странах, его считали красивым. Не раз он выслушивал полупризнания светских женщин, уклончивые, расчетливые и трусливые. Он наизусть знал, какими словами принято отвечать кокеткам, произносил их машинально. Он никогда не смущался, сегодня это случилось в первый раз. Девушку, которая не знала, что такое обман, стыдно было бы обмануть.

3а

После Нового года в конторе начались тяжелые дни. Оказалось, что хозяин получил на четверть процента меньше дохода, чем в прошлом году. Рождественские премии урезали. Поговаривали

о больших сокращениях, каждый служащий из кожи вон лез, чтобы доказать, что именно он незаменимый работник, а все остальные — лодыри и дармоеды, без них можно обойтись шутя.

— Знаете, какая сейчас безработица? — говорил контролер.— Люди по два года ищут место, теряют квалификацию, ходят целыми сутками по бюро найма. Лично я стар для того, чтобы поденно грузить хлопок в порту. Стар... и не сумел вовремя украсть. Был бы я вор, не дрожал бы сейчас из-за конверта в субботу.

Счетовод вздыхал о своем:

— По радио объявили: Манон — королева экрана — выходит за Вандербильта-младшего. Вот жениться бы на такой, и никакие шефы не страшны. Сколько стоит Манон? Миллионов шесть.

— Сто тысяч за одну улыбку,— уточнил бухгалтер,— я сам читал в воскресном номере.

— Вот видишь — сто тысяч. Улыбнулась — и обеспечила.

Март внимал им со скукой, похожей на зубную боль. Девять лет слышал он мечты контролера о мошенничестве и рассуждения счетовода о женитьбе на богатой. И знал, что контролер никогда не решится на подлог, а на счетовода никогда не польстится владелица миллионов. Сам он давно уже не мечтал. Макал ручку в чернильницу и выводил каллиграфическим почерком: «Ячмень Золотой дождь. Сорт 2...»

Он мало разговаривал со служащими. Мысли его спали от десяти до четырех, пока он был в конторе. Глаза тоскливо следили за часовой стрелкой: почему не двигается? Он почти не замечал, что товарищи придираются к нему, а мошенник-мечтатель (он же контролер) громко отчитывает его каждый раз, когда в контору заходит хозяин.

И в ту субботу все было именно так, как в предыдущие дни. Март шелестел нарядами и накладными, поскрипывал пером, выводя бесстрастные, очень красивые и очень одинаковые буквы. Он был настроен благодушно, потому что была суббота, работа кончалась на два часа раньше, на два часа меньше скрипеть пером.

Служащие писали особенно усердно. Из-за тяжелой дубовой двери, где был кабинет управляющего, доносился сердитый голос хозяина. Это было похоже на отдаленные перекаты грома в летний день.

Потом в коридоре хлопнула дверь. Угодливо согнутая тень контролера проскользнула за перегородкой из матового стекла. Он заглянул в контору и кашлянул. Не то кашлянул, не то хихикнул:

— Господина Марта к управляющему. Хе-хе!

Март с замирающим сердцем взялся за медное кольцо тяжелой двери. Он переступал порог этого кабинета раза четыре в год, и всегда это было связано с ошибками, разносами, угрозами...

Что же сегодня? Ведь он так старается сейчас, когда не стихают слухи о сокращении. Правда, ошибки могли быть. Всегда у него



в голове постороннее, никак он не избавится от этой привычки.

В кабинете управляющего высокие окна с тяжелыми занавесками из красного бархата, стены, отделанные под орех, гигантский тумбообразный стол. Обстановка внушительная, все выглядит таким устоявшимся, утвердившимся навеки. Но, войдя, Март увидел, что управляющий усмехается и на каменном лице хозяина тоже мелькает слабое подобие улыбки.

— Мексиканец в бархатном сомбреро,— неизвестно к чему сказал управляющий.

Контролер, проскользнувший в дверь за спиной Марта, угодливо кашлянул за спиной.

И тогда управляющий начал читать стихи... Поэму об удалом мексиканце, который увез любимую девушку на вороном коне.

Обернув красавицу портьерой,
Он ее забросил на мустанга...

Рифмованные строки очень странно звучали в устах управляющего. Он неправильно ставил ударения и терял рифму. Видно было, что после выпускного экзамена в школе ему ни разу не приходилось читать стихи. Март между тем соображал, каким образом эти куплеты могли попасть сюда. Ведь они лежали дома. Неужели он

сам положил их в папку с делами? Проклятая рассеянность!

— Так вы поэт, господин Март? Так вы поэт, спрашиваю я? Почему не отвечаете?

Март пробормотал что-то в том смысле, что он не поэт, но иногда сочиняет из любви к прекрасному.

— Прекрасное! Вот этот мексиканец — прекрасное?

— О вкусах не спорят,— робко пролепетал Март.

Он остро презирал управляющего за то, что тот нагло рассуждал об искусстве, а еще больше себя за робкий, извиняющийся тон.

Контролер кашлянул за спиной — не то кашлянул, не то хихикнул. Март понял наконец, каким образом его стихи попали сюда.

— Я из вас эту поэзию вышибу! — орал управляющий.

И тогда, неожиданно для всех и для самого себя, Март отчетливо сказал:

— Поэзию вышибить нельзя. Это врожденный дар. У некоторых его нет совсем.

Вот такой был Март. Девять лет он терпеливо сносил мелкие придирки контролера, а сейчас самому управляющему, и при хозяине, кинул в лицо: «У некоторых... у некоторых его нет совсем».

Хозяин, молчавший все время, впервые шевельнул челюстью.

— Какое разгильдяйство! — сказал он.— Тратить рабочее время на вирши. Гоните его в шею, мне в конторе не нужны поэты.

Март ничего не ответил. А надо бы! Сказать бы что-нибудь ядовито-умное. «Вам поэты не нужны, но человечеству необходимы. А нужны ли вы — вот что сомнительно».

Когда-нибудь биографы напишут про Марта, как его выгнали с работы за поэзию. Имя хозяина станет нарицательным, станет синонимом невежества и тупого чванства. В полном собрании сочинений обведут рамкой поэму о мексиканце и мустанге. А потом когда-нибудь в виллу Марта придет разорившийся хозяин просить взаймы, и Март скажет ему: «Эх вы, пародия на человека! Поняли теперь, как нужны людям поэты?»

Март шел крупными шагами, высоко нес голову, довольно улыбался. Он так ясно представлял себе униженно-просительное выражение на топорном лице босса. Молодец Март, что ничего не сказал. Повернулся и ушел с презрением. Так лучше всего.

Весело бренча, он поднимался по лестнице к себе на четвертый этаж. И только на последней площадке подумал:

«Все это хорошо. Но что я скажу Гертруде?»

4

Они принесли с собой факелы, наполнив пещеру дымом и копотью. Тени от сталактитов ушли высоко под своды, там дрожали, сталкивались, переплетались. Дальний конец пещеры скрылся в ржа-

во-буром тумане. И всюду на глыбах и обломках сталактитов сидели гарпии, но исключительно бескрылые: жирные неопрятные старухи или старые девы с ссохшимися палками вместо крыльев за спиной. И мужчины собрались. Видимо, сюда их провели тайными ходами. Мужчины были все низколобые, кривоногие и лохматые, тоже большеглазые и прямоносые, но милый облик Гарпии как-то карикатурно искажался в них. Бросался в глаза вождь — с выпяченной челюстью и покатым лбом гориллы. Возле него стоял жрец в соломенной юбке, расписанный от макушки до пят, и еще какой-то худосочный юноша, глаз не отрывавший от Гарпии, Гарпии Эрла. Она была единственная крылатая тут, прочих девушек не допустили — видимо, оберегали от соблазна.

Высокая седая старуха с палками, болтавшимися за спиной, ударила в барабан.

— Горе тебе, чужеземец,— воскликнула она.— Горе тебе, укравший крылья!

Потом жрец вышел вперед. Время от времени подскакивая и завывая, он произнес речь. Так как фразы были короткие и каждая повторялась раз по пять, Эрл кое-как уловил смысл. Жрец говорил, как счастливы птицы-девушки, собирающие цветы на лугах, порхающие в свежих дубравах, и как подл, как гнусен, как зловреден хитрый чужеземец, тайком пробравшийся в их страну, чтобы обманом втереться в доверие девушки Гарпии и лишить ее крылатого счастья, возможности порхать в дубравах и собирать цветы.

— Вы посмотрите на это чудовище! — кричал колдун.—Посмотрите на этого зверя! Только злыми чарами мог он привлечь к себе сердце невинной девушки. Но мы лишим колдуна силы... Выбьем из него волшебные чары.

Сначала Эрл хотел оправдываться, собирал весь свой запас гарпийских слов, чтобы объяснить, что он попал в их страну не нарочно, жаждет отсюда выбраться и больше ничего. Но где-то в середине речи жреца он понял, что оправдания не имеют смысла. Он приговорен заранее, все это сплошная комедия, такая же, как и в цивилизованных судах. В чем его обвиняют, в сущности? В том, что он хотел лишить Гарпию крыльев. Но ведь сами же они обрывают крылья у своих девушек, только об этом и мечтают. Просто он соперник, чужак, и его хотят уничтожить. Так что же он будет спорить с похотливыми ревнивцами, со своим соперником, который глаз не сводит с Гарпии, со всеми этими ханжами, охотно отдавшими свои крылья, и с теми, которые жаждали, но не сумели отдать? Он культурный человек, не к лицу ему унижаться перед этим первобытным сбродом.

— Признаешься, что ты колдун? — спросил жрец.

Эрл молчал презрительно.

И тогда похожий на гориллу вождь шевельнул челюстью:

— Смерть ему! Мне не нужны колдуны в моей стране.



И вся толпа завыла, заревела, заулюлюкала:

— Смерть! Смерть! Смерть!

Эрл молчал презрительно. Думал только об одном: не унижаться!

Десятки крючковатых пальцев впились в мускулы Эрла. Его поволокли по воздуху. В яростном экстазе женщины кусали и щипали его. Кто-то затянул хриплым голосом песню, где повторялись одни и те же слова:

Ты украл мои крылья,
Попробуй на них улететь!

Толпа вынесла Эрла на площадку, подтащила к краю пропасти. Эрл вновь увидел подернутую дымкой цветущую долину гарпий и кольцо неприступных гор, за которыми скрывалось заходящее солнце. Для Эрла навсегда скрывалось.

И он понял, какая ему уготована казнь. Сейчас его сбросят со скалы, именно об этом и говорила песня. Он жадно вдохнул воздух, свежий, насыщенный горной прохладой, протянул руки к уходящему малиновому закатному солнцу. Остро захотелось жить. Эрл невольно рванулся...

Гарпии захохотали. Смех их был похож на зубовный скрежет.

И в эту секунду Эрл перешел мысленно черту жизни. У него осталось только одно желание: умереть так, чтобы не было стыдно.

— Поставьте меня на ноги,— тихо сказал он. Почему-то эти спокойные слова были услышаны за всеобщим улюлюканьем.

С трудом сохраняя равновесие на связанных ногах, Эрл сделал несколько шажков к краю бездны.

— Вы еще пожалеете, прокля...— крикнул он.

И тогда жрец с хохотом толкнул его в спину.

Воздух расступился с резким свистом. Летя вниз, на острые камни, Эрл в последний раз услышал:

Ты украл мои крылья,
Попробуй на них улететь!

4а

Каждый день с утра Март надевал свой последний приличный костюм и отправлялся на поиски работы. Входил в бесчисленные двери, робким голосом осведомлялся, нет ли места. Это было унизительно — просить незнакомых людей. Ему казалось, что он протягивает руку за куском хлеба. А незнакомые люди — работовладельцы,— глядя на него свысока, смеялись почему-то: «Работу? Да ты, парень, как видно, шутник. Какая же работа в наши времена?» Другие отвечали раздраженным деловым тоном: «Нет работы, нет, идите, не мешайте!» Март извинялся и уходил, смущенно краснея,— помешал занятым людям, неудобно.

Почти всюду у Марта спрашивали рекомендации и, в сотый раз рассказывая, почему их нет, Март все еще смущался и бормотал что-то невнятное. Конторщики глядели на него подозрительно, говорили: «Подумайте, как интересно! Ну, что ж, зайдите к нам в конце лета, а еще лучше — в ноябре, если не найдете к тому времени места». Не сразу решился он отнести в редакцию свои стихи. Редакторы были очень вежливы. Никто не сказал Марту, что он бездарность. Редакторы отказывали иначе. «Стихи? — говорили они.— Стихами мы обеспечены на три года вперед. Каждый мальчишка пишет стихи, и все про любовь. Вы нам принесите фельетончик позабористее, скажем, о деревенском остолопе, впервые попавшем в столицу. Такой, чтобы все за животики держались». Или же: «Эти стансы-романсы-нюансы всем надоели, их никто не покупает. Дайте нам роман о ловком шпионе, побольше крови и секса. И покажите рядом сыщика, благородного, смелого, сверхчеловека. Парни не хотят идти в полицию, надо их привлечь». Или: «Выдумки нынче не в моде, читатель требует подлинности. Вы раздобудьте подлинный материальчик о простом нашем парне, который волей и настойчивостью сделал себе миллионы. Факты, снимки, документы!»

Разве Март не пробовал? Пробовал. Не получалось. Вот материальчик о том, как люди теряют последние гроши, он мог бы принести хоть сейчас.

А недели шли, и деньги текли, и работы не находилось.

Наконец Маргарита, сестра Герты — та, что танцевала в обозрении «100-герл-100» седьмой справа во втором ряду,— вспомнила, что у нее есть хороший знакомый, брат которого встречается в одном доме с бывшим хозяином Марта. Март возмутился: «Унижаться перед старым хозяином? Ни за что!» Но у Герты были такие печальные глаза, что Март не выдержал, дал согласие. И Маргарита поговорила с хорошим знакомым при первом же удобном случае, и знакомый поговорил с братом, и брат поговорил...

Однажды, это было в тот день, когда в Стальной компании он дожидался шесть часов, чтобы услышать: «Приходите через полгода, мы будем строить новый корпус, возможно, понадобятся люди», Герта встретила его на пороге с поджатыми губами. И она вошла за ним в комнату молча, и каблуки ее стучали жестче, чем обычно.

— У Маргариты ничего не слышно? — устало спросил Март, вешая шляпу на вешалку.

Герта уперлась руками в бока. На щеках ее проступили красные пятна.

— Слышно! — недобрым голосом произнесла она. И добавила без перехода: — Значит, ты все еще пишешь стихи?

Март с удивлением посмотрел на нее. Ведь Герта знала, что он пишет стихи. Он столько посвящал ей, когда они еще не были женаты! И Герта гордилась этими стихами, переписывала себе в альбом, читала на любительских вечерах.

— Пишешь стихи! — кричала Герта.— Женатый человек, виски седые — и туда же... Как мальчишка! Вот полные ящики бумажек... Вот они.. Вот они! Или ты думаешь кормить меня, продавая эту макулатуру сборщику утиля? Красотка, завернутая в занавеску! В каком притоне повстречал ты эту цветную потаскушку?

Герта рванула ящик стола, аккуратно сложенные стопки листков разлетелись по полу. Выхватила другой ящик, не удержала, уронила.

Надо было знать Марта, чтобы понять, какая ярость охватила его. Он никогда не возражал Герте, соглашался, что он неумный, неловкий, неудачник. Но эти бумаги были лучшей частью его «я». Они оправдывали его существование. И вот теперь Герта топчет ногами это лучшее «я».

Он оттолкнул ее. Герта упала, вероятно нарочно, ударилась головой о стену и некоторое время смотрела на мужа больше с удивлением, чем с обидой. Никогда она еще не видела его в таком гневе. Потом, спохватившись, Герта заплакала громко.

Март молча подбирал и складывал листки.

— Несчастная я,— всхлипывала Герта.— Вышла замуж за лодыря, за сти-и-хоплета... Загубила свою молодость... Режиссеры делали мне предложение, умоляли выйти замуж. Всем отказывала ради этого... этого...

Она плакала и время от времени поглядывала на мужа. Почему Март никак не реагирует на слезы? И почему смотрит таким странным взглядом? Он же извиняться должен, вымаливать прощение, обещать исправиться.

А Март смотрел на Герту с ужасом, не понимая, не узнавая, и думал, сокрушаясь: «Совсем чужая, совсем чужая!»

5

«Раз... два... три...»

Кто знает, почему мозг Эрла вздумал отсчитывать секунды падения. И кто сочтет, сколько воспоминаний пронеслось в мозгу, пока Эрл летел, кувыркаясь и ведя счет.

Перед глазами кружились в беспорядке мазки белого, голубого, охристого, зеленого... И точно так же кружились обрывки воспоминаний: Эрл на крикетной площадке, Эрл у гроба матери, Эрл у классной доски, Эрл в тропическом лесу... А мозг продолжал отсчитывать: «Пять... шесть... семь...»

Солнце блеснуло в глаза, затем тень закрыла его. Сзади что-то ударило, подтолкнуло. Совсем близкая земля мелькнула рядом и ушла. Эрл закрыл глаза.

— Не бойся, милый...— Голос юной Гарпии звучал над ухом.— Я унесу тебя далеко-далеко. Глупые, они заперли всех крылатых девушек. Мы одни в воздухе, нас никто не догонит.

Сердце Эрла наполнилось благодарностью и нежностью. Какая смелая, какая самоотверженная девушка! Она вовремя прыгнула со скалы, догнала Эрла, пикируя, подхватила на лету...

— Ничего,— шептала Гарпия, задыхаясь.— Мне совсем не тяжело. Мне так радостно! Только не двигайся, прошу тебя.

Эрл старался не двигаться, старался не дышать. Так стыдно было, что он совсем не может помочь нежной девушке, висит в ее руках, как мешок, связанный веревками.

Он глядел вниз как бы с невидимой башни. Под ним, метрах в десяти от его ног, медлительно проплывали верхушки деревьев, щербатые скалы, водопады, лужайки. И когда прошел первый страх и прекратилось головокружение, Эрл понял, какое счастье досталось девушкам-гарпиям вместе с крыльями.

Это не имело ничего общего с полетом в пропахшей бензином кабине натужно ревущего самолета, откуда леса и поля выглядят лиловатыми пятнами разных оттенков. Отсюда, с малой высоты, лес показывал им свои интимные тайны. Эрл увидел огромную кошку — ягуара, который точил когти, царапая кору. Деревья повыше они огибали, плыли по извилистым лесным коридорам. И обезьяны, лохматые лесные акробаты, сопровождали их, прыгали по веткам, перебрасывая тело с руки на руку. Питон, дремлющий на суку, приподнял голову. Эрл поджал ноги, чтобы не задеть его.

Гарпия дышала с хрипом, ее горячее дыхание грело затылок, пальцы все больнее впивались под мышки. Несколько раз она пробовала ногами обхватить ноги Эрла, но ей не удавалось это. При последней попытке она чуть не выронила Эрла, даже зубами ухватила его за волосы.

«Боже, как она удерживает меня? — думал Эрл.— Целых семьдесят килограммов на вытянутых руках».

— Брось меня, лети одна!

Гарпия лишь тихонько рассмеялась:

— Бросить? Ха! Мне тяжело, но... я люблю.

...На следующий вечер они сидели на берегу океана. Гарпия задумчиво смотрела, как валы набегают на берег, крутыми лбами стараются протаранить скалы и разлетаются каскадами шипящих брызг. Морская даль отражалась в синих зрачках Гарпии.

— Как велик твой мир! — говорила она Эрлу.— Какая я крошечная у твоих ног! У меня жжет в груди и сердце ноет, когда я смотрю на тебя. Это и есть любовь, да?

Что мог сказать Эрл? Он и сам не разобрался в своих чувствах. Любил ли он? Да, да, да! Но ведь еще вчера поутру он снисходительно посмеивался над Гарпией, мысленно называл ее наивной дикарочкой. Нет, это было не вчера. Тогда он не знал еще, что такое подвиг любви. Всей его жизни не хватит, чтобы отплатить Гарпии. Он покажет ей мир, приобщит к культуре, научит всему... Он обеспечен, у него есть все, чтобы осчастливить любую девушку.

— Я хочу смотреть тебе в глаза,— шептала Гарпия,— днем и ночью. И завтра, и всегда... Только смотреть в глаза. Это и есть любовь, да?

Эрл нагнулся и поцеловал ее в губы.

— Еще, еще! — Голос ее был сухим и жадным.— Милый, это и есть любовь, да? Я хочу быть счастливой, целуй меня, рви крылья, мне они не нужны больше.

Эрл увидел у самого лица бездонные расширенные зрачки, и на мгновение ему показалось, что он чужой здесь, что Гарпия тут одна, наедине со своей беспредельной любовью...

Через три дня они пешком добрались до порта, а еще через неделю пароход увез их на родину Эрла.

5а

У Марта были золотые часы, у Гертруды — браслет и жемчужное ожерелье. Конечно, все это пришлось заложить. Потом Март продал пальто, затем кое-что из мебели. В комнатах стало просторно и неуютно. Они перебрались в другой квартал, чтобы меньше платить за квартиру.

Потом пришлось продать выходной костюм, выкупить драгоценности и тут же продать их. Почему-то эта операция кормила их не больше месяца. Где-то рядом, в том же городе, жили сотни людей, которые наживались и богатели, продавая и покупая. Как они богатели, для Марта оставалось тайной. Он продал все, что у него было, но не нашлось вещи, за которую он выручил бы больше четверти цены. Даже знаменитые акции гватемальских рудников пошли за пятнадцать процентов номинала.

История падения Марта была долгой и скучной. Для всех — скучной, для Герты — раздражающе-глупой, а для самого Марта — полной горьких переживаний. К двум часам дня обессиленный от унижений Март возвращался домой. Гертруда встречала его на пороге настороженным взглядом. Но не спрашивала ничего. По лицу видела, что он вернулся ни с чем.

И легче было, когда Герты не было дома, не было молчаливого упрека в ее глазах. К счастью, в последнее время это случалось все чаще. Герта уходила к своей сестре Маргарите. И на здоровье! У Марта не было никаких претензий. Там она могла, по крайней мере, сытно пообедать.

Дома Март садился у окна, глядел на серое городское небо и мечтал. Мечтал о тех временах, когда его признают и люди будут гордиться, что встречали его, пожимали руку, жили на одной улице с ним. В предвкушении будущей славы Март счастливо улыбался. Жаль, что Герта не могла разделить его мечты. Во-первых, она не верила в них, а во-вторых, счастье ей нужно было сейчас, немедленно, пока не ушла молодость.

А однажды Март не пошел искать работу, просто не пошел. Был жизнерадостный весенний день, когда счастливое солнце улыбалось в каждой лужице, и Марту не захотелось в этот день унижаться. Он выбрал далекий скверик, подобрал старую газету, уселся на скамейку. Улыбался солнцу и думал, что ничего не скажет жене. Сил не было, и мужества не было. Пусть будет однодневный отпуск. Днем больше, днем меньше, какая разница?

И вдруг в конце аллеи он увидел Гертруду. Она шла рядом с сестрой, оживленно разговаривала с ней. У обеих в руках были новенькие желтые чемоданы. Наверное, Маргарита уезжала на гастроли, как обычно, и Герта провожала ее. Март едва успел закрыться газетой. Женщины прошли совсем близко и не узнали его. Удалось избежать ненужных объяснений с женой и язвительных колкостей свояченицы.

Солнце погасло. Март вышел из сквера. Часы на перекрестке показывали без пяти час. Пожалуй, можно идти домой. Вряд ли Герта вернется скоро.

Через четверть часа он был в своей пустынной квартире. Какой мрачной стала она! В последнее время Герта даже не убирала, говорила, что не стоит трудиться ради такого мужа. Март не обижался. Верно, он виноват перед ней, но вину он исправит. Нужно только немножечко терпения и спокойной работы.

Он воровато глянул в окно, не возвращается ли жена, вынул из-под макаронного ящика клеенчатую тетрадь и начал писать.

6

Эрл встретился с Риммой ровно через год после своей свадьбы с Гарпией.

В первый раз расстался он тогда с молодой женой. Гарпия не переносила морской качки, и Эрл воспользовался этим (да, воспользовался!), чтобы поехать на курорт одному.

Стыдно сказать, но он немножко стеснялся появляться в обществе с Гарпией. Гарпия была мила, но чудовищно наивна и невоспитанна, она всегда ставила его в неловкое положение. Притом у нее не исчезли еще мощные мясистые наросты на спине, где прежде были крылья, и Эрлу приходилось постоянно слышать недоуменные вопросы, что он, собственно, нашел в этой горбатой красавице с греческим профилем.

Конечно, Гарпия любила его, очень любила. Так забавно было возиться с ней, словно с маленькой девочкой, показывать, как обращаться с водопроводным краном и со штепселем, пугать ее радиоприемником, катать в автомобиле по городу, ошеломлять магазинами. Незаметные детали нашего быта: стул, карандаш, мыло,— все это было проблемой для нее.

Гарпия очень старалась приобрести навыки культурной женщины, ей так хотелось угодить мужу! Но почти каждый день, приходя домой, Эрл получал доклады от экономки: «Мадам изволит спать на полу в гостиной. Она говорит, что так прохладнее... Мадам напустила воды в ванну и забыла закрыть кран. Паркет испорчен в трех комнатах...»

И в строгих глазах старушки Эрл читал осуждение: «Человек из хорошей семьи... и такая жена!»

Гарпия была необычайно мила, но Эрлу не с кем было посоветоваться о делах, получить поддержку в трудную минуту, не с кем поделиться удачей. Гарпия просто не понимала, чем он занят. Поцелуи... и только.

И сюда, на курорт, два раза в неделю приходили реляции экономки: отчеты о затратах и сообщения о проказах жены. А в конце старательные и корявые буквы: «Дарагой муш. Я тибя очень лублу. Приижай скореи».

Эрл с умилением читал эти каракули и чувствовал, что на расстоянии он любит Гарпию гораздо больше.

Римма Ван-Флит была очень богата, богаче Эрла, и очень умна, пожалуй, умнее его. Она великолепно плавала и играла в теннис, немножко пела, немножко рассуждала о литературе, все это делала превосходно для дилетанта, но всерьез она занималась только любовью.

Она была хороша собой: огненно-рыжие волосы, тонкий острый нос, красота острая, вызывающая. И брови, подбритые чуть тоньше, чем нужно, губы, намазанные чуть ярче, декольте чуть глубже, чем принято, платье чуть прозрачнее, чем прилично. Зато каждый мог видеть, какая у нее красивая спина и плечи. А спина была человеческая, нормальная, без мясистого горба.

— Все говорят о вашей будущей пьесе,— сказала она Эрлу при первом знакомстве.— Твердят, что вы затмите Шекспира и Эсхила.

И Эрл получил возможность, такую приятную для автора, рассказать о своих замыслах и затруднениях. Римма слушала, неумеренно восхищаясь, и время от времени вставляла замечания, которые поражали Эрла меткостью и остроумием.

— Вам нужно самой писать,— сказал он Римме.

Собеседница его засмеялась особенным грудным смехом, воркующим и многозначительным:

— Что вы, ведь я только женщина, и ум у меня женский, пассивный. Мое дело чувствовать талант, понимать, восхищаться, любить его... творчество.

Римма была возбуждена, у нее блестели глаза, щеки заливал румянец. Говорили как старые знакомые, переходя с темы на тему, все не могли наговориться. И о любви с первого взгляда, и о родстве душ, и о взаимном понимании, и о том, как редко встречается в жизни настоящее чувство...

Потом они каким-то образом оказались на пляже. На жемчужном песке лежали четкие тени пальм. Луна расстелила свой золотой коврик на стеклянной поверхности моря. Зыбь колыхалась у берега, рокотали камешки. Римма на тонких каблучках не могла идти по песку, завязла и хохотала над своей беспомощностью.

Эрл взял ее на руки. Бледное лицо женщины сразу стало серьезным. Эрл понял, что пора ее поцеловать.

Утром он послал жене телеграмму:

«Доктора настойчиво советуют морское путешествие. Знакомые приглашают на яхту. Напишу подробно».

Но он так и не написал. По телеграфу легче было лгать.

Прошел еще год. В отдаленном австралийском порту Эрл, не простившись с Риммой, сел на встречный пароход, чтобы вернуться домой. У него было чувство, будто он выбрался из гнилой лужи и никак не может отмыться. Вся эта грязь с Риммой, ее мужем, предыдущим любовником, случайными знакомствами. И скандальные статьи о мнимых оргиях и выдуманных дуэлях. И все — на первых страницах газет... Как он мог попасть в эту трясину?

Но по мере того как пароход приближался к дому, настроение Эрла улучшалось, будто морские ветры стирали с его губ следы поцелуев Риммы. Как-то поживает его Гарпия? «Дарагой муш, приижай скореи». Вот и приезжает... с опозданием на год.

Только бы Гарпия ничего не знала. Счастье еще, что она не читает газет. Эрл не верил в бога, но сейчас он горячо молился, упрашивая небесные силы скрыть его похождения. Давал обещание любить жену вечно, сделать ее жизнь радостной. И хорошо бы, чтобы у них были дети, лучше девочки. Пусть порхают по саду, а они с Гарпией будут стареть и радоваться, на них глядя.

И вот с замирающим сердцем Эрл вступает в собственный дом.

Старая экономка хмурит брови, встречая его. Взгляд у нее укоризненный. Уж она-то читает газеты. Наверное, знает все.

Эрл отводит глаза, небрежным тоном спрашивает:

— Ну, что дома? Наша проказница здорова?

И ему страшно хочется услышать что-нибудь о наивных проделках Гарпии: посадила цветы в картонку от шляпы, поливала сад горячей водой.

Экономка медлит, зачем-то подводит Эрла к диванчику, придвигает сифон с содовой, уговаривает держать себя в руках. Эрл начинает догадываться.

— Она... она узнала?

Экономка кивает головой.

— Ничего не поделаешь, все говорили об этом. Я старалась скрыть, как могла. Но однажды ночью она прибежала ко мне в слезах и сказала: «Я знаю, он не любит меня больше». И она плакала целую ночь, и у нее сделалась горячка, и мы боялись за ее жизнь целый месяц. А потом она выздоровела и стала, извините

меня, довольная и веселая. И песни пела, звонко так, и в спальне запиралась. А я, простите, поглядела однажды в щелку, что она делает. Представьте себе: она шила платье из белого муслина и все примеряла перед зеркалом. А на спину сделала крылышки, сначала маленькие, как у бабочки, а потом побольше, а потом уж совсем громадные. И мы не знали, что она не в себе, даже радовались, что занятие нашла. А как-то ночью она поднялась на башню и прыгнула в воду.

Эрл вскочил и обнял плачущую старушку.

— Она жива! — воскликнул он.— И я найду ее. Просто у Гарпии выросли крылья, и она улетела.

Старушка положила ему на лоб сухую руку.

— Что вы, побойтесь бога! Разве она птица, чтобы летать?

6а

Солнце зашло за кирпичную стену, и в комнате стало сумрачно. В предвечерней тишине особенно явственно звучали голоса мальчишек, игравших в войну на мусорной куче. Издалека доносился благовест. А Март все писал и писал, горбясь над подоконником, почти не видя букв и не желая отвлечься, чтобы зажечь свет. Никогда ему не писалось еще так легко и свободно. Он отчетливо видел перед собой эту ненавистную рыжую Римму и заурядного Эрла, похожего на него самого, только богатого и благополучного, и удивительную Гарпию, несущуюся над морем на перламутровых крыльях.

Наконец Март дописал заключительные слова главы, выпрямился, провел ладонью по лбу, как бы стирая фантастические образы, и сладко потянулся, возвращаясь к действительности. Несколько секунд радостный подъем творчества еще бодрил его. Потом он вспомнил о бедности, безработице и Герте.

Где же Гертруда? Сколько времени можно провожать сестру?

Он зажег свет и заметил возле зеркала приколотую к салфетке записку:

«Дорогой Март!

Я долго ждала и терпела, но больше не могу. Ты сам понимаешь, что жить так невозможно. Тебе самому без меня будет легче. Если бы ты любил меня достаточно и думал обо мне, ты давно нашел бы в себе энергию, чтобы устроиться как следует.

Прощай, будь счастлив по-своему. Не старайся отыскать меня. Это будет неприятно нам обоим.

Герта».

Март перечитывал записку и никак не мог понять, что это значит: «неприятно обоим» или «устроиться как следует»? И, только взглянув

на разбросанные вещи, он все осмыслил и застонал, схватившись за голову!

Ушла! Убежала! Улетела, как Гарпия!

Он недостаточно любил Герту, и она улетела.

7 и 7а

Больше Март не написал ни слова. Он не знал, как кончить рассказ.

По первоначальному замыслу Эрл должен был очнуться после болезни, вся история Гарпии оказывалась бредовым сном. Но теперь Март понял, что такой конец был бы фальшивым. Гарпия не была, не могла быть миражем. И Эрл не должен был отступиться, легко расстаться с ней, как с сонным видением. Он обязан был искать ее, как Март искал Герту.

Должен был ходить к Маргарите и что-то выведывать, стойко вынося насмешки. Должен был навещать дядей, теток и прочих самодовольных родственников, хитря, задавать им наводящие вопросы, ловить на противоречиях, внимательно осматривать комнаты в поисках забытой на диване косынки — улики, свидетельствующей о спрятанной Герте. Должен был, притаившись за оградой, ждать, не мелькнет ли за окошком силуэт жены. И дарить медяки соседским мальчишкам и выспрашивать, не видали ли они блондинку в клетчатом жакете.

«Если бы ты любил меня достаточно...» — писала она. Март и сам только теперь понял, как он любит жену. Он мог быть резок, мало говорил ей ласковых слов, но как же она не понимала, что и нудная работа в конторе, и сверхурочные, и подарки родственникам, и унизительные поиски работы — все делалось ради нее. И даже стихи, которые она не ценила, и даже эта тайком написанная повесть о Гарпии — все было для того, чтобы получить ее признание.

А теперь Март перестал искать работу. Работа больше не интересовала его. Он продавал последние вещи и на вырученные деньги давал объявления в газеты. А время тратил на хождение по знакомым, у которых мог случайно встретить Герту.

Они с Эрлом очень беспокоились о своих женах. Ведь и Герта, как Гарпия, совсем не знала практической жизни. Что она видела, в сущности, кроме кухни, портних и универсальных магазинов? Каждый мог ее обмануть, каждый мог обидеть.

Март часами ломал голову, угадывая, куда они делись. Он ходил на вокзалы и в порт. В порту кто-нибудь мог видеть Гарпию. По всей вероятности, она полетела на родину. Это было безумие — лететь за тысячи километров на слабых, заново выросших крыльях, но ведь у нее не было ни малейшего понятия о географии. А если буря? А если она потеряла направление? Сколько может лететь

над океаном слабая женщина? Она была такая нежная, лицо еще хранило воспоминание о ласке ее мягких рук.

Нужно было побороть застенчивость и каждого служащего, каждого матроса в порту спрашивать о Гарпии. И ничего, если люди смеются в глаза и отвечают издевательски: «Крылатая женщина? Как же, знаю. Она подает пиво в баре за углом». И не надо бояться насмешек в отделах объявлений. Пусть печатают слово в слово: «Размах крыльев шесть — восемь метров, клетчатый жакет, блондинка высокого роста, греческий профиль».

Пусть смеются. Прочтет кто-нибудь, кто ее видел...

Днем и ночью Эрла мучил кошмар. Он видел, как истомленная Гарпия, тяжело двигая крыльями, летит над волнами. Полет ее неровен. Она рывком набирает высоту и устало планирует к воде. Грузные валы протягивают жадные губы, лижут кайму платья. Пена, как голодная слюна, течет по гребням. Гарпия отдергивает ногу, коснувшись холодной воды, судорожно машет тяжелыми, набухшими от брызг, разъеденными солью крыльями, шлепает ими по воде, бьется в смертельном испуге...

— Эрл! — кричит она пронзительно.— Эрл!

...Марту было до слез жалко Гарпию. Он сидел с ногами на неубранной кровати, жадно тянул окурки, чтобы успокоиться. Он не хотел, чтобы Гарпия утонула. Ведь она же такая сильная, целый день несла по воздуху Эрла — взрослого человека. Правда, тогда была любовь... и хорошая погода.

А какая была погода на этот раз? Впрочем, путь дальний, всякие могли быть перемены. В тропиках часты циклоны. Вспомнить бы число, послать запрос в бюро погоды. Какое же было число? Ах да, никакое. Он все выдумал.

А когда ушла Герта, был весенний день, солнечный и ветреный. В городе-то было приятно, свежо, а в океане, наверное, разыгралась настоящая буря. Клетчатый жакетик Герты в мгновение превратился в холодный компресс. Герта так боялась простуды...

Но ведь не она летела. Летела Гарпия.

А если Герта не улетела, почему же он не может ее разыскать?

Однажды Марту приснился сон. Он шел с Гертой по волнолому. И вдруг у Герты за спиной оказались перламутровые крылья, громадные, метров восемь в размахе. И Герта была оживленна.

«Сейчас я полечу,— говорила она.— Вам, мужчинам, не дано такое счастье. Вы слишком много едите, у вас животы тяжелые. Жадность держит вас на земле. Если бы ты научился не есть...»

Вот такой был сон. А может, это был и не сон, потому что дня через два на том же волноломе Март встретил зеленого матроса, который сказал ему, что он замечал, не раз замечал крылатую женщину над заливом. «Вы можете видеть ее в сумерки,— добавил он.— Она часто залетает сюда».

Очень странный человек был этот матрос. Лицо у него было

какое-то мутное и меняющееся, по нему струилась вода. И, поговорив с Мартом (правда, он называл его Эрлом, но Март не протестовал, он, в сущности, имел право на это имя), матрос, как был, в одежде, спустился с волнолома в воду. Рядом стояли кочегары с французского парохода и негритянка — торговка бананами, но никто из них не удивился. Видимо, таковы были повадки зеленого матроса.

После этого, выполняя совет Герты, Март старался не есть ничего. В голове у него было светло, как-то по-праздничному чисто. А тело стало легким, невесомым, по земле уже трудно было ходить, ветер отрывал его от асфальта. И Март понимал, что скоро, когда ветер будет посильнее, он сможет полететь за женой.

Однажды поздно вечером он сидел в порту (теперь он уже никуда не уходил отсюда). Разыгрывалась непогода. Тяжеловесные оливковые валы напирали плечом на волнолом, и брызги летели шрапнелью в небо, где неслись, задевая за мачты, клочья дымчатых туч. Барки со спущенными парусами топтались у причалов, стонали, охали, лязгали якорными цепями.

И вдруг Март увидел ее. Она летела над водой очень низко, задевая гребни намокшими крыльями. Волны лизали кайму ее платья, клетчатый жакет намок, превратился в холодный компресс. Герта кашляла, испуганно поджимала ноги, рывком старалась набрать высоту и тут же устало планировала вниз.

Вот она над самой водой. Черный вал нависает над ее спиной... Обрушился! Герта бьется на воде, беспомощно ударяя слипшимися крыльями.

— Март,— кричит она пронзительно.— Март!

Март протягивает к ней руки. Порыв ветра поднимает его. Март летит, Март плывет на помощь любимой.

Горькая вода плещет в лицо, льется в рот, соль ест глаза. Март бьет руками по воде и по воздуху...

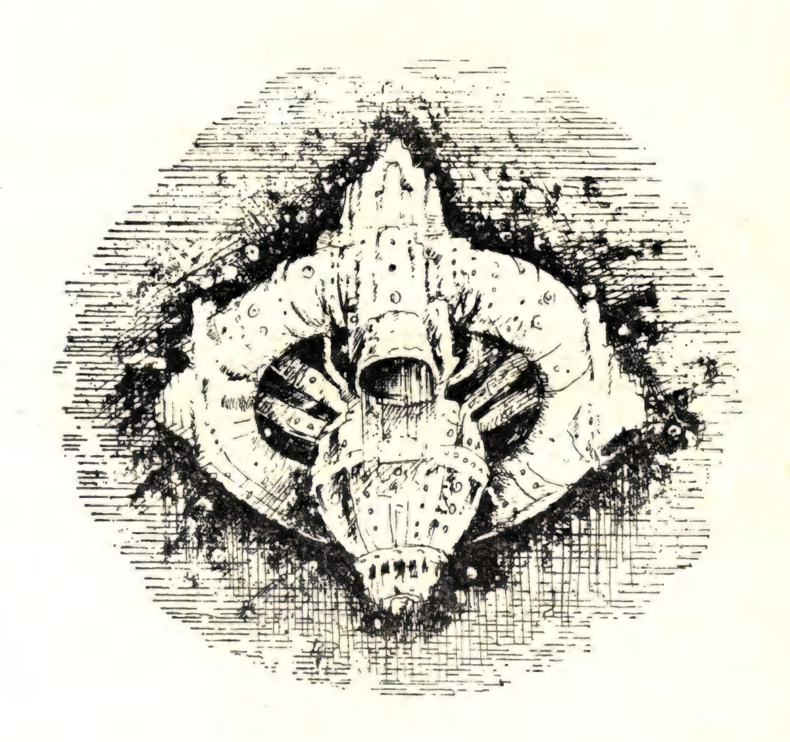
И это конец рассказа о крыльях Гарпии.



ТОЛЬКО ОБГОН

(По мотивам мемуаров йийита Гэя)

ПОВЕСТЬ



Среди дорожных знаков различаются предупреждающие, запрещающие и предписывающие. К числу последних относятся стрелки, указывающие: «только прямо», «только налево», «только направо».

Спутник автомобилиста

От переводчика

В подзаголовке написано «по мотивам». Я взял на себя смелость первую для земного читателя йийитскую книгу дать в собственном переложении. Для литературы это непривычно, в кино же случается сплошь и рядом. «Борьба миров» по мотивам Уэллса, но перенесенная в Америку середины XX века. «Идиот» по Достоевскому, но герои — японцы и действие в послевоенной Японии. Я сам настороженно относился к этим вольностям «по мотивам», даже возмущался искажением классиков, обижался за них. И за книгу Гэя я взялся с искренним желанием скрупулезно донести до людей все оттенки смысла, каждому слову найти точнейший эквивалент. И вот что начало получаться:

«— Йийиты, хаффат!

Мы лежали в пахучей грязи, постепенно зеленея, когда я ощутил в пятках знакомое дрожание.

— Неужели Рэй? — дрогнул я.

Да, это был Рэй, весь серый и красно-сетчатый.

— Йийиты,— воскликнул он,— хаффат!»

Вы поняли что-нибудь?

Конечно, можно все это пояснить примечаниями. Сообщить, что дело происходит на планете Йийит, жители ее йийиты, слово употребляется в значении «люди», а также «друзья», хаффат — маленькое животное, самка которого имеет обыкновение после свадьбы съедать мужа, подобно нашим паучихам. В переносном смысле — измена, предательство, но не просто измена, а самая подлая, измена под личиной нежнейшей любви. Почему йийиты лежали в грязи? Потому что атмосфера на их планете разреженная, воздухом они не дышат, а кислород получают из воды, обычно из болотной,

богатой перегноем и азотнокислыми солями (пахучая грязь). Для отдыха укладываются в ил, чтобы запасти себе кислород и соли на несколько часов, накапливают их в горбу на спине. При этом кровь у них зеленеет; она вообще зеленая, поскольку в гемоглобине у йийитов не железо, а магний, как у наших растений. Посвежевший йийит зеленеет, усталый — сереет, и сквозь кожу у него начинает просвечивать красноватая сеточка сосудов. Надо пояснить еще «знакомое дрожание». Тут опять виноват разреженный воздух. Звук он проводит плохо, поэтому у йийитов на голове нет ушей, орган слуха у них на пятках. Впрочем, и у нас следопыты ложатся на землю, чтобы уловить дальний топот. Чтобы слышать лучше, йийиты прижимают подошву к твердому грунту. В концертных залах разуваются и вставляют ноги в особые металлические галоши, обычно медные, в кабинетах же у них ради тишины мягкие пробковые ковры. Естественно, йийиты хорошо различают походку, слышат походку («ощутил... знакомое дрожание») и сами разговаривают, прижимая пальцы к земле («дрогнул я»).

Видите, что получилось: целая страница примечаний к шести строкам. Но это еще не беда. В первой главе всегда много примечаний. Дальше читатель входит в материал, новое, незнакомое встречается все реже. Беда в восприятии. Не так уж неразумен был японский режиссер, перенося в Японию сюжет Достоевского. Возможно, он опасался, что антураж чуждой эпохи и страны, старинная мебель, дворцы с колоннами, бороды, эполеты, аксельбанты, рысаки будут мешать японскому зрителю. Вместо фильма о душах человеческих получится изображение экзотического русского быта. Вот я и усомнился: не помешает ли вам следить за сутью повествования зеленая кровь и пахучая грязь. Не будет ли смешно и противно, когда эти зеленокровные с ушами на пятках начнут страдать и любить, как люди. Не лучше ли сменить декорации и написать «по мотивам», как будто бы о людях, как будто бы о Земле.

Конечно, на самом деле ничего подобного быть на Земле не может. У нас совершенно иная история науки, принципиально иная. Но в личных отношениях какое-то сходство есть, и я не буду искажать суть дела, называя дружбу йийитов дружбой, любовь любовью.

При желачии, если это не мешает вам, можете представлять себе мысленно сухоногих, зеленоватых, с подрагивающими ступнями и солевым горбом на спине. Если не мешает.

Итак:

— Ребята, нас продали!

В пыльном сквере, что против Академии космоса, мы сидели на скамейках, вдыхая кислород пополам с пылью, усталые, опустошенные, бездумные, и молча провожали глазами звезду, уносящую наши несбывшиеся надежды.

Несбывшиеся!

Литература любит описывать победителей, тех, кто стоял во



главе, с триумфом вернулся домой, получил ордена, премии, лавровый венок и призы, кто на стадионе поднялся на пьедестал почета, заняв место на тумбочке с номером один. Но оставляет без внимания всех остальных — десятых, сотых, тысячных, не прошедших по конкурсу, уступивших на каком-то этапе. В сущности это несправедливо, даже не реалистично писать только о призерах. Чемпионов — единицы, чемпионы — исключение. Правило — кого-то победить и кому-то проиграть; рано или поздно перейти с гаревой дорожки на трибуны болельщиков, чтобы аплодировать более сильным с тоской и завистью (хорошей).

Так вот, призеры уходили в дали на сияющей звезде, сверкавшей даже на дневном небе, а мы, второразрядники, не добравшие проходного балла, сидели в пыльном скверике, провожая глазами счастливчиков.

Мы все были здесь, вся наша компания: Кэй, Лэй и Мэй, озабоченный Юэй — мы считали его стариком, поскольку он уже женился и стал отцом двух писклявых девочек,— братья Сеиты — Сэй Большой и Сэй Маленький — и Сэтта, в которую они влюблены оба, и Пэй — мой закадычный друг, и я — Гэй мое имя,— и, конечно, Гэтта тоже. Не было только Рэя — самого удачливого, самого талантливого, баловня женщин и экзаменаторов, потому что изо всех

нас Рэй один получил проходной балл, заслужил право на внимание бардов. Это ему мы завидовали (по-хорошему) и желали успеха, глядя на дневную звезду.

И вдруг Рэй оказался перед нами, бледный, запыхавшийся, с красными пятнами на щеках.

— Ребята, нас продали! — вскричал он.— Они не намерены возвращаться от фей.

Планету невидимых фей звездолетчики открыли случайно. Не туда они летели, не то искали. Но экспедиция была одна из первых, фотонная техника еще не была отработана как следует, отшлифована до блеска. В пути отказывал то двигатель, то автоматика, не вовремя остановили разгон, не вовремя начали торможение, перерасходовали топливо и пролетели мимо цели на высокой скорости, исключающей возможность посадки.

Межзвездные полеты всегда полны драматизма, там речь идет никак не меньше, чем о целой жизни. Та экспедиция была рассчитана на двадцать лет, стало быть, участники посвятили полету всю свою молодость. Подвиг терпения превратился как бы в пожизненное заключение. В перспективе оказались годы в космической бездне... И вдруг впереди по курсу — неизвестное астрономам тело, одинокая, не принадлежащая никакому солнцу, планета из числа так называемых «космических сирот». На планете можно запастись топливом — это как бы надежда на бегство из космоса. Два инженера налаживают двигатель. И оба гибнут от лучевых ожогов: самопожертвование для спасения товарищей. Но посадка неудачна, ракета падает и разбивается, для большинства бегство из космоса кончается смертью. Спасаются только четверо, заблаговременно выброшенные катапультом, не нужные при посадке: врач, кладовщик, младший астроном и младший техник Тэй. Именно от него мы и узнали всю историю.

И вот на планете-сироте четверо осиротевших. Вокруг обледеневшие скалы, изморозь, мутные сугробы водяного и углекислого снега. В скафандрах неприкосновенный запас на неделю, но за неделю не восстановишь космический лайнер. Бегство не удалось, одну космическую тюрьму поменяли на другую, пожизненное заключение на медлительную казнь — смерть от удушья примерно через неделю. Если дышать экономнее — через две недели.

Почему они забрались в пещеру? Объяснение простейшее: искали убежище от метеоритов, все-таки хотели оттянуть казнь. Почему именно в ту пещеру? Еще проще: она бросалась в глаза, потому что свод над входом светился. Когда подошли поближе, оказалось, что искрились кристаллы, отражая звездный свет и лучи фонарей. Ну и пусть искрятся, не было оснований уходить от этого убежища, искать другое.

Итак, потерпевшие крушение сидят на каменном полу, уткнув голову в колени. За спиной у них известковые натеки, над головой

игольчатые кристаллы, мокрые пальцы сталактитов, а в будущем ничего, кроме нескольких суток затрудненного дыхания, затхлого, кислого, подогретого воздуха, с каждым вздохом теряющего вкус.

У влюбленного все мысли о свидании, у голодного — о столе, у задыхающегося — о воздухе.

— Эх, надышаться бы перед смертью,— сказал кто-то.

И Тэй — он был уроженец побережья — стал думать о морском ветерке. Хоть бы раз пахнул в лицо прохладой, обдал солеными брызгами ветер, пахнущий свежестью, водорослями и рыбой.

Сосед его чиркнул зажигалкой — может быть, на часы хотел поглядеть — и вдруг произнес с удивлением:

— Э, да тут кислород!

— Верно, ребята, огонь.

— Горит, не гаснет!

— Осторожно, осторожно, не снимайте скафандр сразу, могут быть ядовитые примеси.

— А, все равно, сейчас или через неделю...

Тэй сорвал скафандр... и вздохнул. Воздух был настоящий, насыщенный озоном, прохладный и влажный, чуточку соленый, почему-то с легким запахом водорослей и рыбьей чешуи. Тэю даже показалось, что он слышит шум волн.

Немножко сырой был воздух: с пронизывающим холодком, как полагается у моря. И уже через несколько минут сосед Тэя, зябко поежившись, сказал:

— Погреться хорошо бы. Дровишек тут нет, конечно.

— А вот... чем не дрова?

В полутьме прямо перед ними лежала кучка сучьев. И были они совершенно похожи на сосновые, усохшие, ненужные дереву ветки, те, что сами собой отваливаются на ветру и служат топливом всем туристам в сосновом бору.

Костер разгорелся на славу, но питьевая вода из талого льда не получалась: лед здесь был вонючий, метаново-аммиачный, от него несло гнилью и кухонным газом. Путники с огорчением выплеснули котелки с отвратительной жижей. Они еще не знали, что на планете фей надо не действовать, а желать.

— Эх, газировки бы за одну монетку! — вздохнул Тэй.

И увидел стакан возле ног. Обыкновенный граненый стакан, наполненный шипучей влагой. Пузырьки, как и полагается, подскакивали над поверхностью воды.

Четверо разделили газированный нектар по-братски, каждому досталось по глотку.

— Маловато,— сказал доктор.— Еще бы один.

И стакан появился.

— А я бы горяченького предпочел, чайку покрепче,— сказал кладовщик.

И увидел в воздухе стакан чаю.



Путники были ошеломлены. Конечно, подумали о голодной галлюцинации. Но галлюцинировали все четверо, все четверо видели чай, а пил и согревался один. Тэй крикнул:

— Добрые феи, спасибо за угощение, выходите из темноты!

Но инопланетные подавальщицы предпочитали обслуживать своих гостей молча. Гости были слишком измучены, чтобы допытываться, что и почему, решили принимать чудо как факт. Они заказали обеденный стол — и стол появился, накрытый накрахмаленной скатертью, белой с голубыми цветами, в точности такой же, как у матери Тэя. На столе стояли фарфоровые тарелки и фамильная суповая миска в форме каравеллы, лежала горка нарезанного хлеба, пышного, пшеничного, с большими порами, слишком свежего, чтобы ломти получались тонкими. Это все Тэй продиктовал, вообразив обед в родительском доме. А второе каждый заказывал по своему вкусу: баранью отбивную, обжаренную в сухарях, бифштекс под желтым одеялом яичницы, или нанизанный на острые прутья, напористо пахнущий шашлык, или куриные котлеты с топленым маслом внутри и бумажным хвостиком на палочке.

Наевшись до отвала, захотели поспать. Вкусы были еще дорожные, скромные, никто не пожелал роскошной перины. Звездолетчики затребовали привычные раскладные кресла из космических кают, одеяла потеплее, комплекты чистого белья и постелились тут же у костра. Доктор, самый предусмотрительный, попросил еще и палатку, хотя дождя не могло быть в пещере под каменным сводом.

Проснувшись, не поверили вчерашнему. Не может быть такого, приснилось... Но ведь кресла и подушки были налицо, не исчезали. Сохранился ли чудесный дар? Каждый про себя попробовал попросить чего-нибудь: кто — яблоко, кто — пачку папирос, кто — умывальник и зубную щетку. Феи отозвались с готовностью, они как бы дежурили во тьме, все было исполнено незамедлительно.

А там пошло и пошло. Пировали, отсыпались; проснувшись, закусывали. Насытившись, придумывали редкостные блюда: двенадцатицветный пломбир со сливками и орехами, заливное из соловьиных язычков, анчоусы в масле авокадо. Впрочем, экзотические лакомства оказались не вкуснее обычных. Возможно, что феи не умели готовить их, а заказчики не смогли поправить поварих, сами не пробовали ни разу соловьиных язычков.

После третьего пира, когда еда чуть ли не из глаз сочилась, робинзоны занялись благоустройством. Палатку заменили сборным домиком, сначала двухкомнатным, потом пятикомнатным, с личными спальнями и общей столовой. Сказали: «Да будет свет», подвесили к своду пещеры сотню люстр. Как же засверкали, заискрились в их лучах бесчисленные кристаллы! Волшебная пещера фей оказалась не так уж велика, с полкилометра длиной, шириной не больше двадцати метров — примерно один гектар каменных глыб,

столбов, натеков, сосулек. Камни выглядели живописно, но неуютно. Новоявленные сибариты решили благоустроить и украсить пещеру: заказали феям растительность — цветочные клумбы, ягодник, фруктовый сад и десять соток дикого, запущенного леса с мхом, плесенью и трухлявыми поваленными стволами. Трухлявость тоже была выдана безупречная, с тысячами личинок и муравьев под ржавой корой. И ржаное поле было в четверть гектара, и жаворонки над ними — для бодрого утреннего хора.

А что бы придумать еще?

Нечего!

Сытые и отоспавшиеся путешественники заскучали. Стали вздыхать. Хорошо бы домой — к женам и детишкам. Или к невестам, к девушкам — у кого не было семей. И пресной показалась вычурная еда, пустым пятикомнатный дом, слишком тесным псевдолес и квазиполе. Одно осталось в голове: домой, домой, на родную планету!

К сожалению, феи не воспринимали прямого приказа: «Доставьте меня домой!» То ли могущество их не распространялось на космические просторы, то ли не хотели они расставаться со своими гостями. Пришлось загрузить их громоздкой технической работой: дать наряды на стенки для ракеты, на аппаратуру, агрегаты, приборы, припасы... И начать это все с крана грузоподъемностью в девять тонн.

И конечно, требовалось топливо. Вообще-то топливом для фотонного звездолета могло служить любое вещество, любые атомы. С базы ракета стартовала, нагруженная чугунными чушками, но феям были заказаны чушки из золота. И не без технического основания. Ведь золото плотнее железа, стало быть, компактнее, требует меньше места на килограмм веса, а выдает тот же килограмм фотонов. Кроме того, золото, подобно свинцу, хорошо поглощает лучи, служит надежной защитой от радиации. И плавится золото легче, требует меньше тепла для подачи в двигатель. Но самое главное — золото есть золото: всеобщий эквивалент товаров, мандат на изобилие, силу, власть, наслаждения и почет, чековая книжка на исполнение желаний любых, в том числе и тех, которые не входили в ведение фей.

Естественно, Тэй и его спутники рассчитывали не все золото сжечь в пути, тысячу-другую слитков сэкономить. И долгое возвращение их превратилось в испытание жадности. Экономить было можно только за счет малой скорости, а малая скорость отодвигала срок прибытия. Сохраняя золото, путники платили днями своей жизни. Альтернатива: либо нечего будет тратить, либо некогда будет тратить. И видимо, скупость побеждала. Ракета могла бы вернуться и раньше, в пути провела лишних пять или шесть лет. И из четверых к финишу прибыл только один, самый молодой по возрасту — Тэй. Прибыл уже стариком, но с тремя тоннами нерастраченного золота.

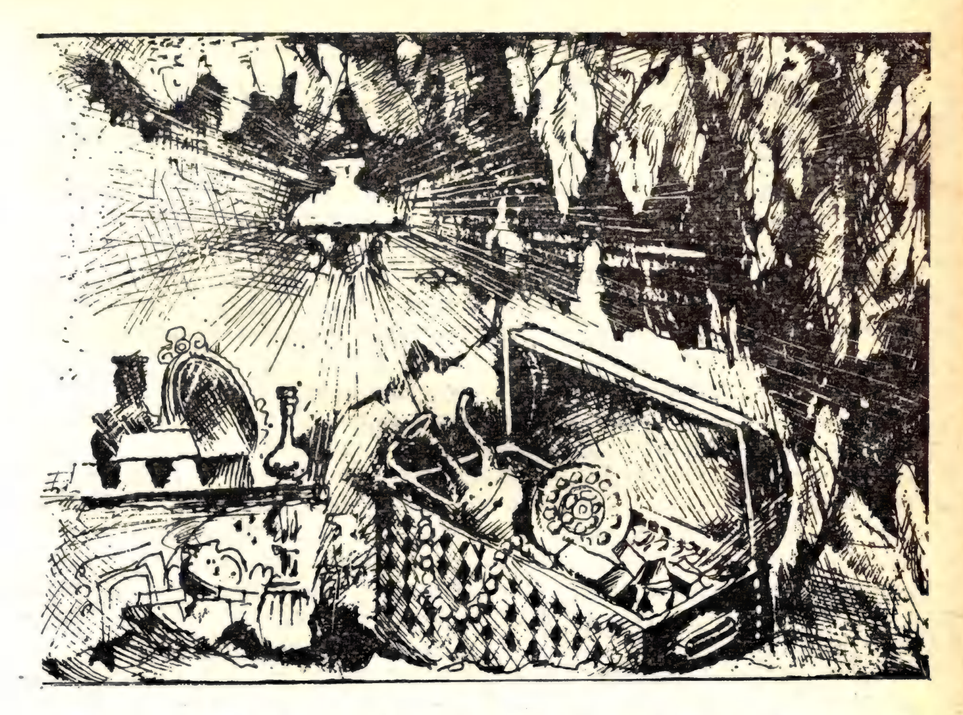


Все равно сила, власть и почет ему не достались. Торговый дом «Космос и К°» наложил арест на золото, заявил, что это остатки топлива и механик обязан сдать их. Даже иск еще предъявили Тэю за перерасход горючего. Адвокаты же Тэя в суде доказывали, что топливом можно считать только чугун, загруженный при старте, и он был израсходован полностью, а золото закуплено иждивением команды и является собственностью команды, Тэя в первую очередь. Одна инстанция решала так, другая — иначе. Сам Тэй умер, заблудившись в чащах кассаций и апелляций. Кажется, наследники его ведут тяжбу по сей день.

Не в золоте суть. Тэй привез мечту. Есть, оказывается, где-то на небе уголок, где исполняется «хочу». Все, что в практической жизни требует терпеливого накопления, долгих лет ожидания, там дается запросто. И разговоры о том, что я купил бы, если бы выиграл десять тысяч по лотерее (в какой семье они не ведутся!), сменились новейшим вариантом: что я затребовал бы на месте Тэя? Каждому казалось, что он был бы гораздо умнее, не тратил бы силы фей на соловьиные язычки, на детали к подъемному крану тем более.

А что заказали бы вы?

Возьмем нашу компанию — с инженерно-космического. Принято считать, что студенты — народ развеселый, в кармане у них пусто, а голова набита идеями и ничего им не нужно, кроме идей. Но



все-таки у каждого есть и осязаемые мечты. Пэй, к примеру, вздыхает о библиотеке старинных книг. Ему все кажется, что древние знали что-то сверхмудрое о жизни. Надо только разыскать нужную книгу, выучить наизусть — и сам станешь сверхмудрым. Братья Сэиты хотят иметь спортивный зал на ферме своего отца. Если будет зал, они смогут заниматься часок после работы и станут знаменитыми акробатами, возможно, даже бросят инженерное дело, которое так туго лезет в голову. Рэй мечтает о стильной квартире, ему зачем-то нужны занавески красного бархата и рояль из черного дерева, а на стенах портреты великих артистов с небрежной надписью: «Рэю, дружески»; или: «Рэю на память о задушевных беседах». Пусть каждый входящий, каждая входящая в особенности, сразу бы видела, что здесь живет незаурядный, душевно тонкий человек. А что сегодня видит студентка, забежавшая к Рэю в общежитие одолжить трешку до стипендии? Четыре неубранных койки с казенными одеялами, корки и недоеденную колбасу в бумажке на столе. Что она слышит? Громкий шепот: «Ребята, ко мне пришли, поболтайтесь в коридоре полчасика!» Располагает к интимности такая обстановка?

Ну а Гэтта? Я знаю, что заказала бы Гэтта: кресло на колесиках для парализованной бабушки, новое пальто обеим сестричкам, маме электрическую кухню-чудо, которой можно поручить приготовить обед из трех блюд: нельзя париться целый день у плиты с маминым

сердцем. А после всего, когда и бабушка, и сестры, и мама будут совершенно довольны, Гэтта возьмет у фей шубку, короткую, на две ладони выше колен, но из настоящего меха, темно-бурого с благородной сединой, натурального, который так ласково гладит щеки.

Что же касается меня, я дольше всех надоедал бы феям. Дело в том, что я люблю делать подарки — все равно кому, незнакомым тоже. Меня дразнят Дедом Морозом, потому что у меня всегда полны карманы карамелек и солдатиков. Ну и что тут постыдного? Люблю смотреть, как загораются глаза у какого-нибудь замурзанного карапуза, когда ему преподнесешь подтаявшую конфету, размазанную по липкой обертке. Малыши скромный народ, их легко обрадовать. И еще хотелось бы мне посмотреть, как загорятся глазищи у одной девицы, если ей принести куцую шубейку с сединой на ворсе. Воображаю себе... могу только воображать. Если бы я три года откладывал всю стипендию целиком, как раз набрал бы на шубку. Вот ее-то я и заказал бы феям. И еще было у меня эгоистическое желание, признаюсь. Мне хотелось, чтобы я попал к феям первым, раньше других йийитов, мог бы сообщить их желания феям и выдавать потом подарки. Желание эгоистическое и, в сущности, неправомерное. Ведь я был бы только посредником при таинственных изготовителях, получал бы благодарности, предназначенные невидимкам.

Что говорила о феях наука? В свое время я собирал вырезки, накопил больше двухсот статей из специальных, научно-популярных и общих журналов и газет. Две сотни статей, две сотни мнений! Впрочем, все они сводились к двум основным:

1. В пещере Тэя имеются особые вещества, минералы или горные породы, обладающие специфическими феерическими свойствами, которые проявляются в способности улавливать парапсихологическую информацию и на основе ее создавать из окружающих атомов материальные предметы.

2. В пещере Тэя, в ее воздухе или в стенах, обитают некие существа «феиды», которые для ознакомления с прибывшими инопланетянами или для иных непонятных целей записывают парапсихологическую информацию и на основе ее создают из окружающих атомов материальные предметы.

Либо вещества, либо существа. Пожалуй, не надо было быть ученым специалистом, чтобы выдвинуть эти два предположения.

Не было недостатка и в скептиках. Скептики твердили: «Галлюцинация или дезинформация!» Обман чувств или обман слушателей! И ссылались на отсутствие доказательств: устный рассказ Тэя, и больше ничего. Правда, были золотые слитки... Но ведь золото можно добывать и не таким чудесным путем. Скептики полагали, что Тэй открыл где-то богатое золотом небесное тело и скрывал его местонахождение, чтобы не обесценить свое сокровище. Самые подозрительные намекали, что месторождение было в каком-нибудь

банковском сейфе на планете Йийит. Совершив ограбление, команда два десятка лет возила слитки по космическим далям, ожидая, чтобы преступление забылось. Попутно стреляли друг в друга, чтобы росла доля оставшихся. Даже фильм был поставлен на эту тему... и пользовался успехом.

Тэй утверждал, что у него есть и записи, и кинолента, но показывать не соглашался, пока ему не вернут слитки. Получалось, как в детском споре: «А у меня есть настоящий пистолет».— «Врешь!» — «Не вру».— «Покажи!» — «Не покажу».— «Значит, врешь».— «Нет, не вру» и т. д.

Люди религиозные поверили Тэю сразу и безоговорочно. Проповедники во всех церквах объясняли, что чудо пещеры Фей давным-давно предсказано и описано в священных книгах, что это всего лишь новое проявление всемогущества божьего. В книгах сказано, что есть на небе рай, где награждаются праведники. Вот и нашелся вход в рай. Впереди еще и не такие чудеса. Сомнений у проповедников не было и доказательств тоже. У религии вообще с доказательствами туго, там больше бьют на доверие. Любое свидетельство, самое неосновательное, в цене. Было видение во сне — и то хорошо. А тут рассказ живого свидетеля, современника, да еще звездолетчика.

Впрочем, и среди атеистов было не так много скептиков. Понимаете, очень уж хотелось поверить Тэю. Заманчиво было думать, что мечты исполняются где-то. Хотелось верить — и верилось. Джэй — старая лисица — понял это из первых. Пока там в сенате спорили, отпускать ли средства или не отпускать на новую экспедицию, Джэй основал акционерное общество на паях под названием «Благочестивые паломники» и объявил, что каждый пайщик сможет попользоваться дарами фей, минералов или божьих ангелов — дарами пещеры, короче говоря.

Естественно, никакой флот не мог бы поднять всех желающих. Поэтому в уставе было записано, что пайщики имеют право заказать феям что угодно на сумму своего вклада. Акции же были дешевые, доступные каждому, и оплачивать их можно было не только деньгами, но и материалами и своим трудом. Даже такое правило было введено, либеральное: деньги считаются из расчета один к одному, материалы — по двойной цене, а труд — по пятикратной. Вот и потянулись к Джэю толпами бездомные безденежные голоштанники, все, кто мог предложить только руки и спину. И среди тысяч и тысяч записались в пайщики Пэй, Рэй, Юэй — вся наша компания. Записались и практически бросили учебу даже. Очень уж хотелось наработать побольше трудовых акций. Тем более что наш труд ценился высоко. Мы были студентами старшего курса в инженерно-космическом, почти инженерами, и работали на Джэя инженерами. В результате очутились в первой сотне акционеров. А первый десяток по уставу мог рассчитывать на место в ракете. Одно время мне

казалось, что я вот-вот дотяну до первой десятки: мой пай был семнадцатым. Я уже ходил по комиссионным, присматривал шубку с седым ворсом. Но потом меня и всех нас обогнал Рэй. Тут особое обстоятельство сыграло роль: Рэй водил грузолеты в космос, на монтажную базу, и в пути свел знакомство с Джэттой, единственной дочерью старика Джэя. А наш Рэй парень не промах. В общем, посовещавшись, мы все перевели свои паи на Рэя, сложились и обеспечили нашему представителю место в ракете.

Три дня назад Рэй простился с нами, улетел на последнем грузолете, на том, что увозил заказы пайщиков. Я сам видел эти списки — громаднейшие фолианты с графами: фамилия, размер пая, заказ, заказ, заказ... На каждого пайщика строка, иногда две, иногда целая страница, всего около миллиона страниц. И вот ушла в космос эта библиотека, энциклопедия затаенных желаний, тайных и явных надежд. Ушла, стала звездой на дневном небе. А миллионы уповающих провожали ее миллионами вздохов, мои товарищи в том числе. Вздыхали, но думали: «Там Рэй, наш собственный делегат. Мечты в надежных руках».

И вдруг этот делегат вбегает в скверик, растрепанный, бледный, с красными пятнами на щеках.

— Ребята, нас продали!

И протягивает скомканное письмо.

«Дорогой мой, ненаглядный, любимый, радость моей жизни! Прощай навеки, прощай навсегда-навсегда!

Я обливаюсь слезами, не соображаю ничего, еле вижу буквы, прости за мои каракули. Все произошло так неожиданно. Час назад я ничего не знала, приехала на проводы... И вдруг папа объявил, что я лечу, а ты не летишь, что он внес за меня пай в пять раз больше твоего... И мы не увидимся никогда-никогда!

Конечно, у папы все давным-давно было рассчитано, предусмотрено и подготовлено. Папа умница, он величайший комбинатор мира, только о сердце дочери ему некогда подумать. Папа купил у Тэя право один-единственный раз посмотреть пленку, убедился, что все про пещеру абсолютная правда, и решил сделать ставку на фей. И еще папа заплатил Тэю в три раза больше, чтобы он никому-никому не показывал свои фильмы. Заплатил, но такие расходы всегда оправдываются. Другие сомневались и жмотничали, а папа один играл наверняка. Он вложил все свои миллионы в фей, оказался выше всех других пайщиков в сорок раз, и он один мог назначить весь экипаж, всех пассажиров. И он вписал маму и меня, и генерала Цэя, и еще трех майоров для охраны, и жену геолога, и жену физика, и жену штурмана, и семьи инженеров, чтобы все служащие всегда и везде стояли за папу. А семьи брать надо, потому что мы не вернемся. Папа говорит, что он не извозчик и не Санта-Клаус. Его амбиция не в том, чтобы возить подарочки нищим — шесть лет туда, шесть лет обратно,— тратить на это свои последние

годы. Папа говорит, что остаток жизни он хочет прожить в свое удовольствие, а не мотаться по космосу туда и обратно. А я ужасно рыдала и просила взять тебя тоже. Но папа очень сердился, топал ногами и кричал, что я дура, сама не понимаю своего счастья, что он выдаст меня замуж за солидного и богатого человека, такого, как генерал Цэй, я еще благодарить его буду. Но я ни за что, ни за что не стану женой этого плечистого солдафона, я люблю тебя и только тебя, мой кудрявый, ясноглазый. Те наши святые часы в рубке — это счастье всей моей жизни. И я пла́чу, думая о тебе, и целую тебя тысячу раз, и целую каждую букву этого письма, которое будут держать твои сильные руки. Я так хочу к тебе, хотя бы проститься с тобой, но папа меня не пускает. Говорит, что нипочем теперь не пустит, когда я знаю его тайну. Но я все равно перехитрила его, я попросила прислать мою горничную с платьями, а на самом деле я отдам ей все платья, чтобы она передала тебе это письмо. Не знаю, на что я надеюсь, просто я люблю, люблю, люблю и хочу быть твоей, только твоей и ничьей больше. Прощай, мой любимый, славный. Помни обо мне хоть немножечко.

Твоя маленькая Джэтта».

— Все-таки это не настоящая любовь,— сказала толстушка Сэтта.— Если бы она любила всерьез, нашла бы способ убежать.

А мы, остальные, думали не про любовь. Подлость потрясала нас, неизмеримая гнусность, жившая рядом с нами. Нет справедливости на этом свете. Остро нужен, просто необходим был нам, безбожникам, бог, чтобы громом поразить Джэя — эту мразь в образе йийита.

— Своими руками разорвал бы! — сказал Сэй Большой, тот, что работал в партере, брата своего держал на вытянутых руках.

А Сэй Маленький только зубами скрежетал, думая об украденном спортзале.

— Что делать будем? — спросил Пэй, глядя на меня.

Библиотека его развеялась в небе, мудрость древних еще не была впитана, а в житейских делах Пэй полагался на меня.

Я и сам не знал, что делать. Я только жалел бедняков, которые отдали свои последние гроши и последние силы, чтобы записать надежду в бесполезные книги пожеланий.

— Может быть, я зря разболтал вам, ребята? Может быть, надо скрыть письмо? — сказал Рэй неожиданно.— Пусть люди надеются! Пусть хотя бы радуются, надеясь! Ведь сделать-то ничего нельзя. У Джэя единственный звездолет, новейший, лучший, его не догонишь.

— Лгать, обманывать, сеять напрасные надежды? Чем же это лучше религии, Рэй?

— Но какой толк, Гэй, от твоей горькой правды?

— А нельзя ли догнать их на ракете Тэя, ребята?

Это Гэтта спросила. Пока мужчины сетовали и разглагольствовали о принципах, девушка искала выход.

Возражения посыпались градом: у Тэя старая галоша, мощность ее ничтожна — сто граммов фотонов в секунду, у «Благочестивых паломников» — килограмм в секунду. И новенькое оборудование, и аппараты, и лучшие специалисты, и они уже в пути, набирают скорость, у них форы несколько месяцев.

Но другого звездолета не было на планете Йийит. У ракеты Тэя двигатель маломощный, но зато и масса малая, ускорение получается примерно одинаковым. Если нет новейшего оборудования, можно обойтись старым. Специалисты? Мы сами специалисты. Фора? Нагоним. Неужели дадим уйти преступнику?

А главное, стояла перед глазами у меня очередь: видел я этих старушек, робких женщин в стираных платьях, старательно и благоговейно вписывающих свои пожелания в книги напрасных надежд.

— Ребята, надо разбиться в лепешку,— сказал я.— Разбиться, но обогнать «Паломников», прибыть к феям раньше. Для такого дела жизни не жалко.

— И мне,— сказала Гэтта.

— И мне,— присоединился Сэй Большой.— Жизни не жалко, чтобы раздавить этих идиотов, на части их разорвать.

— И мне... чтобы опередить их,— сказал Рэй.

— Ребята, давайте дадим клятву. Пусть это звучит напыщенно, но поклянемся не думать о себе, о дипломе, о личных делах, о любви, пока справедливость не будет восстановлена.

— Клянемся!

Пэй протянул мне руку, и Рэй, и Сэиты... и Юэй после некоторого колебания, и девушки тоже. Повторяли за мной как заклинание: «...Не отвлекаться, не учиться, не любить...»

— А ты сумеешь не любить ничуточки? — спросила Гэтта лукаво.

И Юэй добавил:

— Мне, как женатому, исключение. Клятва жене была дана раньше. О своей троице я обязан думать.

Клянемся!

Пустым звуком была бы наша клятва, если бы не поддержали ее миллионы — оскорбленные и взбудораженные пайщики.

Казалось бы, все, что могли, отдали они ради мечты. Нет. Снова нашлись и вещи, и силы, и даже гроши какие-то для снаряжения второго звездолета, обновленной и переделанной ракеты Тэя.

Рэй предлагал назвать ее «Лидером». Пусть самое имя говорит о нашем намерении прийти первыми.

Сэиты предпочитали «Возмездие».

— Ведь гнев оказался сильнее мечты,— говорили они.— Ради подарков люди давали деньги с расчетом, что-то припрятали на черный день, а во имя мести несут последнее.

А по-моему, не месть и не гнев вдохновляли людей, а чувство

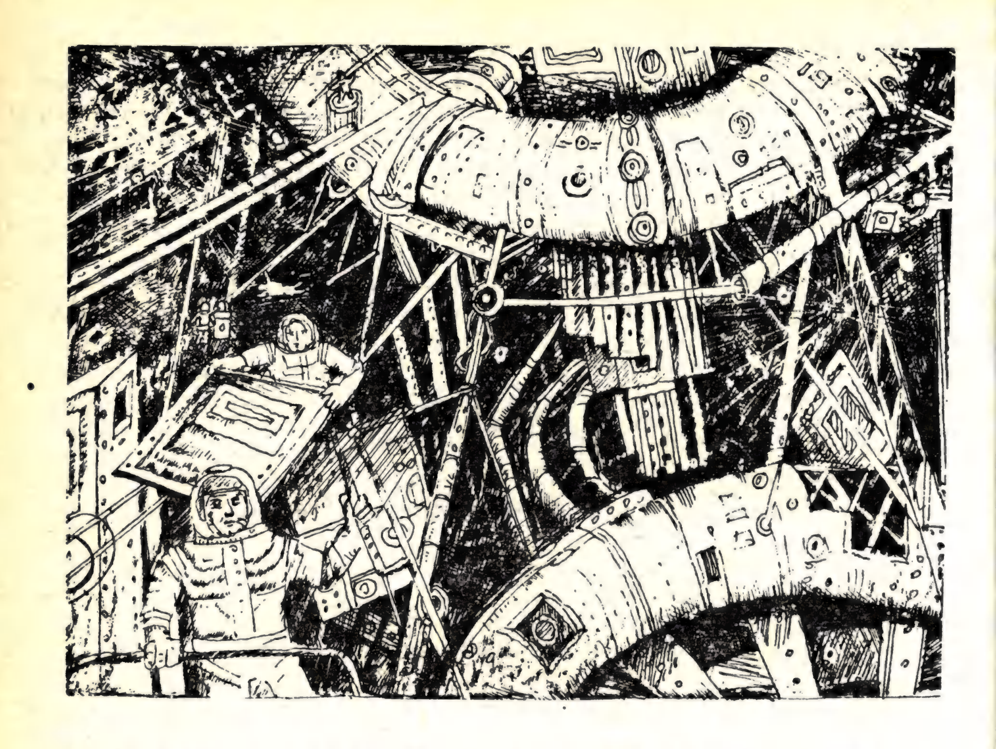
истины, жажда справедливости. Я хотел, чтобы ракета называлась «Справедливость». И меня поддержало большинство.

Во имя справедливости был изменен и устав пайщиков. Ведь это не так уж правильно, чтобы больше всего подарков получали самые богатые, самые ученые и самые сильные, способные лучше и дольше трудиться. Как раз наоборот: бедным, неученым и слабым требуется больше. И совсем уж несправедливо, чтобы ничего не получали дряхлые, немощные и больные, неработоспособные. Мы объявили, что наша «Справедливость» принадлежит всем-всем жителям планеты до единого. И так как всем-всем-всем невозможно привезти подарки, мы записали в устав, что подарков не привезем никому, а задача наша — раскрыть тайну пещеры. Пусть такие пещеры построят во всех странах, общедоступные, как питьевые фонтанчики на перекрестках.

«Не пайщикам — всем подряд!» Возможно, из-за этого лозунга мы собрали меньше денег (от богатых ни гроша), но гораздо больше честного труда. Паев у нас не было, но не было и дутых работников, которые болтались бы на глазах десятников, чтобы получить отметку об отработанном дне. Обошлось без лодырей, и обошлось без учетчиков. Думаю, что мы остались в выигрыше.

Очень помогло и то, что работа делалась повторно. Мы получили готовую оборудованную базу — космический док, где строился «Паломник», получили все мастерские с остатками материалов, обученных инженеров и обученных рабочих. И унаследовали готовый набор решений: схемы управления, двигателя, рулей, системы наблюдения, обеспечения и прочее. Ничего не пришлось изобретать принципиально нового; мы только приспосабливали, «привязывали» чертежи к корпусу скромной ракеты Тэя. Допустим, требуется рубка управления. «Рэй, вспомни, как была устроена рубка в «Паломнике». Оборудуется медицинский кабинет. «Рэй, вспомни, как выглядела клиника на «Паломнике». «Сэтта, ты монтировала антенны, вспомни...» «Юэй, ты делал расчеты, вспомни!..» Рассеянные авторы знают, что потеря рукописи — не катастрофа. Восстановить ее — не удвоенная работа. «Паломник» строился четыре года, нашу ракету мы оборудовали за четыре месяца.

И справились бы еще быстрее, если бы нам не ставили палки в колеса. Львиную долю времени у нас отняли бюрократические барьеры. Целый месяц (месяц из четырех) прошел, прежде чем нам разрешили использовать ракету Тэя. Недели, недели, а не часы проходили, прежде чем нам выдавали со складов без дела лежащие аппараты. Есть скафандры на складах — нет разрешения на выдачу. Вольфрам и германий есть на заводах — нет разрешения на выдачу. Увязки, утверждения, ассигнования, сомнения, запросы, проверки... Не сразу мы поняли, что у Джэя остались сочувствующие в сенате. Да, он обманул их тоже, но богачам этот обман не казался подлым. Лживая реклама, дутые акции, бегство от пайщиков, мнимое банкротство —



все это соответствовало биржевым обычаям. С точки зрения спекулянтов, Джэй блефовал по правилам игры. Сегодня он обыграл их, завтра они отыграются на других простофилях. Практически уже отыгрались, ведь бегство Джэя повысило акции всех оставшихся фирм. Стало ясно: подарков от фей не дождешься, магазины не обойдешь мимо; и все товары повысились в цене. И вообще жулик Джэй был душевно своим для сенаторов, мы же с лозунгом «Феи для каждого» выглядели чуждыми и опасными уравнителями. Сегодня — «Феи для всех», завтра — «Земля для всех, заводы, банки, железные дороги для всех». А где же права рождения, завещания, текущего счета, наследственного имущества? Всем выполняются все желания! Но ведь это разорение для фабрикантов белья, игрушек, туфель и пулеметов. Нет уж, пусть себе Джэй флиртует с невидимыми красавицами, а на планете Йийит все останется по-прежнему: деньги, покупка, продажа и прибыль, нищие с дырявым карманом и чековые книжки у богатых.

Так вот, когда мы поняли все это, пришлось заговорить вслух, прямиком. Юэй оказался мастером такого разговора. У него была практическая сметка озабоченного отца семейства, перегруженного, замороченного, не имеющего лишнего времени на словесную шелуху. Он сразу ухватывал суть. Толкуют ему велеречиво о бережливости, ответственности, коллегиальности, демократичности, необходимости

согласовать, утвердить, апеллировать и проверить, а он в ответ одно:

— На сколько дней мы отстанем из-за проверки? Вы стараетесь ускорить или замедлить старт? Ускорить, безусловно! (Кто же признается, что тормозит намеренно?) Тогда не мешайте нам спешить, выдавайте материалы авансом и проверяйте задним числом.

А если проволочки продолжались, Юэй выходил прямо на балкон парламента и кричал толпе:

— Сенаторы медлят. Мы с вами потеряли еще три дня.

И на площади собиралась демонстрация. На плакатах писали: «Экономьте время!», «Довольно слов!» и «Да здравствует справедливость!» и даже «Справедливых — в сенат!». Так что в конце концов президент однажды сказал на закрытом совещании:

— Ну их к черту, этих «справедливых», господа! Пусть проваливают в космос. Туда и обратно — двенадцать лет, на пути метеориты, радиация и прочее. Бог даст, не вернутся. А если и вернутся, передышка наша, двенадцать лет поживем спокойно без смутьянов в своей стране.

Почему-то все президенты мира уверены, что бедняков смущают смутьяны, а не бедность.

После этого выступления ворота складов открылись для нас, только поспевай принимать продукцию. И проверять. Вдоволь подсовывали нам гнилья и брака. Видимо, не очень надеялись на нечаянные метеориты, хотели подбавить приключений с авариями. И мы не всегда проявляли должную требовательность, стремясь отчалить поскорее. Лишь бы отчалить, там исправим.

Не налажено автоматическое управление? Обойдемся, будем управлять вручную. Неисправен радиотелескоп? Пока обойдемся, в пути исправим сами. Не можем подыскать опытного геолога? Обойдемся, изучим геологию по книгам. Лишь бы стартовать, оставить Йийит за кормой, набирать километры, километры, километры...

И, вздыхая, мы смотрели на табло, где светились неподвижные нули. Ноль пути, ноль скорости, ноль ускорения, и после запятых одни нули.

Помню последнюю неделю перед стартом — семь суток бессонного безумия. Мы на базе. Перед глазами какой-то абстрактный пейзаж: треугольники и квадраты, пересеченные диагоналями на черном фоне. Как будто решается задача по геометрии на классной доске. Так выглядят фермы космического монтажного дока, обходящего Йийит по дальней орбите. К сквозным клеткам ферм прилепилась металлическая акула, жадно распахнувшая пасть. И сплошным потоком плывут в ее чрево баллоны, мешки, бутыли, тюки, ящики, ящики, ящики. Не кантовать, не бросать, не переворачивать! Почему не кантовать, что внутри — разбираться некогда. Ладно, в пути рассортируем, время будет. Лишь бы отчалить поскорей!

Я в скафандре с двумя наушниками, как полагается. Правый — мой личный, для персонального вызова; левый настроен на общую волну, и в нем сплошной гул: «Куда смотришь, черт?», «Вира помалу!», «Осторожно, ногу!», «Внимание, радиограмма из центра!». Срок назначен, названы часы и минуты, но еще ничего не готово, не погружено, не разобрано... Где лекарства, где инструмент, где навигационные приборы? Ладно, потом, в пути будет время, разберемся как-нибудь. Отказался лететь врач? Что с ним? Заболел или струсил? Ладно, обойдемся. Народ молодой, авось болеть не будем. Нет автоматов обслуживания? Обойдемся, народ крепкий, неизбалованный, обслужим сами себя, руки не отвалятся. Нет памяти для вычислительной машины? Обойдемся, сами смонтируем, запомним, запишем результат на бумажке. Лишь бы отчалить скорее, лишь бы набирать километры, догонять, наконец, догонять!

Доходит до слуха, что наши противники в сенате не успокоились. Отменить старт нельзя, народ не допустит. Но возникла идея заменить экипаж. Дескать, мы молодые, неопытные, горячие, нам нельзя доверить звездолет. Но нет веры людям доверенным, угодным сенату, поводят-поводят корабль по космосу и вернутся под предлогом аварии. Всегда же можно найти предлог. Вопрос о новом капитане уже внесен в сенат. Надо спешить, пока они не отменили старт. Скорей, скорей, скорей! Что там еще не погружено? Запасной локатор? Обойдемся без запасного. Юэй, старший, ты уже заготовил прощальную речь?

Юэй заготовил... но только для троих слушателей: для круглолицей жены и круглолицых дочурок с круглыми от любопытства глазами.

— Трудно тебе придется, Юя,— говорил он, держа жену за руку.— Но ты уж потерпи, ради такого дела всем надо терпеть.

— Потерплю,— отвечает она,— деваться-то некуда. Вот у меня два якоря-анкерка, два залога терпения и верности.

А «залоги» только глаза таращат. Всё им удивительно, всё непонятно, и страшновато, и привлекательно. Очень уж много грохота и мелькания вокруг.

Передо мной тоже глаза, голубовато-серые глаза Гэтты. Куда ни повернешься, ее глаза. В них напряженное ожидание, немой вопрос: «А ты мне что скажешь, прощаясь?»

«Гэтта, родная моя, ты же знаешь, что я люблю тебя, люблю так, что в груди жарко».

— Да-да, сюда кладите и крышкой кверху обязательно...

«Гэтта, сказать тебе о любви вслух, всеми словами, а потом что? Ведь расстанемся-то на двенадцать лет. Юя будет ждать, вынуждена ждать, у нее два якоря в юбочках...»

— Да-да, и седьмой, и восьмой номер кладите. Десятый? А где же девятый? Опять некомплект!

«О чем это я? Да, Юя обязана ждать, но ты же девушка. Имею

ли я право сказать девушке: «Жди меня двенадцать лет и, если я вернусь живой...» Все равно ты забудешь меня. Наверное, без этих слов легче забыть».

Но серые глаза настаивают, серые глаза просят и требуют. Они считают, что Гэтта сама решит, что легче.

— Послушай, Гэтта...

Что это? Вспышки! Скачущие лучи! Похоже на лазерную перестрелку. В наушниках слышу: «Именем закона!» Чей-то надрывный крик: «Справедливые», отчаливайте, вас хотят арестовать!» И сразу же: «Братцы-монтажники, не допустим полицию! Да здравствует справедливость!»

Юэй соскакивает с трибуны, отталкивая испуганную жену. Кидается ко мне:

— Гэй, где оружие? Никого не подпускай, стартуем немедля!

Откуда я знаю, где лучеметы? В отсеках, в ящиках, на стеллажах? В пути хотели разобраться. А вспышки все ближе, ближе, в нашем распоряжении минуты. Отцеплять конвейер некогда, я отсекаю его лучом и сбрасываю ближайшие ящики в пространство. Медлительно сдвигаются тяжелые створки грузового зева. А Гэтта, а Сэтта — провожающие,— они же на корабле! Ну и пусть летят с нами, не гнать же их под лучеметы.

— Сэиты, вы уже внутри оба? Рэй, заходи.

И тут полиция пускает в ход большой луч. Это мгновение, и в памяти остается только один кадр, неподвижный. Я вижу ферму, рассеченную наискось,— так режут колбасу. Алые, как бы облившиеся кровью, оплавленные обрубки балок, несколько скорченных опаленных фигур монтажников, их общий вопль в моем левом наушнике, Юя с протянутыми руками, руки протянуты, но девчушек держат крепко, а в двух шагах от нее Юэй, рассеченный лучом надвое, мертвый. И мертвой рукой он мне показывает на шлюз.

Всего одно мгновение... Я рассказываю куда дольше. Даже движения не запечатлелись в памяти, осталась как бы фотография. Я вскочил в шлюз. Не кинулся к нашему капитану, не мог ему помочь. Ведь мы же были в безвоздушном пространстве, где даже маленькая дырочка в скафандре означает смерть.

Палец Рэя на кнопке:

— Все готовы? Даю старт!

Конечно, герметичность не проверена, но мы же в скафандрах, герметичность можно проверить потом.

Зал наполняется дрожью и шелестящим свистом. На обзорном экране тотчас же гаснут вспышки. Преследователи в панике, знают: сто граммов фотонов — не шутка. Бушует снаружи испепеляющий радиоураган. И наши враги, и наши защитники наперегонки спешат в укрытия. Наклоняются обрубленные балки на экране. Это док отводят в сторону, подальше от нашего лучевого потока. Рэй ведет ручку по реостату, дрожь становится мельче, ровнее, свист превращается в монотонный гул...

— Летим, ребята!

— Неужели летим?

Обзорные экраны ничего не могут сказать, на экранах звезды и звезды. А вот на табло видно, как самые последние нули, те, что после запятых, дрогнув, сползают вниз, на их место просовываются единички.

Признаюсь, даже гибель товарища, даже сочувствие его вдове не могли угасить всю торжественность этой минуты.

По-моему, это была лучшая минута в моей жизни.

Старая поговорка гласит: «Нет хуже — ждать и догонять». Увы, мы были поставлены в это неприятное положение. Целый месяц добивались разрешения снаряжаться, три месяца снаряжались, ждали и ждали старта. А преступный «Паломник» все это время уходил, набирая фору, успел оторваться от нас на 20 световых суток, развил скорость около 0,3 *с* — девяносто тысяч километров в секунду. И пока мы ликовали, глядя, как выползают на табло самые первые километры — первый, второй, третий, «Паломник» все удалялся, прибавляя по 90 тысяч километров ежесекундно. Он превосходил нас в пройденном пути, превосходил и в темпе, увеличивая разрыв почти на треть световых суток каждые сутки. И единственная наша надежда была на темп увеличения темпа — на вторую производную, говоря математическим языком; на то, что капелюшечная наша скорость растет быстрее, чем у удирающего гиганта.

Но темп увеличения темпа, вторая производная пути, если вам так понятнее, диктует вес путника... Взявшись догонять, мы навалили на себя добавочный груз, двойной, сразу же со старта.

Казалось, велик ли подвиг — двойной вес. До четырехкратной перегрузки — до 4 *g*, говоря языком физики,— дотягивают любые самые нетренированные люди. Сильные, опытные летчики управляют пикирующим самолетом при 8 и 10 *g*. На центрифугах чемпионы выносливости выдерживают 12 *g* и более. Но ведь там испытание продолжается секунды, минуты, а мы перегружались на месяцы.

Удвоенный вес. Наши юные подруги стали матронами по семь-восемь пудов каждая. Девять и десять пудов тянули мужчины. Сэй Большой таскал тринадцать. У каждого как бы еще один человек на плечах. Мы приобрели одышку и отечные ноги, не бегали, а переступали, не вскакивали со стула, а выпрямлялись, кряхтя принимали вертикальное положение. И невольно оглядывались все время, нет ли рядом кресла, нет ли койки, чтобы свалить на нее свои пуды.

— Мужайтесь, ребята! Потерпите ради справедливости!

К сожалению, нужно было не только терпеть, но и работать: разбирать и размещать по местам все эти ящики, мешки, пакеты, сваленные кое-как, где попало в суматошные часы предотъездной спешки. Но сейчас ящики, мешки, пакеты, баллоны, бутылки и все прочее весили в два раза больше. Подавленные собственными пудами, мы таскали отяжелевшие вещи. И кляли «этих идиотов»

(самих себя), которые пришивают пуговицы к шубе на морозе. Столько раз мы твердили перед вылетом: «В пути будет время, разберемся». Да, времени здесь хватало, но сил мы тратили втрое, вчетверо больше.

Впрочем, сие не от нас зависело. Мы с радостью пришили бы пуговицы заблаговременно — обстоятельства не позволили.

— Рэй, а на «Паломнике» тоже таскают грузы вручную?

— Там, ребята, роботы-грузчики с лапами-домкратами.

— Эх, нам бы хоть один!

— Веселее, братва, улыбочки на лицо! Планета смотрит на нас в телескопы. Гэй, у тебя уныло-длинный нос. Подрежем ножичком? Все легче, вес поубавится.

Только вечером мы давали себе передышку — от ужина до полуночи, чтобы дух перевести, лечь в кровать и заснуть при нормальной тяжести. Собираемся за столом и первым долгом глядим на табло. Сколько прошли? Два световых часа, все еще в пределах родной планетной системы. Ну а «Паломник»? Двадцать три светодня отмахал, еще трое суток отыграл у нас. И со скоростью тоже: у нас — две сотых скорости света, у них — 0,34 *с*, в семнадцать раз больше. Ничего, ребята, ничего, нос вешать незачем: ускорение выше у нас, вторая производная в нашем кармане.

На самом деле все это на табло читалось косвенно. Ведь прямые данные мы получали с опозданием. Свет от «Паломника» шел со скоростью света, попадал в наши приборы через двадцать три дня. Но я не буду всякий раз упоминать: «По расчетам, по расчетам...»

Вторая производная у нас в кармане, когда-нибудь мы обгоним. И тут же, победив «Паломника» мысленно, мы начинаем спор о методах изучения пещеры Тэя, о природе фей. Существа или вещества? Есть у нас сторонники феидальной теории, есть и сторонники феерической. Первые изучают линкос, психологию, философию истории; вторые увлечены анализом, возятся с призмами, вымеряют спектральные линии, обжигают пальцы кислотами, изучают оттенки цвета.

— Надо доказать наглядно, что мы существа с развитой нравственностью,— говорит Гэтта, главная феидистка.

А мы с Пэем убежденные фееристы, мы придумываем опыты, которые сумеют выявить границы чудотворных возможностей пещеры. Ведь границы возможностей дают намек на механизмы волшебства. Допустим, перед глазами возникает текст. Если в минуту появляется сотня знаков, видимо, печатание идет вручную, если тысяча знаков — вероятно, работает диктофон, если миллион знаков — идет лента с записью.

— Сколько подарков изготовляли феи в секунду, ты не слыхал, Рэй?

Рэй у нас главный авторитет, к нему чаще всего обращаются за справками. Ведь он частенько бывал на «Паломнике», немало



слышал от Джэтты, больше, чем хотелось бы ее хитрому отцу.

Оказывается, у фей действительно была своего рода норма: около трех килограммов в секунду. Гости не замечали ограничений, пока требовали мелкие предметы: воду, пищу, одежду. А когда заказали дом, он появился не сразу. Стены как бы вылезали из грунта, пухли, вздувались опарой, и от них, словно ветки, вырастали лаги, половые доски, балки перекрытия, стропила, кровля. Все это продолжалось несколько минут. Временами конструкция получалась явно несообразной, должна была обвалиться, но не рушилась. Должно быть, на самом деле феи строили не из досок, а из чего-то более прочного, только по виду похожего на доски. И особенно неприятна была медлительность, когда космонавты начали восстанавливать ракету. Тут им требовались многотонные детали, а феи возились с каждой по полчаса.

— Ну конечно, фееризм,— говорю я.— Чувствительный слой определенного размера, определенной мощности. Феи сказочные выполняют все желания в мгновение ока: махнула палочкой — и готово! И отсчет примитивный — весовой, на килограммы. Что-то механическое.

— Все равно это существа, феи,— горячится Гэтта.— У сказочных фей тоже свои ограничения. Эта выполняет три желания на выбор, но только три категорически, а другая — любое количество

желаний, но не разрешает пользоваться дарами, пока не скажешь: «Довольно мне», скромность проявишь. Феи — женщины, а у всякой женщины свои причуды.

— И ты веришь в каждое слово сказки, девочка?

— Нет, не верю, конечно. Но в какой-то мере сказки отражают действительность. Возможно, наши предки изредка встречались с феидами.

Рэй вспоминает еще одну причуду. Феи принимали заказ любого размера, но только по очереди: пока не выполнят одно, за другое не принимаются. Когда любители дикой природы заказали нетронутый лес, им пришлось сутки сидеть не евши. Феи делали трухлявые стволы, кору, источенную личинками, муравейники, тину и не слушали просьб о бифштексах.

— Конечно, живые. Не хотели отвлекаться,— восхищается Гэтта.

— А по-моему, типичный телефон-автомат. Занято, и баста. Содержание разговора автомат не разбирает. Пустая болтовня, но занято.

— Слушай, Рэй, а как же получалось изготовление леса? Ведь в дереве центнеры, тонны, кряжистый дуб должен был формироваться больше часа. Что же, ствол стоял без кроны целый час и все время истекал соком?

Оказывается, у фей это было предусмотрено. Гости пещеры заказывали не только деревья, но и животных, собаку в частности. Живое существо получалось не мгновенно, оно тоже нарастало: лапы, живот, хвост, спина, потом голова. Но пока собака росла, она была недвижна, как статуя, даже холодная на ощупь. И еще секунды две стояла как бы ошеломленная, а потом встряхнулась, завиляла хвостом, залаяла.

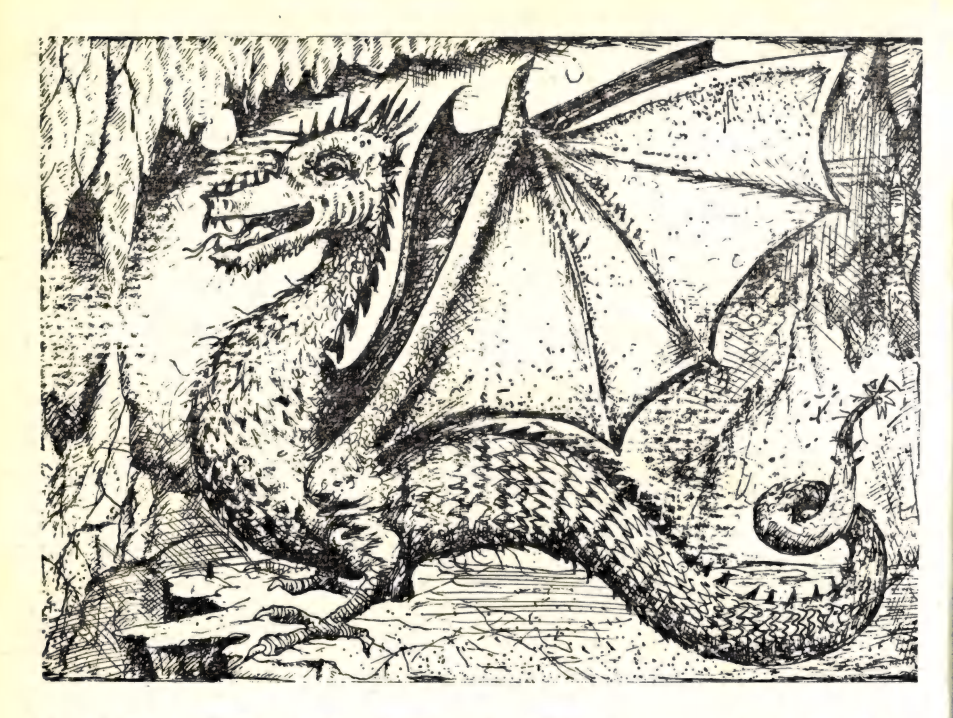
— Ну, конечно, только разумные феиды могли придумать предосторожности, чтобы живое существо не погибло при формировании.

Я не сдаюсь:

— Это просто свойство жизни, Гэтта. Феерические минералы создают точную копию животного. Но точная копия живого способна жить. Как только возникает мозг, он сигнализирует сердцу, сердце качает кровь и прогревает все тело.

— Гэй, не так просто. Минералы не могут знать о мозге и сердце. Ведь заказчик воображает внешний вид собаки: мокрый нос, висячие уши, лохматый хвост. Никто не думает о ее мозге и сердце. Феиды создают даже то, о чем заказчик не помышляет.

Однако Рэй вспоминает, что феям удается не все. Забавляясь, Тэй и его друзья пробовали творить сказочные чудища: пятиголового пса, огнедышащего дракона, сказочного тяни-толкая. Но страшный пес, лохматый, клыкастый и красноглазый, лежал словно тряпка, парализованный. Его единственное сердце не сумело обеспечить кровью пять мозгов. Огнедышащий дракон сдох немедленно, спалив



себе глотку, а тяни-толкай провел сутки, вертясь волчком в безнадежных попытках забодать передней головой заднюю, и погиб от заворота кишок.

Младший астроном, самый романтичный из четверых, заказал живого ангела. Как и полагается ангелу, это было бесполое миловидное существо с локонами, в длинной рубахе и со снежно-белыми крыльями. Летать ангел не сумел: крылья оказались бутафорскими. Трое суток он плакал крупными слезами, попрекал астронома, потом, к счастью, дематериализовался. Все создания фей были временными, в пещере они исчезали через три дня. Чтобы сохранить, нужно было или подновлять заказ, или вытаскивать срочно за пределы пещеры.

Выходит, что феи выполняли любые задания, но формально: выдуманные организмы оказывались нежизнеспособными.

И бездействовали невежественно задуманные конструкции. Можно было заказать киноаппарат, но без ленты он не показывал ничего, а кинофильмы феи не делали самостоятельно. По первому же слову «Да будет свет» феи зажгли дуговые лампы под сводом, однако через несколько секунд лампы померкли и не загорелись, пока заказчики не добавили: «Да будет проводка, да будет генератор тока с движком, да будет бензин в баке движка!» И в дальнейшем надо было напоминать: «Да будет полон бензиновый бак!» Сами по себе, без подсказки, феи не делали ничего.

Если же заказчик не знал, как устроена машина, ему выдавалась форма и более ничего. Доктор попросил телескоп, чтобы увидеть родной дом. Феи изготовили гигантскую трубу, побольше фабричной, с окулярами, сервомоторами, пьедесталом и куполом. Но планета Йийит не была видна в окуляр, а когда доктор увеличил линзу, труба рухнула от собственной тяжести. Феи сделали то, что доктор представил себе, но представил он неработоспособный телескоп.

— Слушай, Рэй, ты не слыхал, какая была анатомия у ангела? Пусть крылья нелетающие, но должны быть все-таки кости, мускулы и сосуды. У птицы крылья вместо рук, а тут вместо чего?

— Нет, Тэй ничего не говорил...

— Надо будет попробовать, ребята. Закажем феям ангелочка?

— Спать, спать пора, кончайте трёп, через полчаса ночь!

И мы торопимся в постель, чтобы хотя бы заснуть при нормальной тяжести, ибо в полночь автоматы включат ускорение 2 g, на каждого из нас навалится второе «я», под его грузом будешь кряхтеть до утра, а потом с утра до вечера — под удвоенным грузом ящиков.

Баллоны, мешки, тюки, аппараты, агрегаты, бутыли... Ящики, ящики, ящики, оказавшиеся не на месте, брошенные как попало при срочной погрузке, некомплектные!

Наконец-то из всего этого хаоса стали вырисовываться самые необходимые для нас приборы. Недели три прошло, прежде чем осветился экран радиотелескопа. И тогда мы увидели самое важное для нас: радиозвезду в зените — «Паломник». Двадцать шесть световых суток было до него. На самом-то деле мы видели не «Паломник», а его свет, вышедший давным-давно, недели три назад. Но так или иначе, уверенно шли по следу. В космосе не спрячешься же, там нельзя завернуть за угол. Нет углов, пустота. И вообще, ракета не приспособлена к зигзагам. Описывает плавные кривые, и чем выше скорость, тем меньше кривизна.

А еще через несколько дней Рэй заметил, что сияние «Паломника» мигает, временами становится прерывистым, как будто двигатель работает с перебоями. Причем вспышки были неравномерными, длинными и короткими, словно знаки телеграфной азбуки: точки и тире. Рэй записал эти точки и тире, подставил буквы, и получилась осмысленная радиограмма: «Рэй, любимый, ты ли это? Отзовись! Отзовись! Целую тысячу раз. Отвечай нашим шифром!»

Любовь или провокация? Джэтта радирует или ее хитрый отец? Мы собрали совет, целый вечер спорили, стоит ли отвечать? На шифр-то мы не надеялись, шифр у Рэя с Джэттой был самый примитивный, детский, каждая буква заменялась следующей по алфавиту. Но в конце концов мы решили, что ничем не рискуем, отвечая. Все равно на «Паломнике» известно, что кто-то их преследует. Рэй преследует или другой кто, разница для них не велика. Если же Джэтта радирует по своему почину, это может быть полезным для нас, упускать такой случай не стоит.

И с общего разрешения Рэй ответил таким же способом, прерывая работу фотонного двигателя: «Любимая, это я, твой Рэй». На их шифре получилось: «Мявйнба, юуп а, угпк Сюк».

Долго мы еще дразнили его: «Сюк-Сюсюк».

Для космических просторов даже радиопочта непомерно медлительна. Месяцы надо ждать влюбленным, чтобы получить ответ. К счастью, Джэтта удовлетворялась монологами. Уверенная, что за ней спешит Рэй и никто другой, она продолжала изливать свою душу в пространство. Каждые три дня, видимо, дежуря, Джэтта наводняла космос радиокриками о своих чувствах. Впрочем, через некоторое время мы получили и важное практическое предупреждение: «На вашей трассе газовое облако, обходите его правее!»

Газовое облако для звездолета хуже, чем пулеметный обстрел для автомашины. При космических скоростях каждый атом превращается в пулю, и особо зловредную — радиоактивную. Если же атомов много, ни магнитная защита, ни вакуум-защита, ни броня не спасают от лучевого ливня. Опять мы собрали совет и спорили битый час: любовь или провокация? Послушаться или поступить наоборот? «Паломник» шел несколько правее, не было ясности, где газ: на его пути или на нашем? В конце концов мы решили, что меньше рискуем, следуя за ним в кильватере. Если Джэй прошел по какой-то траектории, значит, она проходима.

Мы отвернули слегка и не пожалели. Локатор нащупал слева от нас плотное сгущение межзвездного водорода. Если бы пронизывали его в лоб, без лучевого поражения не обошлось бы.

После этого мы поверили в Джэтту, даже установили круглосуточное дежурство. Радиосюсюканье увеличилось вчетверо, когда ответ возлюбленного Сюка дошел до Мявйнбы. Излияниями переполнился весь космос. Мы узнали, что соперник Рэя — противная заносчивая тумба, что стальные руки Рэя обнимают Джэтту каждую ночь во сне, и еще ряд подробностей, о которых не принято говорить вслух, не то что радировать. Впрочем, если подслушивать лепет влюбленных некрасиво, обсуждать тем более. Ничего не поделаешь, дежурные вели журнал и записывали все сообщения Джэтты, в том числе и интимные. И в потоке сентиментальной болтовни мы чуть было не пропустили важное предупреждение: «0,5 *с* — опасность!»

Как раз в это время «Паломник» преодолевал 0, 5 *с* — половину скорости света. Мы все еще отставали, у нас было 0, 33 *с*, так что разрыв пока увеличивался. Но разница между 0, 33 и 0, 5 *с* уже не принципиальная. Мы надеялись вскоре овладеть и первой производной, превзойти «Паломник» в скорости, и тогда уж...

И тут радиозвезда в зените исчезла. Что это могло означать? Только одно: на «Паломнике» выключили двигатель. Авария. Ура! У них кризис, они не наращивают темп, мы скоро догоним их по скорости, начнем сокращать разрыв!

Мы устроили праздник по этому поводу: дали себе передышку — целый день нормальной тяжести! И девушки затеяли торжественный ужин, а после него танцы; и на танцы их хватило! А после был нормальный сон до утра, без двойника, навалившегося на одеяло. Наутро встали все розовощекие, веселые, отоспавшиеся, даже рабочую перегрузку встретили шуточками.

Только Рэй ходил бледный и мрачный. Мы все приставали к нему: «Сюк, тебе не приснилось ли что-нибудь скверное? Может быть, Джэтту замуж выдавали во сне?»

Оказывается, в самом деле приснилось.

После завтрака он зашел ко мне в аппаратную, помялся, потрогал рукоятки без надобности и выдавил наконец:

— Гэй, я тебе одному скажу, только не насмехайся. Я действительно видел сон, три раза подряд одно и то же. Видел центральный коридор «Паломника», двери, двери, и в каждой любопытствующая морда. И Джэтту тащат куда-то, она отбивается и кричит: «Рэй, спаси, спаси!.. И потом она лежит в гробу, рот полуоткрыт, а глаза смотрят с мольбой. Гроб странный какой-то — стеклянный, а венков нет совсем. На гроб надвигается черная крышка, медленно ползет, закрывает шею, рот, глаза... А глаза смотрят с мольбой и болью. И как шелест: «Рэй, прощай!» И чей-то голос холодный и жесткий: «Ну и пусть! Для нас она все равно потеряна».

Я попробовал отшутиться, дескать, по бабушкиным приметам сны надо понимать наоборот: деньги к слезам, а слезы — к деньгам. Рэй обиделся:

— Чуткости у тебя ни на грош! А все хвалишься: «Я о несчастных, я для несчастных!» Там же авария — на «Паломнике». Джэтта в опасности, в смертельной, возможно.

Так что мне пришлось сменить пластинку, доказывать, что сон никак не может оказаться пророчеством. Во-первых, авария была фактически месяц назад, едва ли пророческие сны придерживаются скорости света. А во-вторых, стеклянный гроб и борьба в коридоре едва ли соответствуют аварии. При катастрофе могут быть ожоги, травмы, но никак не стеклянные гробы. Стало быть, как ни верти, сон лживый, и незачем придавать ему значение. И вообще, за это время аварию, наверное, уже ликвидировали...

Вот тут, к сожалению, я оказался прав. Прошло несколько дней, и опять зажглась радиозвездочка в зените. Преодолели кризис, снова начали разгоняться. Так что не успели мы отобрать у них первую производную. Правда, приблизились вплотную по цифрам: у нас — 0,44 *с*, у них — 0,51 *с*.

А затем и Джэтта подала голос. Пришло послание, короткое и не очень внятное:

«Подозревают. Никогда никого другого. Буду в эфире редко. Принимайте ледотаин. Беда!»

Странным показалось нам это все. Какая беда? Подозрения —

это беда? И почему ледотаин? Мы знали, что такое ледотаин: химическое вещество, жидкость, мутно-голубоватая, которой поливают лед в портах, чтобы весной таял быстрее. Я видел, как это делается. Устанавливают дождеватели, такие же, как на огородах: облитый лед становится серым, мутноватым, рыхлым, постепенно распускается, словно сахар в горячем чае; из-под белых полей проглядывает дымящаяся на морозе мрачно-свинцовая зимняя вода. Но нам-то к чему ледотаин? Как лекарство его никогда не прописывают. Может быть, Джэтта ошиблась? Следовало читать: «применяйте», а не «принимайте»? Но где применять? Стенки у нас промерзнут, что ли? Непонятно!

Однако объяснение мы получили. И быстро. На следующее утро.

Меня разбудили тревожные восклицания. Заставил себя проснуться, рывком усадил на койку свои восемь пудов, разлепил глаза... и глазам не поверил. Бело было в комнатке, все стены и потолок покрыты инеем. Глазам не поверил, потрогал рукой. След пятерни остался, а холода не почувствовал, теплая была стена. Кинулся к умывальнику. На кране сосулька, в бачке игольчатый лед. Отломил сосульку — никакого ощущения холода, нормальная комнатная температура. И на градуснике плюс восемнадцать, как полагается.

Так повсюду: в баках, в баллонах, в трубах вода замерзла при плюс восемнадцати.

— Греть будем? — спросил Сэй Большой, всегда склонный к активным действиям.

— Обожди, надо разобраться. Не эффекты ли это релятивизма? Давайте попробуем сбавить скорость. Пожертвуем деньком для ясности.

И мы попробовали. Развернули корабль кормой вперед, сменили знак у второй производной, сбросили сотую долю c. И что же? Через какой-нибудь час иней исчез сам собой, растворился, как дымка; сосульки изошли слезой и отвалились от кранов, в трубах заурчала вода.

Задним числом-то мы нашли объяснение. При субсветовых скоростях растет масса, массивные атомы менее подвижны, массивные вещества, как правило, легче замерзают, труднее тают. Всем же известно, что тяжелый лед тает при 3,8 градуса тепла. Задним числом все понятно. А вот теоретиков относительности гипнотизировали формулы, им все представлялось, что приращение массы — математическая абстракция, что оно не будет чувствительно для живых пассажиров. Масса растет, секунды убывают, время сокращается, а команда ничего не ведает. И никто не предупредил нас, Тэй не мог рассказать о чудесах с горячим льдом, он все экономил золото, вел ракету на дорелятивистских скоростях, ниже полусвета. На «Паломнике» же, позже мы узнали об этом, неожиданность чуть не обернулась катастрофой. Когда вода замерзла, они стали греть трубы, просто согревать, как Сэй собирался. И воду они оттаяли,



но себя подогреть не догадались. Между тем температура замерзания все поднималась и вскоре дошла до плюс тридцати шести. Тогда кровь начала застывать в жилах, тромбы возникали. И один из консультантов Джэя погиб от инфаркта, а у другого жена потеряла ногу. Тромб, закупорка сосудов, гангрена.

Мы, к счастью, спохватились вовремя. И даже ни одного дня не потеряли, потому что знали от Джэтты готовый рецепт лекарства: «Принимайте ледотаин». Посмотрели в химический справочник, составили препарат, приготовили, очистили, отфильтровали, подсчитали дозу... и в путь! Стало быть, есть выгода и в неприятном положении догоняющего. Идущий впереди прокладывает дорогу, и преследователь всегда знает, что здесь можно пройти. Кроме того, заранее предупрежден, где нужно остеречься... если его предупреждает хорошенькая союзница, конечно.

Рэй в ту пору ходил именинником, принимал от нас благодарности и поздравления. Гэтта сказала:

— Ах, Рэй, как хорошо, что ни одна девушка не может устоять перед тобой!

Я даже приревновал немножко. А бедная Джэтта в это время уже поплатилась за сочувствие к нам. Только мы не знали ничего, радиограмма еще не дошла, не преодолела дистанцию в световой месяц.

Но вот однажды радиозвезда начала мигать. Точки-тире и тире-точки складываются в буквы. И мы читаем:

«Эй, вы, жалкие космические улитки! Это я радирую, Джэй, самолично. Мне не нужны предатели на моем звездолете, и я выбрасываю в космос бывшую дочь, подлую изменницу Джэтту. Можете подобрать ее. Автомат ботика будет подавать сигналы SOS».

Все-таки, при всей своей жестокости, он не убил дочь, дал ей шанс на спасение, отправил к нам в малой посадочной ракетке, снабженной автоматической наводкой на цель и аварийной сигнализацией. Ничтожный, по правде сказать, шанс. Десятки световых суток было тогда между нами, это в сто раз больше, чем вся Солнечная система. Попробуйте найти ракету в сотне солнечных систем! Почти безнадежно.

Мы все сгрудились у вычислительной машины. Пока она там считала, помаргивая лампочками, прикидывали в уме и на линейках. Но как мы ни прикидывали, выходило, что Джэтта проведет в космосе месяца полтора, одна, без надежды на спасение. Бедняжка, хорошо еще, если она с ума не сойдет.

И еще я подумал — наверное только я подумал, расчетчик по профессии, логик по складу ума,— что Джэй отыграл у нас полтора месяца. Мы уже близки были к тому, чтобы перехватить первую производную, превзойти «Паломник» в скорости. Но теперь мы вынуждены заморозить темп. Если ботик был спущен, когда «Паломник» шел со скоростью 0, 53 *c*, значит, и подобрать Джэтту мы

обязаны на той же скорости, метр в метр. Каждый знает: столкновение даже при двадцати метрах в секунду — катастрофа для машины и пассажиров. Следовательно, через полтора месяца мы должны идти со скоростью 0, 53 *c*. А на «Паломнике» уже знают о погоне, времени терять не будут.

Ну и пусть! Наверстаем. Сначала будем жать что есть силы, нагоняя скорость, потом начнем снижать, тоже нажимая что есть силы, а когда поравняемся, выручим девушку, нажмем вдвойне. И обгоним все-таки подлого Джэя. Не уйдет!

И мы начали жать: 3 *g*; вес довели до десяти пудов. Сэю Большому до девятнадцати. Работу отменили всю, кроме самой необходимой, лежали и дышали. Сэтту от кровати к столу водили под руки, как старуху. Все мы выглядели стариками: щеки обвисшие, глаза подпухшие, походка шаркающая. И в голове мыслей никаких. Одна только, полусонная: «Где ракета Джэтты? Откуда приходит SOS? Надо бы посчитать координаты...»

Еще счастье, что аварийный сигнал поступал безукоризненно. Не будь сигнала, разве нашли бы мы ракетный ботик в черном космическом океане? Но сигнал не смолкал, и чем ближе, тем точнее получался пеленг. Когда расстояние сократилось до нескольких светочасов, некое тело в пространстве засек и наш локатор. С этих пор мы не выпускали его из креста нитей. Ближе, ближе, ближе! Между нами уже не световые часы, а световые минуты, а там и световые секунды. (Одна световая секунда — примерно расстояние от Земли до Луны.— *Примеч. автора.*) И вот настает торжественный момент, когда мы с Сэем Маленьким вдвоем садимся в нашу спасательную реактивную шлюпку. Я настоял, чтобы Рэй не поехал с нами. Коварный Джэй мог придумать какие-нибудь каверзы, требовалась величайшая осторожность и неторопливость, тут пылкий влюбленный был бы неуместен, рвался бы рисковать.

И вот мы подводим нашу шлюпку к шероховатому, изъеденному космической пылью борту бота Джэтты, присасываемся к шлюзу, через тамбур проникаем внутрь. Перед нами в гулком пустом помещении стеклянный бак на ножках, стеклянный гроб — иначе не назовешь. И в гробе том... спящая красавица!

Это поразило нас: какая красавица! Мы думали о Джэтте как о жертве, несчастной, замученной, ожидали, что встретим в каком-нибудь закутке одичавшую от одиночества, полубезумную женщину, распатланную, с седыми космами и потухшими глазами. А перед нами лежала в саркофаге золотоволосая наяда с точеным носиком и крохотными губками, с длинными ресницами, как бы нарисованными на стеариновом бескровном, неживом, но очень спокойном лице. Джэтта спала все эти недели, пока, волнуясь и надсаживаясь, мы спешили к ней. Гибель угрожала ей ежесекундно, но она проспала бы и свою гибель. И Джэтта спала, когда мы внесли ее в салон нашей «Справедливости». А когда пробудили, в точности следуя инструкции

(инструкция была приложена), и начерченные ресницы распахнулись, открыв зеленоватые глазищи, томный голос проворковал:

— Рэй, ты опять снишься мне? Не уходи, пожалуйста. Я не хочу просыпаться.

— Вот это настоящая любовь! — вздохнула Сэтта.

Праздничный был момент, вероятно, самый радостный после старта. Приятно спасти живое существо от гибели, спасти настоящую любовь, увидеть сияющие, совершенно счастливые глаза товарища, хмельного от радости, растерянного, поглупевшего. И слышать девичью суету вокруг влюбленных: «Ах, свадьба!.. Ах, не по правилам!.. Ах, мне нечего надеть!.. Ах, что мы приготовим, что на стол поставим? Сервировки нет никакой!.. Сэтта, ты ночуй в лаборатории, пусть у невесты будет отдельная комната!.. Ребята, распределите между собой дежурства, Рэя нельзя тревожить!.. Гэй, а ты возьми на себя расчеты. Рэй не может считать, у него медовый месяц...»

Девушки суетились и щебетали, ребята дежурили, я рассчитывал трассу, делал штурманскую работу Рэя. И может, потому я первый понял, какого троянского коня подослал нам Джэй.

Не верьте ходячему лозунгу: «С милым рай и в шалаше». В шалаше тесно, сыро, холодный ветер дует в щели, можно простудить ребенка. Подлинная мечта девушки — это любовь принца. Пусть милый совершит чудеса геройства, чтобы вызволить меня из дома черствого отца, и отведет в свой дворец, а не в шалаш.

Геройство было налицо. Во всяком случае, наш полет Джэтта воспринимала так: Рэй снарядил корабль для того, чтобы догнать и отбить любимую. И отбил... Но дворца не было явно. Наша старая чиненная калоша выглядела шалашом даже по сравнению с «Паломником». Там Джэтта была дочерью короля, владела апартаментами в три комнаты, три кибергорничные убирали их. В распоряжении принцессы был рояль, набор пластинок, кинолент и двадцать четыре часа в сутки, чтобы лелеять собственную красоту и вздыхать о любви. Временно, ради медового месяца, мы могли разрешить ей безделье, хотя это и было несправедливо по отношению к нашим девушкам, замученным вечным напряжением и перегрузкой, поблекшим от усталости. Но мы никак не могли предоставить дворец Джэтте, хотя бы содержать ее в приличных условиях. Для приличных условий нужна прежде всего нормальная тяжесть, а мы жили при 2—3 g. Ведь перегрузка была нашим единственным козырем в гонке с «Паломником».

И вот началась подспудная борьба почти с первого часа. На словах-то все соглашались, что перегрузка необходима. Но Джэтта жаловалась молодому мужу на недомогание (вообще-то она считала, что его задача выполнена и надо поворачивать домой на Йийит), и смущенный Рэй говорил:

— Я прошу вас, ребята, повремените. Дайте Джэтте прийти в себя.

— Да-да, повременим, она столько перетерпела, бедняжка, ей нужен отдых,— подхватывала Сэтта.

А в сущности, от чего отдыхать? Ото сна?

Но не хотелось быть бесчеловечными, как Джэй. Мы дали себе поблажку: три свободных дня в нормальных условиях, потом добавили еще два дня на свадьбу, потом определили скромненькую полуторную перегрузку, и только на ночное время. А у Джэя скорость по расчетам уже дошла до 0,67 *с* (у нас — 0,53 *с*), и он оторвался на сорок световых суток.

— Перегрузка необходима, безусловно,— говорили наши девушки.

И говорили искренне, думали так же. Однако чувствовали иначе, примерно в таком духе: «Мы тоже молоды и миловидны, можем и должны нравиться. Но Джэтту молодой муж бережет, пылинки сдувает, а наши мальчишки черствы, погрязли в бездушной математике, нас не жалеют совсем, замучили непосильной работой. Дайте нам передышку, мы будем выглядеть не хуже этой холеной красавицы. Ведь у нас заслуг больше, больше прав на уют и любовь».

Повторяю: они не говорили, не думали, но чувствовали так. И однажды Гэтта пришла ко мне в аппаратную; здесь между приборов, рычагов и пультов, в атмосфере, насыщенной озоном и машинным маслом, состоялся у нас неожиданный разговор:

— Сэтта просила меня поговорить с тобой.

— Сэтта? У нее своего языка нет?

— Она смущается. Как-то неудобно объяснять, что хочется выйти замуж.

— Она собирается замуж. За кого?

— За Сэя Верхнего, конечно.

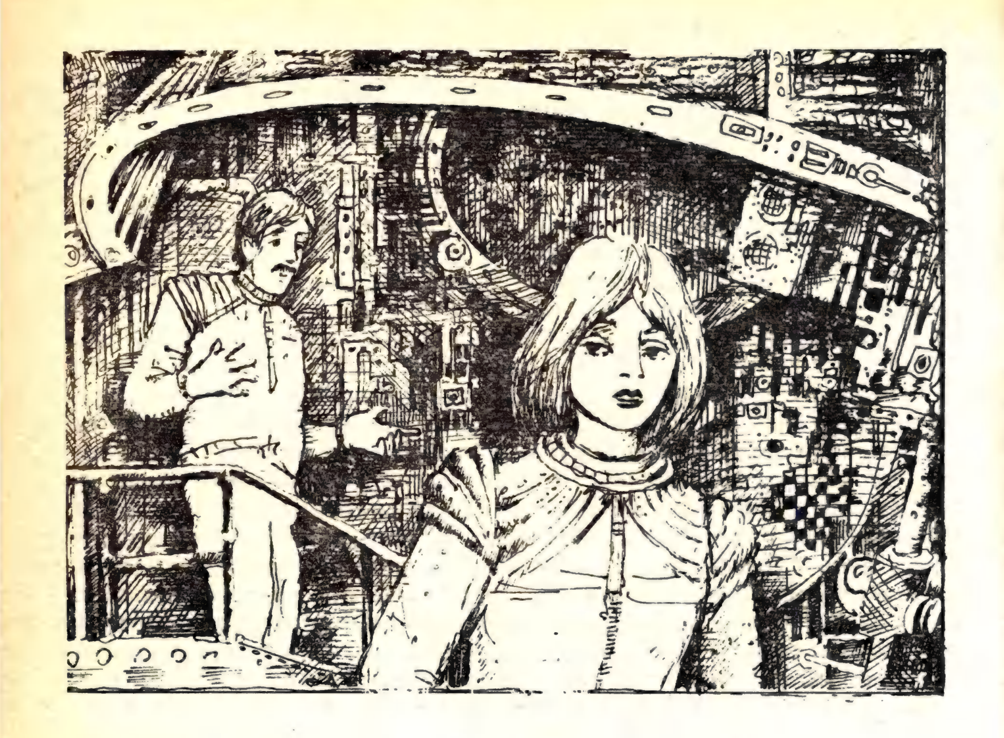
«Вот как, за Верхнего?» Я знал, что оба брата добиваются любви Сэтты, и был уверен, что она предпочитает Нижнего, Сэя Большого, настоящего мужчину, колосса с чугунной грудью и вздутыми бицепсами, силача, который шутя держал брата на вытянутых руках. Но вот поди ж ты, статуя понравилась ей больше пьедестала. Мы живем в век торжествующего ума. Сэй хитрый победил Сэя могучего, разговорчивый — делающего. А может быть, тут влечение противоположностей? Сэтта крупная, рыхловатая, малоподвижная, вот ее и увлек жилистый, верткий Сэй Верхний.

Но все эти рассуждения я оставил при себе. Вслух сказал:

— Ну пусть выходит. При чем тут я?

— Мы же все давали клятву не любить, пока не победит справедливость. Но до победы еще так далеко! И время не сокращается, как полагается по теории относительности. Сэтта не может ждать... Но она боится, что ты будешь стыдить ее.

— Нет, почему же? Я не буду стыдить, конечно. Нельзя заставить не любить. Сэтта давала слово и может взять слово назад. Это вопрос личной совести... твердости характера тоже.



— А ты, Гэй, не проявишь слабохарактерность?

Вот столько лет прошло, а сейчас помню взгляд Гэтты. Необыкновенные были у нее глаза, выразительности потрясающей. Целая речь в одном взоре. И никогда она не смотрела так на меня, ни раньше, ни после. Взгляд был теплый, и влажный, и глубокий... зовущий... нет, задорный, дерзкий и ласковый. В нем вызов был: «А ну-ка покажи, чего ты сто́ишь, на что способен!»

Но зачем она произнесла это слово — «слабохарактерность»? Я клюнул на него, как голодный карась на червячка.

— Гэтта, ты в меня веришь? — сказал я напыщенно.— Слово Гэя стальное (О, пустоголовый идиот этот Гэй!). Дай руку, товарищ, мы с тобой выполним клятву до конца.

И потом я еще добрый час пыжился, вздыхал, набирал полную грудь масляных паров, все мечтал о тех временах, когда обет будет выполнен, придет час для личных чувств. И еще бил себя кулаком по голове, вслух кричал:

— Рано, рано размечтался, остолоп! Делом надо заниматься, делом! Гони любовь из головы. Других забот нет, что ли?

Забот было полно, в самом деле. Все складывалось сложно, гораздо сложнее, чем рисовалось на Йийит, до старта.

Я представляю себе, что изобретатель воздушного шара, простегивая полотнища своего корабля, воображал себе такую картину:

«Вот сошью я шар, надую газом, и поднимет он меня выше колоколен, выше холмов и самых высоких гор, все выше и выше, пока я не долечу до Луны, осмотрю ее...» И не ведал, что его ожидает холод леденящих высот, разреженный воздух, горная болезнь, азот, закипающий в крови, потеря сознания, а в финале — безвоздушное пространство, где любой газ окажется тяжелее вытесненного им объема. И шар перестанет подниматься, хорошо еще, если не лопнет.

Мы пустились в путь, рисуя себе примерно такие же благополучные картины. Нас благословляла формула, где все получалось так гладко и славно: скорость будет расти, масса тоже, а время укоротится, пять световых лет превратятся в каких-нибудь полтора года. Глядь, перед нами пещера Фей, исполнение желаний, победоносное возвращение.

Возможно, так оно и получилось бы, будь мы не живыми йийитами, а какими-нибудь маятниками, лучше бы даже электрическими, а не механическими. Маятник стал бы массивнее, качался бы медленнее, качаний меньше...

Действительно, масса возрастала. Но мы это замечали, мы ощущали массу как прибавку к весу, как добавочную перегрузку. Мы и до сих пор перегружали себя двойным ускорением. Теперь к двойному ускорению прибавлялся избыток массы; перегрузка стала невыносимой. Ускорение пришлось снизить. К счастью, на «Паломнике» тоже снизили — до 0,8 *g*, потом до 0,6 *g*.

Возросшая масса затрудняла нам все движения. Труднее стало перемещать предметы, медленнее перемещались мы сами. Мы двигались медлительнее, но не воспринимали это как укорочение времени. И начали понимать, что до пещеры Фей не приведенных полтора года пути, а полновесных шесть в один конец и столько же на возвращение. Возможно, скоропалительная свадьба Сэтты и объяснялась этим разочарованием. На двенадцать лет Сэтта не могла отложить семейную жизнь.

Почему получилось так непросто? Не знаю. Думаю, что виновата сложность нашего организма, он у нас не чисто механический, а механо-термо-хемо-электро-радио-нервно-психологический. И все составляющие этого длинного слова изменяются по разным законам. При том же играет роль прерывистость, этакая ступенчатость, свойственная природе.

Математика любит плавные кривые, природа предпочитает ступени: пороги при переходе жидкого в твердое, дня в ночь, жизни в смерть. Так вот эти пороги перемещались вразнобой. На один из них мы наткнулись, когда у нас замерзла вода при плюс восемнадцати. В дальнейшем могла замерзнуть и кровь. Спасибо Джэтте, она предупредила своевременно. Но теперь предупреждать было некому. Сам я ломал голову, стараясь угадать, какой порог следующий.

Масса крови растет, движение замедляется, но запас энергии

неизменен. Значит, с теплом благополучно, мы не закоченеем ни в коем случае.

Но вот что изменяется: количество крови, притекающей в клетки. Кровь движется медленнее и меньше переносит кислорода. Нам угрожает подобие горной болезни: вялость, головокружение, тошнота, потеря сознания, в конце концов.

Допустим, мы справимся с этим, постепенно заменяя нормальную атмосферу чисто кислородной. Только не забыть бы о пожарной опасности. Что еще?

Кровяное давление. Массивная кровь сильнее давит на стенки сосудов. Мы все постепенно становимся гипертониками. В перспективе разрывы капилляров, подкожные кровоизлияния, кровоизлияния во внутренние органы, в сердце и в мозг. Инфаркты! Инсульты!

Чем предупреждать? Невесомостью. Но невесомость — это отказ от приращения скорости, от борьбы с ускользающим «Паломником». Есть ли другой выход? Сон. Временное прекращение жизни. Но кто будет управлять ракетой, пока мы будем спать?

В одиночку терзался я этими страхами. Слушать меня не хотел никто.

— Что ты пугаешь сам себя? — говорили ребята.— Посмотри на «Паломник». Идет себе благополучно. А у них ведь скорость выше нашей.

И напрасно твердил я, что мы их обгоним когда-нибудь. Тогда станем впереди идущими, невольными испытателями. На себе будем опыты ставить, пробовать, никто не предупредит нас о неожиданностях.

— Когда обгоним, там будет видно,— отвечали мне.— Пока что просвет растет.

Не с кем было посоветоваться. Молодожены, обе пары, были заняты друг другом. Сэй Большой стал почти невменяемым после свадьбы, сходил с ума от ревности, просто опасались мы, что он в припадке ярости пришибет брата или новобрачную. Впрочем, Сэй Нижний никогда не был мыслителем, я на него и не рассчитывал. Гэтта почему-то избегала меня после того разговора о твердых характерах. И остался у меня один Пэй, мой верный друг и оруженосец со школьной скамьи.

Но у Пэя — даже у Пэя — свои недостатки, те самые, которые являются продолжением достоинств.

Пэй идеальный помощник. Он исполнителен, точен, трудолюбив, вынослив и бескорыстен. Положиться на него можно всецело, если знаешь, что положить. Но Пэй по натуре религиозен, а это недопустимо для конструктора.

Нет, в бога он не верит, конечно. Пэй религиозен по натуре, а не по взглядам. Он не верит в бога, но верит в гениев. Верит, что есть на свете умные люди, которые по-мудрому выбирают самых умных — докторов наук, а те выдвигают из своей среды мудрецов



в академики, что самые сверхмудрые из всех пишут монографии, а наше скромное дело — читать, запоминать и повторять, в лучшем случае — дополнять по мелочам. Поэтому, когда беседуешь с Пэем, кажется, будто ты сидишь в библиотеке и перелистываешь справочник.

В тех же редких случаях, житейских преимущественно, когда в памяти Пэя нет руководящей цитаты, он верит в меня. И это еще хуже. Это уже не библиография, а мистика какая-то, беседа с зеркалом наедине.

— Разве ты думаешь, что на «Паломнике» готовят погружение в сон? — вот первый вопрос, который я услышал от Пэя.

— А ты разве думаешь, что мы во всем должны подражать «Паломнику»? Как же мы обгоним, если будем подражать?

— Но Джэй собрал у себя лучших ученых планеты. Если они не планируют сон, значит, сон и не нужен.

— Они планируют сон,— заявил я с деланной уверенностью.— История с Джэттой — прямое доказательство. Ведь вся эта автоматика не создавалась же срочно, специально для Джэтты, чтобы наказать ее за тайную связь с нами. Видимо, технология усыпления была разработана на «Паломнике», подготовлена и при случае ее испытали на Джэтте. Возможно, сейчас все паломники уже погрузились в сон, мы только не узнали еще. И нам нужно готовиться

тоже. Как? Скопировать хотя бы стеклянный гроб Джэтты.

Мы с Пэем распределили обязанности. Он разбирается в схемах, я привязываю эти схемы к возможностям наших мастерских, и оба мы изготовляем копии стеклянных саркофагов для гипотермического сна.

Прошло не так много времени, одно из моих предположений оправдалось. «Паломник» исчез из виду. Что это могло означать? Только одно: снова кризис, двигатель включен, скорость невозможно прибавлять, наткнулись на некий порог.

Но через несколько часов радиозвезда «Паломника» снова замигала. Мы получили радиограмму такого содержания:

«Капитану Рэю от капитана Джэя.

Дорогой зять! Поздравляю со свадьбой, желаю счастья тебе и дочери. Я проверил и оценил твою храбрость, а теперь хотел бы проверить и разум. Ты должен понять, что у вас нет ни единого шанса обойти мой корабль. Нет смысла истощать обе команды напряженной гонкой, и потому мы предлагаем мирное соглашение: нам, как первооткрывателям, три четверти пещеры, вам — одна четверть, и можете делать с ней что хотите, использовать или выламывать и вывозить. Лягу в дрейф, как только увижу, что вы легли в дрейф. Выключение двигателя считаю согласием».

Мы обнимались, крича: «Ура! Они струсили». Мы изощрялись, придумывая едкий ответ, например: «Охотно возьмем вас на буксир». Или: «Арестуйте Джэя и поворачивайте домой!» Или: «Встретим в пещере подарками». Однако в конечном итоге склонились к суровой простоте, ответили: «Нет! Нет! Нет!»

Вероятно, Джэй догадался, как мы ответим, потому что, не дожидаясь нашей радиограммы, сутки спустя «Паломник» замигал снова:

«Дорогой зять! Возможно, наше мирное предложение ты счел признаком слабости. Но не обманывай себя пустыми надеждами. Ты же видишь, что двигатель работает снова и мы набираем скорость. Наш ученый совет обеспечил наращивание скорости вплоть до третьей девятки (то есть до 0,999 c). Вы никогда не обгоните нас...»

Еще несколько передач было в том же духе. Мы регулярно отвечали: «Нет, нет, нет!» И в стандартных радиосигналах невозможно было почувствовать — даже я понял не сразу,— что в наших «нет» было все меньше уверенности. Чтобы заметить это, нужно бы наблюдать нас со стороны изо дня в день.

Вот сидим мы за ужином — семь замученных, отяжелевших от усталости существ в одинаковых сизо-голубых комбинезонах и одна элегантная дама в белом атласе с гипюром — Джэтта. Мы вымотаны, тяжко дышим, лениво ворочаем челюстями. Разговор ведет Джэтта.

— Вам нравится мое платье, девочки? К сожалению, я не успела спороть кружева. Кружева выходят из моды, последний шик —

это отделка натуральным мехом. Гарнитур в одной тональности: черный бархат с чернобуркой, белый атлас с горностаем. Сдержанность — признак утонченного вкуса. Я обязательно закажу феям отделку из горностая.

Я смотрю на Рэя выжидательно. По-моему, он, а не я должен воспитывать свою принцессу, внушать ей, что мы летим не за нарядами для наших жен.

И тут слово берет Сэтта:

— Ах, миленькая, у каждой свой стиль. Я брюнетка, мне к лицу яркое. Лично я возьму что-нибудь броское: скажем, терракота с отделкой из рыжей лисы. Два хвостика крестом на груди.

Кто же кого перевоспитывает в нашем корабле?

— «Не думать о себе, не учиться, не любить... Для всех, для всех, не для себя...» — напоминаю я слова клятвы.

И ожидаю, что меня поддержат мужчины. Но они принужденно молчат. Прячут глаза. Всем неловко, как будто я сказал какую-то банальную пошлость. После долгой паузы Гэтта открывает рот:

— Гэй, нельзя быть таким ортодоксальным, таким неуклонно правильным двадцать четыре часа в сутки. Женщина несчастна, если хотя бы полчасика в день она не проводит перед зеркалом.

Я молчу потрясенный. Не слова Гэтты поражают меня, а тон: не дружески-насмешливый, не шутливо-кокетливый, а раздраженный. Гэтта сердится на меня. За что?

За что Гэтта сердится? Невольно я думал об этом, ворочаясь, и думал днем во время работы, монтируя очередной гипотермический саркофаг, четвертый по счету.

— Почему ты не возражал Гэтте? — сказал я Пэю.— Что это за фигура умолчания? Разве я единственный помню цель полета?

Друг мой тяжко вздохнул, набрал полную грудь воздуха, как будто собрался нырнуть:

— Гэй, мне надо поговорить с тобой.

— Здрасте! А чем мы занимаемся сейчас?

— Нет, поговорить принципиально. Есть обстоятельства, Гэй, когда трудно сохранить объективность... Впрочем, я надеюсь, ты поймешь меня... и это не помешает нам в дальнейшем... как и в прошлом, сохранить, одним словом... Понимаешь, что, живя столько времени рядом, не мог же я остаться равнодушным... Тем более что ты обращал мое внимание на достоинства и сам виноват отчасти, поскольку я не мог не прислушиваться и не согласиться в конце концов...

— Остановись, Пэй, тебя что-то заносит на обочину. Ты запутался во вводных предложениях. Вздохни еще раз, соберись с мыслями. Вспомни суть. Теперь излагай. Суть в том, что...

— Суть в том, что я полюбил Гэтту и сделал ей предложение.

— Ишь ты какой храбрый! — Не принимал я всерьез мое зеркало.— А она что?

— Она согласна. Завтра свадьба. Все уже знают, кроме тебя.

— Что? Что-о-о?

Я без стука ворвался в комнату девушек. Кто-то, взвизгнув, скрылся под одеялом...

— Гэтта! — заорал я.— Это недоразумение! Ты же знаешь, что я люблю тебя, мы любим оба, всегда любили. Не делай глупости со зла, от нетерпения, от дурости. Опомнись, Гэтта, нельзя быть женой кого попало: тени, зеркала, библиографического справочника. Гэтта, одумайся!

И вдруг я захлебнулся, увидев ее глаза, такие усталые, такие грустные и... спокойные.

— Не кричи, Гэй, не кипятись,— сказала она.— Нет никакого недоразумения, все продумано и прочувствовано. Верно, я любила тебя прежде, но очень устала любить. Ты трудный товарищ, Гэй, неприятный даже со своей рациональной одержимостью. Ты смотришь поверх головы, в далекие дали, озабочен делами всех народов планеты и не замечаешь живущих рядом, для близких тебе не хватает тепла. Тебе в жены нужна какая-то сверхгероиня, полная самоотречения, готовая любить, ничего не получая взамен, такая, чтобы взвалила себе на плечи все заботы обоих, стояла бы на страже при твоей персоне, грудью прикрывала бы тебя от мелкой житейской ряби. А я? Я обыкновенная девушка, хочу внимания и ласки, не согласна быть третьестепенным придатком мужа, хозяйственной деталью его славной биографии. И не согласна ждать десять лет, пока он соизволит заметить, что я уже увяла, старею, пока соблаговолит жениться на мне из жалости и чувства долга.

— Гэтта, все это ерунда! Ты устала, у тебя минутная слабость. Опомнись! Если только есть любовь...

— В том-то и дело, что любви нет, Гэй. Была, а теперь нет. И прошу тебя, не устраивай сцен. Посторонись, дай дорогу моему будущему мужу. Пэй, не надо сжимать кулаки, меня не придется защищать. Вот Гэй уже успокоился. Ты слышал, Гэй? Выйди за дверь, я тебе сказала.

Подлая, подлая, подлая! Изменница! Джэй в юбке! Хаффат!

А Пэй-то хорош! Верный друг, опора и зеркало! Ну почему, почему он влез между нами со своей любовью? Собственного мнения нет, собственного вкуса нет, мой позаимствовал. Этакий подсознательный комплекс: подражатель завидует своему образцу; отбить у образца невесту — значит превзойти, отомстить за превосходство. Старинная сказка: тень побеждает и губит своего хозяина.

Ерунда, ерунда, литературщина! Гэтта права: сам виноват, виноват сам. Верхоглядствовал, глаза уставил в бинокль и спот-

кнулся на первой жизненной кочке. Дали видел, души ближнего не принимал во внимание. Сам виноват, сам, сам, сам!

Ну вот и будь сам собой: личностью без личной жизни. Кажется, ты проверял блок управления термостата? И проверяй, будь добренький, проверяй со вниманием, пожалуйста! Омметрик к зажимчикам? Еще раз. Вот так, теперь наоборот. Сними показания, запиши в журнал для порядка. А что там сейчас в комнате Гэтты? Цыц, не смей скрежетать зубами! Там личность с личной жизнью, а ты безличная. Твое дело — цифры в журнале испытаний. Не в ту графу, идиот!

Слишком занятый собственными переживаниями, я избегал товарищей, не слышал их бесед и не замечал, как идет в умах брожение. И был поражен, когда однажды за ужином до меня донеслось воркование Джэтты:

— Мы с Рэем очень любим цветы, на всем участке у нас будут клумбы. Никаких ягодников и яблонь, ведь феи и так доставляют свежие ягоды в любое время года. В центре сада — куртина с крупными цветами: астры, георгины, гладиолусы и яркий бордюрчик — конечно, настурции или анютины глазки. Даже незабудки хороши на бордюре, они такие простенькие, непритязательные, стыдливо-наивные. Конечно, двадцать соток на семью — скромненький участок, особенно не развернешься. Но думаю, что папа не будет упрямиться, уступит нам не четвертую долю, а треть или даже половину.

Я был настолько взбешен, что орать не стал.

— Прошу объяснить мне, капитан Рэй, что происходит на вашем корабле,— начал я ледяным тоном.— Мне помнится, что мы радировали «Паломнику» совершенно решительно: «Нет, нет, нет!» Когда же было послано «да, да, да!»? И на какой стадии находятся наши дружеские переговоры с преступниками?

Уставив глаза в стол, Рэй мрачно ответил:

— Никто не ведет переговоров, Гэй, и не будет вести без твоего согласия. Мы просто обменивались мнениями, трезво оценивая реальную обстановку. Ты, Гэй, немножечко фанатик по натуре, ты склонен игнорировать реальные факты. А факты есть факты, хотя бы и неприятные. Мы гонимся за «Паломником» уже полгода. Мы перенапрягаемся, замучили себя, потеряли здоровье, а разрыв все увеличивается, и скорость у них все-таки выше... Увеличить же перегрузку мы не можем, мы и от нашей перегрузки больны.

— Вот именно,— подхватил Сэй Маленький, Сэй-молодожен.— Мы нуждаемся в отдыхе. Мы заслужили отдых, в конце концов.

— И ради отдыха хотите признать поражение, сдаться? — напирал я.

— Никто не говорит о сдаче, не передергивай, Гэй. Просто логика вещей ведет нас к какому-то компромиссу, хотя бы для того, чтобы

сэкономить силы для решающего броска. Так поступают велосипедисты на дальних дистанциях. Идут кучно, колесо в колесо, а на последнем километре делают рывок. Там уже выясняется, кто победит. Победитель диктует, второму волей-неволей приходится вступать в переговоры. И может быть, лучше договориться заранее о цене первого приза и второго.

— Вот именно,— сказал Сэй Маленький.— Важно проникнуть в пещеру, каким путем — не имеет значения. И нет греха, если мы поживем там полгодика в свое удовольствие. Разве мы не заслужили награду, в конце концов? Йийиты швырнули нас в космос, заставили отдуваться за всех и занялись собственными делами — вероятно, забыли давным-давно. Вернемся мы через двенадцать лет или через двенадцать с половиной — не составляет разницы.

— И ты решил вступить в переговоры, Рэй?

— Нет, не решил... Но похоже, что мы вынуждены. Логика вещей...

— Вступить в переговоры и поверить на слово Джэю, который обманул всех, помогавших ему, увел чужие деньги и чужие материалы, чужой труд оплатил дутыми акциями, пустыми обещаниями, он даже не собирался их выполнять. Поверить Джэю, который не остановился перед тем, чтобы собственную дочку выбросить в космос, почти на верную гибель. Да он пообещает вам что угодно: треть пещеры, половину, три четверти, а прибывши первым, закажет феям тысячу солдат, только вы и видели эту пещеру...

Кажется, в тот раз я переубедил товарищей, но ненадолго. На Джэя работала физиология. Мы устали, телу хотелось отдохнуть от перегрузок, и мозг, мнимый владыка тела, подыскивал подходящие оправдания для отдыха. Снова и снова слышал я все те же доводы: «Логика вещей... Трезвая оценка фактов... Цифры показывают... Вынуждены считаться...»

— У них собран цвет науки, лучшие ученые мира. У них обеспечены идеи для трех девяток.

— Разрыв все увеличивается. Полгода гонимся, не можем догнать.

— Хорошо, допустим, прибыв раньше, Джэй выставит у входа тысячу солдат. Ну а если мы прибудем раньше? На «Паломнике» двигатель на килограмм лучей в секунду. Джэй направит его на пещеру и пришлет ультиматум: «Сдавайтесь — или сожгу с феями вместе».

— И вы согласны капитулировать?

— Нет, но логика вещей...

Однажды к нам в аппаратную, где мы с моим счастливым соперником, не глядя друг другу в глаза, мрачно монтировали саркофаги, зашел капитан Рэй...

— Хочу познакомить тебя с одной тетрадкой,— сказал он, по-

кусывая губы.— Мне кажется, что твое... наше упрямство отчасти связано с недостатком информации. Вот тут Джэтта записала по памяти подробные рассказы Тэя. Ты прочти, как складывалось на самом деле пребывание в райской пещере.

Я прочел. Поскольку это был пересказ рассказов, я и не стараюсь сохранить стиль Джэтты, ее претензии на литературное изящество. Излагаю суть...

После третьего пира, когда еда чуть ли не из глаз сочилась, Тэй и его спутники занялись благоустройством. Палатку заменили сборным домиком, сначала двухкомнатным, потом пятикомнатным. Подвесили к своду пещеры сотню люстр. Заказали растительность: клумбы, ягодник, фруктовый сад и десять соток дикого запущенного леса. Выспались, нагулялись, налюбовались и заскучали.

Что бы придумать еще?

Ничего!

В самом деле: что хочется сытому, отоспавшемуся, одетому, обеспеченному, избавленному от всех житейских хлопот?

Видимо, нужны блага духовные, во всяком случае — невещественные: любовь, дружба, почет, слава, сила, талант...

А как выразить словами заказ на талант? «Феи, заверните мне, пожалуйста, полкило таланта».

Феи таких приказов не выполняли. Не понимали.

Врач, старший из четырех, естественно, раньше всего подумал о здоровье. С удовольствием он потребовал бы у фей молодость, но как объяснить им, что это такое, как овеществить, перевести на килограммы? Доктор попробовал заказать себе молодое сердце, но, видимо, не все слабости организма знал, не все учел; вероятно, нельзя было менять только сердце. У доктора начались головокружения, спазмы, обмороки. И он не понимал отчего. С трудом спас себе жизнь, потребовав прежнее сердце. Очевидно, оно было записано каким-то образом в архиве у фей, старое сердце вернулось со всеми своими невротическими болями, но доктор был рад, стал чувствовать себя привычно. А вот Тэя удалось излечить. В пути ему оторвало палец при мелкой аварии, теперь он потребовал новый. И получил палец, приехал с новым пальцем на Йийит, демонстрировал его медицинским светилам. Светила не нашли ничего патологического, но и доказательством не признали. Ведь не было свидетелей, видевших Тэя без пальца.

Любовь захотел материализовать молодой астроном. Вернее, не любовь, а наслаждение. Уединившись в дальнем углу пещеры, он завел себе целый гарем из разноцветных и разнокалиберных одалисок. Но темпераментные любовницы отравили ему жизнь. Скучая, они ссорились друг с другом, требовали, чтобы султан беспрерывно обнимал их или придумывал и заказывал у фей подарки, всем одинаковые и каждой — самый лучший. Юный многоженец решил (как жестокий шах из «Тысячи и одной ночи».— *Примеч.*

перев.) после ночи страстных объятий избавляться от возлюбленных, командовал феям: «Убрать!» — и те демонтировали очередную красавицу. На следующий же вечер, распаляя воображение, астроном придумывал красавицу другого типа. Придумывал и разочаровывался, придумывал и пресыщался. Пробовал он вызвать и ту единственную, о которой мечтал до отлета. Но та девушка отвергла астронома на планете Йийит, отвергла и в пещере копия, созданная феями, явилась равнодушная, холодная, насмешливая. Какой помнилась, такой и явилась.

Хуже всего получилось у того, кому не хватало в жизни почета.

Это был кладовщик экспедиции: император продовольствия, запасных частей и горюче-смазочных материалов. Правда, в пути он носил громкий титул заместителя командира по общим вопросам, и, поскольку капитан погиб, заместитель требовал теперь, чтобы его признали начальником. Требовал, хотя не способен был командовать. Исполнительный аккуратист, мелочно-заботливый, педантичный в отчетности, лишенный инициативы и воображения, он совершенно не годился для роли руководителя. Кладовщиком был великолепным, а командиром оказался тупым, упрямым и заносчивым. Его высмеяли и разжаловали, по предложению доктора объявили в феерическом раю республику четверых равноправных. Тогда мрачный кладовщик потребовал самоопределения, получил в свое распоряжение четверть пещеры и заселил ее покорными, раболепными слугами. Самыми раболепными были копии доктора, астронома и Тэя.

Но даже до ограниченного сознания честолюбца вскоре дошло, что он получает не почет, а суррогат почета. Созданные им псевдосущества повторяют его же слова, в сущности он сам себя хвалит перед зеркалом. Так что через несколько дней, разогнав сонм рабов, кладовщик вернулся в общий дом, вернулся злой, непримиримый, оскорбленный, вынашивая планы мести этим зазнайкам, узурпаторам пещеры, которой владеть и распоряжаться должен только он, законный заместитель командира экспедиции по общим вопросам.

Фантазия у него оказалась изощренная, времени на хитроумные выдумки хватало.

К сожалению, в мире фей завхоз обладал еще и могуществом. Он мог сказать: «Провалитесь вы все!» И ножки стульев, на которых сидели его недруги, начинали погружаться в землю. Он мог сказать: «Пусть колбаса прирастает к носу мальчишки Тэя!» И у Тэя на носу оказывался ломтик колбасы, розовый, с сальными глазками. «Пусть колбаса отвалится и прирастает к его носу!» — отбивался Тэй. Так началась дуэль каверз. Жители райской обители отравляли друг другу жизнь, пугая невиданными чудовищами. Среди ночи в спальнях появлялись гремящие скелеты, позеленевшие мертвецы садились на подушки, по кущам разгуливали вампиры, великаны и драконы, не только страшные на вид, но и опасные. И в этой дуэли каверз порядочные терпели поражение, они не позволяли себе вредоносных выду-

мок, тогда как хитрец изводил их живыми кошмарами, лишил покоя и сна, заставил нести круглосуточное дежурство, всегда быть наготове с обезоруживающим «сгинь!». К тому же по правилам фей «сгинь» не всегда действовало. Феи отказывались разрушать, если в этот момент они сооружали что-нибудь. Как бы отвечали: «Мы заняты, обратитесь в другое время». Хитрый завхоз вскоре распознал это правило, научился загружать фей на много часов вперед, заказывая им сразу целое семейство драконов. В результате однажды, увидев страшную морду с раздвоенным языком, астроном (тот, что пробовал стать султаном) произнес спасительное «сгинь», но дракон не сгинул, потому что феи в это время творили ему подругу. И несчастный султан был проглочен чудовищем. А Тэй и доктор, захватив скафандры, бежали из рая, превращенного хулиганом в ад.

Несколько недель они ютились в обломках ракеты, мечтая только о возвращении. Времени было достаточно, они осмотрели все повреждения, поняли, что с помощью фей ракету можно восстановить и загрузить горючим. Тогда и возникла идея о золоте в роли топлива. Но взбалмошный владыка рая не желал превращаться в исправного завхоза, выдавать феям наряды на реле, электроприводы, блоки и станины. Он даже оградил пещеру колючей проволокой и поставил цепных тигров у ворот. К счастью, желания проникали сквозь проволоку. Подобравшись тайком к ограде, Тэй и доктор заказывали воду, пищу, баллоны с кислородом. Если в этот момент завхоз спал, вода, пища и кислород появлялись, изгнанные из рая были обеспечены еще на несколько дней.

И вот однажды, приближаясь крадучись к ограде, Тэй и доктор заметили какое-то шевеление в траве. Присмотрелись. Среди лопухов гонялись друг за другом, перескакивая через кочки, небольшие, изящные и все одинаково ослепительно-зеленые чертенята. Именно такие, как в детских сказках: остролицые, остробородые, с крысиным хвостиком и копытцами.

— Все понятно,— сказал старый врач.— Подозревал я, что он не в себе. Тронулся наш император. В больном мозгу бредовые видения, а феи принимают их за приказ.

Проворные чертенята не обладали никакими чудесными силами. Они были безвредны, как всякие мелкие животные такого размера; словно тушканчики, они прыснули в разные стороны, как только Тэй и доктор перебрались через проволоку («сгинув» предварительно тигров). Опаснее оказалось у самого дома. Клумбы, терраса и комнаты кишели змеями, тоненькими, проворными и такими же пронзительно зелеными, как черти. Целые клубки их, перешибленных и раздавленных, валялись в спальне и на кровати завхоза. Но, видимо, многие все-таки укусили его, и, так как змейки представлялись мозгу ядовитыми, феи и сотворили их ядовитыми. На кровати лежал посиневший труп.

Тэй утверждал, что им с доктором не удалось оживить кладов-

щика... Возможно, они и не очень старались, предпочли обойтись без безумца, строящего козни.

— Обидно! — сказал я, закончив чтение.— Даже совестно перед феями. Мы, йийиты, показали себя не с лучшей стороны, продемонстрировали такого редкостного дурака.

Рэй прищурил глаза, выражая сомнение:

— Дурак, но такой ли редкостный? Не надо витать в облаках, Гэй. Три четверти, если не девять десятых, даже девяносто девять процентов мужчин, уроженцев Йийит, наевшись до отвала, будут от скуки спорить и ссориться.

— Потому что у них нет других запросов. Джэй и ему подобные не допускали их к культуре.

— Потому ли, по-другому ли, но запросов нет. Сначала надо поднять культурный уровень. Может быть, пойти на то, чтобы допускать в пещеру с разбором, только воспитанных, культурных, выдержанных.

— И кто будет экзаменовать, устанавливать должный уровень воспитанности?

— Хотя бы мы, Гэй, по праву первооткрывателей заслужившие этот пост риском, напряжением, выстрадавшие его,— не боюсь сказать откровенно. Мы даже обязаны сделать это, чтобы не опозорить лицо нашей планеты. Если не ввести ограничений, мы превратим фей в прислужниц грязного трактира: «Еще полпорции, девушка, и проворнее!»

Тут я взял Рэя за плечи и сказал ему в лицо, довольно грубо:

— А это не твое свинячье дело, Рэй, разбираться в морали, воспитании и престиже. Ты не владелец ракеты, зять и второе издание Джэя. Ты только служащий в обществе «Справедливость», капитан корабля, принадлежащего пайщикам, всем жителям планеты. Маршрут определяешь ты, а не порт назначения; средства, а не цель. Цель тебе указана перед стартом: обогнать Джэя, войти в пещеру раньше его, овладеть тайной пещеры в интересах всех граждан поголовно. Овладеть любыми средствами — об этом и думай. А как навести порядок в пещере, позаботятся владельцы, те, кто снарядил ракету, те, кто кровь проливал, чтобы она стартовала.

— Если любыми средствами, значит, и путем соглашения,— сказал Рэй, высвобождая плечи.

И вышел, оставив последнее слово за собой.

Он сказал последнее слово, я сказал резкую истину,— все равно разошлись мы неубежденные. Каждый подбирал доводы для следующих споров. Назревал взрыв... И взрыв произошел из-за цифр, даже не очень разительных. Решался вопрос все о той же перегрузке.

Опять вынужден я приводить цифры. Без примитивной арифметики непонятна суть спора. Кто забыл арифметику, пропускайте!

Итак, наша скорость в то время дошла до 0,75 *c*. Согласно теории

относительности, эта скорость сама по себе создавала полуторную массу и давала полуторную перегрузку при нормальном ускорении — 1 g. В дальнейшем, согласно той же теории относительности, масса должна была расти все быстрее, и все труднее было бы догонять «Паломник» за счет ускорения. Поэтому я предложил не терять времени, закончить наши санаторные вакации, дать 2 g (тройная перегрузка при полуторной массе), и немедленно, пока масса не возросла. Позже будет труднее.

Соображения были неоспоримы, но...

— Довольно мы мучили себя, 1,5 g достаточно,— возразил Сэй-молодожен.

А капитан сказал вот что:

— Ребята, у меня противоположное предложение, точнее сказать, личная просьба. Об интимном говорить не принято, но мы все свои здесь, одна семья. Дело в том, что Джэтта ждет ребенка. И ребенку, сами понимаете, нужны нормальные условия для развития: при полуторной массе, ускорение — 0,66 g.

Именно такой режим соблюдался на «Паломнике»: при повышенной массе пониженное ускорение, в результате обычный вес, привычный и неизменный. Но если соблюдать его, за счет чего же мы будем обгонять?

— За счет чего обгонять будем? — спросил я. И добавил, что все равно при полуторной массе нормальных условий для развития ребенка быть не может, разумнее всего уложить Джэтту в саркофаг.

Но был встречен бурными нападками всех женщин. Джэтта обозвала меня бесполым чудовищем, Сэтта — живой машиной, Гэтта — всего лишь ходячим сухарем. Но так как догонять нам все-таки надо было, остановились на скромном ускорении — 0,9 g (перегрузка — 1,35), какой-то видимости обгона. Так настроили двигатель и легли спать.

Что-то хорошо мне спалось в ту ночь, несмотря на нервозные споры, оскорбления и ревность. Проснулся я бодрый, освеженный. Когда сознание прояснилось, подумал: «Какими же мы стали чувствительными,— живые весы. Перегрузка 1,5 тяжеловата, а 1,35 ощущается как заметное облегчение».

И глянул на приборы. И увидел 0,7. Ускорение — 0,7, перегрузка — 1,05!

А тогда... тогда я нажал кнопку «Тревога».

Через несколько минут мои друзья сбежались в рубку, на ходу протирая глаза и застегивая комбинезоны.

— В чем дело! Где авария? Кто дал сигнал «Тревога»?

— Ребята, хаффат! — сказал я с деланным пафосом.— Измена на «Справедливости»! Пока мы спали, кто-то снизил скорость.

Рэй сказал, зевая:

— Нас тошнит от твоих фокусов, Гэй. Скорость убавил я, потому что Джэтта не могла заснуть. Не будить же вас всех, устраивать

общее собрание ночью из-за такого пустяка. На то я и капитан, я отвечаю за здоровье каждого.

— В таком случае,— сказал я,— предлагаю выбрать другого капитана. Другого! Который будет отвечать за победу, а не за здоровье.

Рэй был огорчен, не подготовлен к таком выпаду, поэтому от неожиданности стал злиться и глупить.

— А кто достойнее? — закричал он.— Я единственный космонавт среди вас. Я единственный, кто постоянно бывал на «Паломнике», я для вас живой справочник. Без меня «Справедливость» не вышла бы из дока. Без меня вы вообще ничего не знали бы о замыслах Джэя, сидели бы по домам, уповали на звездочку в зените.

— Святая истина,— подтвердил Сэй Нижний, моргая сонными глазами.— Рэй самый достойный. Вся экспедиция — его заслуга. Ты зря бренчишь, Гэй.

Семь пар глаз смотрели на меня с раздражением, с осуждением, с презрением даже («Экий честолюбец! В капитаны лезет, туда же!»). Но я сказал... Помню, как нелепо зазвучал мой голос, со слезой, с каким-то надрывом, мне несвойственным:

— Ребята, вы правы. Рэй самый знающий, самый толковый, самый заслуженный, самый достойный, самый-самый... Но подождите минуточку, не торопитесь в спальни. Припомните: для чего мы в космосе? Кто послал нас и зачем? Обиженные Джэем послали нас, на свои пятаки снарядили ракету, кровью прикрыли старт. За что отдал жизнь наш товарищ Юэй, чего ради осталась вдовой с двумя близнецами Юя? Во имя чего были располосованы лучеметами докеры и монтажники, не допустившие к нам полицейских? Во имя того, чтобы улетели мы, достойные доверия, надежные, неспособные обмануть, чтобы летел Рэй — самый из нас достойный, прирожденный капитан, первый разоблачитель Джэя. Никто лучше Рэя не может вести корабль к победе... Но хочет ли Рэй победы? — вот в чем проблема. Он говорит о соглашении, о нравственности, о порядке использования пещеры, о своем престиже, о праве быть капитаном, о своем ребенке и своей жене, но только не о победе. За наше здоровье, за наши жизни он согласен ответить,— за успех отвечать не берется. А что такое наши жизни в деле справедливости? Дороже жизни Юэя, что ли? Если восемь жизней выигрывают войну, это же дешевка, даровая победа. И я клянусь,— это звучит помпезно, но вы знаете, что я выполняю свои клятвы,— клянусь, что дал бы изжарить себя на медленном огне, если бы это помогло обогнать Джэя. И клянусь еще, поскольку самовольство процветает на этом корабле, что каждый раз, как только вы заснете, отвернетесь, зазеваетесь, я буду пробираться в рубку и ставить рычаг двигателя на 3 *g*. Можете выламывать двери, можете запереть меня и даже убить, но тогда уж будьте честными. Радируйте домой на Йийит: «Справедливость» меняет название. Отныне мы — «Обманутые на-

дежды». Намерены поделить пещеру с Джэем и в личных усадьбах разводить цветочки для собственных жен. Каждый заботится о себе!»

Я выпалил все это единым духом, потому что за долгие вечера сто раз обдумал свои доводы и подыскивал формулировки. У нападающего есть преимущество внезапности. Он знает, что намерен говорить и делать, он наступает, навязывает свой план битвы. Вынужденный обороняться, Рэй собирался с мыслями, постепенно понимая, что защищает бесславное дело. Остальные молчали, но я видел в их глазах колебание, а не осуждение. Только Джэтта надула губки с презрительным высокомерием. Она ничего не поняла, ничего не слышала и не хотела слышать. Для нее я был гнусный раб, бунтующий против господина, мои слова не имели смысла.

Я продолжал, воспользовавшись молчанием:

— Ребята, мы устали, мы при последнем издыхании, наших человеческих сил не хватает. Но есть выход: гипотермический сон. Шесть ванн готовы, только включай охлаждение. Автоматика еще не отработана, правда. Но все равно двое останутся дежурными, кто покрепче, пожилистее.

— А ты гарантируешь, что мы выйдем из сна благополучно? — спросил Сэй женатый.

— Когда ты отчаливал в космос, кто гарантировал тебе благополучное возвращение? — ответил я.

Молчание.

— Думайте, ребята, думайте. Чем мы занимаемся? Себя бережем или обгоняем Джэя?

И Гэтта, изменница Гэтта, считавшая меня бессердечным, черствым сухарем, первая сказала со вздохом:

— Гэй прав. Будем гипотермироваться. Я согласна.

— Я тоже,— присоединился Пэй. Женившись, он перестал быть моим эхом, но стал эхом жены.

Сэй женатый сказал:

— Эх, была не была, риск благородное дело. Только дайте нам с Сэттой три дня отсрочки, чтобы проститься как следует.

А Сэй холостой, Сэй обойденный буркнул:

— По мне, хоть сейчас. Смертельно надоели вы мне со своими сварами и ухмылками. И будите меня попозже, прямо у ворот пещеры.

Тогда и Рэй выдохнул:

— Мы тоже, я и Джэтта.

Самолюбив он был. Понял, что рискует войти в историю в бесславной роли разумного и трезвого генерала, отстаивавшего капитуляцию.

— Ты подлец! — взвизгнула Джэтта.— Ты трус, обманщик, ты не мужчина. Я тебя ненавижу, презираю, ненавижу, ненавижу! Дурой была, что любила тебя, все отдала, всем пожертвовала. Могла

быть женой Цэя, генеральшей, хозяйкой. Он бы меня защитил, не совал в гроб ради подонков-демагогов.

Удивляться Джэтте нет причин. Так ее воспитывали, с пеленок внушали, что мир состоит из хозяев и слуг. И Рэя она считала хозяином, владельцем космической яхты. «Хочу — дальше лечу, хочу — поворачиваю». Невесту догнал, выручил, спас — и конец приключениям. Вместе с верными преданными слугами любящие спешат домой.

И вдруг преданные предают сюзерена. Голос возвышают, требуют жертв. И господин уступает им почему-то. Слякоть, а не принц!

И оказалось в ракете только двое живых, а при них — шесть тел. Шесть ни живых и ни мертвых, бескровно-бледных, со стеариновыми лицами и синеватыми щеками, колыхающихся в насыщенном растворе, словно мертвые рыбы, не способные ни всплыть, ни утонуть.

Шесть колыхающихся и двое ползающих, перемещающихся, бессменные вахтеры: я и Пэй.

Пэй остался со мной, так получилось. Я-то предполагал взять в пару Сэя Большого, второго холостяка. Но Сэй считал себя и без того обиженным, обойденным, не желал жертвовать еще, взваливая добавочно тяжкое многолетнее дежурство.

— Пусть молодоженчики отрабатывают,— сказал он.

— Может, и правда тебе подежурить, Пэй? — предложила Гэтта.— Наверное, это нехорошо с моей стороны, но мне кажется, я так засну спокойно.

И Пэй согласился блюсти покой молодой жены. Допускаю, что и о своем спокойствии подумал. Побаивался, что, оставшись в одиночестве, я разбужу Гэтту... И кто там знает, не вспыхнут ли старые чувства, когда мы останемся с глазу на глаз.

Признаюсь честно, думал я о такой возможности.

Мечтал немножко, осуждая и стыдя себя. Не могу поручиться, нет у меня стопроцентной уверенности, что, оставшись один, я выдержал бы характер, не разбудил бы именно Гэтту. Когда очень хочется, мозг находит самые основательные доводы, убеждая себя, что желание допустимо, разумно, полезно, необходимо, даже остро необходимо, преступно было бы не выполнить его.

Так или иначе, остались мы с Пэем.

И была у нас скорость — 0,77 *c*, а у «Паломника» — 0,79 *c*. И разрыв — 42 световых дня. По расчетам, по расчетам...

Конечно, мы сразу же взялись за вторую производную. Форсировали режим, дали себе двойную перегрузку, на следующий день — двухсполовинную, потом тройную. Чтобы переносить ее лучше, оборудовали баки с тяжелым раствором, залезали туда с утра, потом сидели от обеда до ужина... И спали тоже в баке. Перегрузку отключали только в утренние часы — для профилактического осмотра и ремонта.

Итак, два бака, наполненные мутноватой, сизо-голубой от ле-



дотаина плотной водой, два отделения аквариума. В каждом вместо рыбы — четырехлапое существо с лупоглазой маской, пристегнутое ремнем к креслу. Надоедает же болтаться,— то всплывать, то тонуть. Существо тяжко дышит через гофрированную трубку и время от времени приподымается, чтобы взглянуть на табло. Потому что это единственное наше занятие: выдерживая перегрузку, догонять.

— У нас 0,8 *c*, у них — 0,82 *c*.

— Пэй, прибавим еще 0,2 *g*?

Под маской наушники и микрофон, но разговариваем мы редко. Дел мало, все сводится к терпению и ожиданию, а просто так беседовать неохота. С тех пор как Пэй отнял у меня Гэтту, дружба разладилась, и не только по моей вине. Оказывается, мы дружили потому, что не спорили, а не спорили, так как Пэй всегда соглашался со мной. Но монолог перед зеркалом кончился, верное зеркало помутнело. Я говорил уже, что Пэй — верующий по натуре, а верующие либо верят каждому слову, либо не верят ни единому. Почему-то, отбив у меня невесту, Пэй потерял в меня веру. Он не доверял более моему вкусу, моим суждениям и решениям, он сомневался в моих предложениях. Каждое приходилось сопровождать доказательствами. Это было полезно для самопроверки, но утомительно. И я разговаривал с Пэем только о нуждах дела.

— Слушай, давай прибавим 0,2 *g*.

— Но мы же условились, что 3,2 — на пределе безопасности. Мы обязаны сберечь свое здоровье и работоспособность.

Сберечь обязаны. Но велика ли разница: 3,2 или 3,4? Очень уж медленно ползут цифры на табло. И первая производная еще в их руках. Дистанция-то растет между нами.

Жду час, потом пробую противоположный подход:

— Пэй, я был прав: 3,2 — явный предел. Видимо, на этом мы и остановимся. Большего нельзя требовать от организма.

— Нет, это вопрос привычки,— отвечает он.— Пластичность организма безгранична. Вспомни, какие перегрузки переносят летчики-испытатели. Будем тренироваться, прибавляя малые порции. Давай попробуем 3,4 *g*! Притерпимся, сам увидишь.

Подействовало!

Прибавляем. Форсируем. Сгибаемся от добавочной тяжести, еще двенадцать кило навалилось. Дышать тяжело, заметно тяжелее, чем раньше. Грудь давит на живот, плечи — на сердце. Побаливает, проклятое. А что на приборах? Ага, интерферометр дрогнул, красное смещение все меньше. Выравниваем скорости, выравниваем.

Ждем. Терпим. Дышим. Улыбаемся, глядя на стрелки.

Наконец наступает торжественный момент, когда красное смещение исчезает совсем. Скорости сравнялись: у нас — 0,84 *с* и у них по расчетам 0,84 *с*. Дистанция 45 световых суток. Но отставание кончилось. А теперь, набирая темп, потихонечку, полегоньку мы начнем сокращать просвет, сближаться, сближаться, пока на каком-то этапе мы обойдем Джэя, покажем ему корму...

Даже дышать легче, несмотря на перегрузку. Даже не жалко усилий, чтобы вылезть из бака, разыскать деликатесы, закатить торжественный обед. С тостами за первую производную.

Теперь беспокоиться не о чем. Пожирая атомы, верный фотонный конь несет и несет нас по беговой дорожке космоса к заветному финишу. Догоняем, догоняем, догоняем. Уменьшается и уменьшается отставание. Сегодня 45 световых суток, а там 44... 43... А там поравняемся, а там обойдем...

Единственная забота — время убить. Не знаю, чем занимал голову Пэй. Лично я вспоминал тома с поручениями. Надо же будет вообразить себе все эти шубки, платьица, туфельки, сапожки, браслеты и серьги, очки, протезы, слуховые аппараты, механические игрушки, кухонные автоматы, кресла для безногих, заказанные пославшими нас. Ведь феям надо это изобразить толково, зримо: форму, расцветку, покрой, устройство, материал... Но это потом. До того прежде всего разобраться в тайне пещеры. Серия опытов. Опыты и начнутся с заказов. Что феи выполняют, что не способны выполнить? Тут мы и поймем, как организована эта феерия.

Недели две прожил я в блаженном благодушии. За Пэя не ручаюсь, он все вздыхал, ворочаясь в своем баке. А дальше в покой вторглось нечто несуразное.

Наблюдения не подтвердили расчетов.

Ничего мы не выиграли на самом деле. Когда у нас было 0,84 *c* — и у них было 0,84 *c*. У нас стало 0,85 *c* — и у них 0,85 *c*. Сегодня у нас 0,88 *c*, значит, и у них 0,88 *c*. Как бы надетые на жесткую ось, мчатся в пустоте две ракеты, сохраняя все ту же дистанцию — 45 световых суток.

Что это означает? Только одно: «Паломник», как и мы, ввел тройную нагрузку. Но не могли же эти неженки и сибариты вдруг, без подготовки, взвалить на себя тройную тяжесть! Следовательно, как и мы, они легли в анабиоз, оставив только двух-трех дежурных инженеров.

— Вероятно, все управление поручили автоматам,— говорит Пэй.— Этого надо было ожидать. На «Паломнике» лучшие конструкторы мира. Джэй недаром их взял с собой. Конечно, они не сидели сложа руки.

— Тогда и нам нужна полнейшая автоматизация, Пэй. Прошляпили мы с тобой. Пускай роботы уложат нас спать, и кончатся споры, прибавить или не прибавлять две десятых. Машинам и пяти- и десятикратная перегрузка ничто.

Пэй хмыкает с насмешливым сомнением:

— Берешься? Справишься?

Прикидываю мысленно.

Сейчас мы с Пэем все контролируем, проверяем, устраняем неполадки и принимаем решения. Если мы спим, надо дублировать все наши действия. Ко всем важным узлам пристроить автоматы контроля, смонтировать ремонтные роботы — сегодня у нас их всего два. В робототехнике я не очень силен — это специальность братьев Сэев. Но самое сложное — принимать решения. Надо предусмотреть и ввести в программу все возможные неожиданности, все причины аварий, а также все каверзы, которые могут придумать для нас на «Паломнике». Программу лучше бы поручить Рэю, тут он мастер. И наконец, программа для пробуждения. Предполагалось, что я разбужу Гэтту и Сэтту, а потом уже под наблюдением наших медичек мы вернем к сознательной жизни всех остальных. Как же проинструктировать автоматы, чтобы они ничего не упустили в тонком и рискованном процессе выхода из анабиоза? Тут нужны все знания Гэтты и Сэтты.

— Будить придется,— говорю я Пэю.— Всю команду, кроме Джэтты только.

— Буди, буди, и поскорей! — В тоне Пэя насмешка.— И подготовь честное признание, что зря терзал всех нас, а теперь не знаешь, как выбраться.

Я представил себе мрачные лица просыпающихся, вообразил, как это каждому в отдельности заново объясняю, почему не сумел обойтись без их помощи, покорно сношу ворчание Сэя Большого, язвительные насмешки Малого, презрительную улыбку Рэя. И после всего, испив чашу унижений до дна, начинаю оправдываться, что

я не виноват, не мог предусмотреть все финты «Паломника».

«Ну и что же ты предлагаешь теперь? — спросит Рэй с кислой миной.— Полную, стопроцентную автоматизацию? Что это даст?»

В самом деле, что даст?

Помню, наш профессор по теории изобретательства говорил, что всякий конструктор должен начинать с вечного двигателя, то есть мысленно представить себе идеально выгодную машину, не потребляющую энергию, без трения, без веса, невозможную машину, которая ничего не тратит и дает все, что нужно. На практике-то будет что-то похуже этого идеала. Но иной раз видишь сразу: выигрыш от идеала так мал, что и тужиться, изобретать подобное не стоит.

Допустим, стопроцентная автоматизация смонтирована. Что это даст в итоге?

Мы не отстанем, только и всего.

А нам обогнать надо.

«Раздумье в баке» — так назвал бы я следующую главу, если бы делил свою жизнь на главы.

Почему раздумья в баке, а не действия? Потому, во-первых, что тело протестует. Так трудно выбираться наружу, так утомительно перемещать себя, поневоле прежде всего спрашиваешь: «Стоит ли двигаться? Нельзя ли обойтись? Подожди, подсчитай, взвесь, не пори горячку!»

И расчет неизменно показывал: горячку пороть незачем, можно и не вылезать из жидкости.

Лишний вес развивал вдумчивость. Интересно бы провести анкету: кто вдумчивее, тощие или толстяки?

Раздумья преобладали еще и потому, что мы с Пэем вдвоем не способны осуществить радикальные переделки. За каждым предложением неизбежно следует: «Придется разбудить ребят». Но лишний раз будить лежащих в анабиозе не просто и не безвредно. Не скажешь, посоветовавшись: «Ладно, обойдется без тебя, спи дальше!» Нужны серьезные основания, следует все продумать, предусмотреть, рассчитать... И: «Сиди, Гэй, нечего горячку пороть!»

Итак, на сцене все те же лохани с мутноватой жидкостью. Лупоглазые существа в черных трико, пристегнутые за пояс к стенке. Лениво шевелятся руки, лениво всплывают пузырьки из-под воротника, лениво барахтаются в тяжелой голове неповоротливые мысли, неуклюжие, нечеткие, словно спросонья. Из этих медлительных мыслей надо выстроить что-то разумное, изящное, оригинальное, до чего не додумались на «Паломнике».

— Тужишься понапрасну, там же лучшие умы собраны! — бубнит Пэй.— Мы против них кустари, мы подмастерья. Не тебе тягаться с ними, самонадеянная ты личность, Гэй.

— Согласен, мы кустари, мы подмастерья. Но тягаться взялись, обещали обогнать. На каждый их выпад должны придумать ответ. Кто придумает за нас?



— А ты воображаешь, что там будут сидеть сложа руки? У Джэя лучшие конструкторы мира. Они давно продумали всю партию на десять ходов вперед. На что ты надеялся, собственно говоря?

Вот именно, на что мы все надеялись?

Говоря коротко, на выносливость. Надеялись на энтузиазм и возмущение, на то, что мы, молодые, крепкие и сердитые, больше приложим усердия, больше усилий, чтобы обогнать, и в конце концов обгоним.

С самого начала так складывалось, что мы все время видели только ближайший порог. Мы рвались на старт, а нам не давали вступить в гонку, старались удержать волокитой и лучеметами. И нам все казалось тогда: только бы переступить порог космоса, только бы отчалить, дальше пойдет само собой.

Само собой не пошло. Мы напрягались месяц, второй и полгода, но отставали и уставали, и большинству не хватило терпения, выдержки, желания обязательно обогнать. Пришлось мне вступить в борьбу, в трудную борьбу с друзьями, соратниками. И мне казалось: лишь бы убедить их, лишь бы устранить павших духом, уложив в саркофаги, дальше пойдет само собой.

Павшие духом заснули, несгибаемые остались. На что ставили мы с Пэем, на что надеялись? На нашу несгибаемость, на мягкотелость соперников? Но вот и соперники уложили своих мягкотелых в саркофаги, выставили против нас несгибаемые автоматы. На что нам надеяться теперь? За счет чего обгонять?

Думай, Гэй, думай что есть силы!

Итак, главный козырь вырван у нас. Автоматы заведомо выносливее. В лучшем случае мы сравняемся с ними, не отстанем. Борьбу за скорость мы проиграли в результате или — не будем прибедняться — не выиграли. Но впереди возможна еще борьба за потолок — за окончательную, наивысшую, экстремальную скорость.

Потолок же всех возможных скоростей в природе — *с* — скорость света.

С — идеал, к нему можно только стремиться, никогда не достигая. Для *с* надо затратить бесконечную энергию — бесконечную в математическом смысле, не в поэтическом: бесконечное количество тонн топлива на каждый килограмм груза.

Бесконечных запасов, конечно, нет ни на «Паломнике», ни у нас. И «Паломник» и наша «Справедливость» рассчитаны примерно на 0,95, как предел — на 0,96 *с*.

Однако для фотонной ракеты все — топливо: стенки, перегородки, мебель, аппараты, одежда, консервы, мы сами.

Снова пустим в ход излюбленные и привычные наши козыри: выносливость, невзыскательность, долготерпение, самоотречение. Отправим в топку все лишнее, не самое необходимое. Спалим даже нужное, даже нужное, но не ежечасно, но не каждую минуту: пере-

городки, полы, столы и кресла, запасные инструменты, запасы пищи, теплую одежду... Спящие спят, им наряды не нужны. Что мы получим в идеале?

В идеале — 0,98 *c*.

Все равно крохоборство! Беда в том, что при околосветовых скоростях топливо тратится не только на разгон. Заметная часть его — все более заметная — идет на ненужное приращение массы. С чем это сравнить? Проще всего с обжорой: лишь часть пищи он сжигает в работе, а из прочего наращивает жир, ему же, обжоре, мешающий двигаться, дышать, жить. Но в отличие от толстяка, который может, попостившись, за счет своего жира прожить недельку-другую, наш субсветовой жир бесполезен, он накапливается с большими затратами, а потом сам собой исчезает при торможении, не производя никакой работы. Но именно он, этот бесполезный жир, определяет предельную скорость ракеты. Для скорости 0,96 *c* масса ее вырастает в три раза с половиной, для скорости 0,98 *c* — в пять раз. В семь раз надо увеличить массу для 0,99, а для 0,999 *c* — в 23 раза.

Но нет у нас 23-кратной массы и нет даже семикратной. 0,98 *c* — наш потолок, практически даже недостижимый.

Снова строю в уме идеальную машину «Допустим». Допустим, получилось все задуманное. Допустим, мы спалили все и даже самих себя. Скорость у нас 0,98 *c*,— на самом-то деле меньше, но допустим. За четыре года пути — четыре года у нас до торможения — мы выигрываем 8 процентов от светового года, то есть один световой месяц.

А «Паломник» опережает нас на полтора месяца сейчас.

Кроме того, и на «Паломнике», увидя, что мы догоняем, тоже кинут в топку какие-нибудь перегородки. И если они выжмут 0,97 *c*, нам уже не обогнать их, тогда и при скорости света мы выйдем к цели одновременно.

Но это же невозможно — достичь скорости света. Это и означает вечный двигатель — бесконечные запасы энергии неведомо откуда, идеальная машина без трения, без потерь.

— Пэй, а Пэй! Пэй, ты не спишь? Ты знаешь, Пэй, что мы проигрываем?

Зашевелился в своем баке.

— Я рад, что твоя неуемная наивность выдохлась наконец. Я-то давным-давно знаю, что мы проиграли.

— Вот как? С каких пор ты знаешь это?

— С тех самых пор, когда паломники заметили нас. У Джэя лучшие умы мира. Смешно было думать, что они не найдут способ, как превзойти нас — дилетантов.

— Вот тебе на! Оказывается, все это время я сижу рядом с унылым пораженцем. Для чего мучится, задыхается, хватается за сердце, высунув язык, предлагает увеличить перегрузку на две десятых?

— Так зачем же нам терзаться, Пэй? Давай повернем домой!

Нет, он не согласен поворачивать. Он считает, что долг надо выполнить до конца. Если нас послали, мы обязаны отдать все силы, всю кровь до последней капли.

Что это означает практически? По мнению Пэя, мы должны высадиться на планете Фей и пробиваться в пещеру с оружием в руках. Но ведь Джэй дремать не будет, он закажет сколько угодно солдат и выставит охрану, нас перестреляют, зак зайцев. Пэй не сомневается, что перестреляют, но считает, что мы обязаны отдать свою кровь до последней капли.

Никогда я не мог представить себе психологию мучеников, добровольно всходящих на костер. Мне кажется, я бы боролся до последней секунды, лягался, кусался, хоть бы стукнул своего палача. Не мог понять, что это за существа — мученики: герои, энтузиасты, увлекающиеся натуры, рабы минутного порыва или же тупые фанатики, упрямо отказавшиеся рассуждать. И вдруг в соседнем баке оказался подвижник, мой же давнишний товарищ, и он собирается взойти на костер... из-за унылой добросовестности, из-за серой беспомощности. Нет, это поразительно! Вникните во всю глубину переживаний Пэя. Годы и годы заточения в душном баке, долготерпение, разлука с милой женой,— и все это без надежды, без цели, только в ожидании того дня, когда придет срок отдать жизнь просто так, чтобы долг выполнить.

Но самое смешное в том, что подвиг Пэя никому не нужен. Он может взойти на свой костер с гордо поднятой головой или с трусливыми слезами, умоляя о пощаде,— для йийитов это безразлично. Они послали нас не на смерть, нас послали обогнать и занять пещеру Фей. Пещера им нужна — не безрадостный подвиг Пэя.

Осудим безнадежное уныние пораженца. Осудим. А как победить?

Неужели уповать только на случайность, на аварию «Паломника», на встречный метеорит, на перегоревшие автоматы, на то, что испортятся и основные и дублирующие, страхующие одновременно, на ошибку чужих локаторов, на перегрев чужого двигателя? Выйти на старт в надежде, что у лидера вдруг соскочит колесо, а мы, целые и свежие, обгоним его на вираже.

А если колесо соскочит у нас?

И разве за тем нас послали, чтобы мы пассивно следовали в хвосте, уповая только на аварию в ракете убегающих? Да нет же, нас обгонять посылали, а не следовать. Но как-то не доходило до меня раньше, что погоня за преступником не спорт. Тут неуместны равные шансы, туфли одинакового образца, вес не свыше нормы, объем бака в пределах... Преступник должен быть пойман, даже если он бегает лучше. Бегущего преследуют на автомобиле, автомобилиста на самолете, вслед самолету летят радиограммы... На чем же догонять фотонную ракету, развивающую скорость света, предел всех возможных скоростей?

Бак. Мутно-сизая жижа. Словно потревоженные пузырьки, неторопливо всплывают мысли. Неуклюжие. Несобранные. Неоформленные. Но времени достаточно. Четыре года для размышлений. Все можно додумать до конца.

До конца и с самого начала. Ошибку мы допустили еще на Йийит, еще до старта, решив на ракете преследовать ракету. Впрочем, нет, не ошибку, я не точно выразился. Мы проявили инертность мышления, мы рассуждали пассивно и потому выбрали самый ненадежный вариант. Бегуну трудно догонять бегуна, автомашине — автомашину, ракете — ракету. Обгон — иное качество. Обгонять лучше по другой дороге и лучше бы на другой машине. Не на ракете, у которой скорость света — предел.

Но считается же, что скорость света вообще предел всех возможных скоростей. Предел! Не кажется ли вам, что странноватый это закон природы? Как это скорость может быть предельной? Скорость — понятие относительное. Кто ограничит скорость моего движения по отношению к дальней галактике, к которой я никакого отношения не имею? А если та галактика разгоняется?

Еще такое рассуждение: я зажег фонарик. Одни фотоны полетели со скоростью света направо, другие — налево. Какова скорость удаления правых фотонов от левых?

Задаю этот вопрос соседу.

— Гэй, ты сходишь с ума от безделья. Физика давно ответила на эти детские «почемучки». Скорость света — это предел скорости взаимодействия, предел движения вещества и предел скорости передачи энергии в вакууме. Между твоими разлетающимися фотонами нет передачи энергии и не может быть взаимодействия. Нет физического смысла в вопросе об их взаимной скорости.

Пэй прав, как всегда. Есть такая формулировка в учебнике для первого курса.

Но сейчас я замечаю: в этой уточненной формулировке по крайней мере две лазейки. Вот что значит искать лазейки настойчиво.

Скорость света — предел для движения в вакууме. Но что такое физический вакуум? Нельзя ли его уничтожить? Или хотя бы переделать вакуум, видоизменить его свойства? Или найти его пределы и вырваться за пределы?

Будь я дома, на Йийит, я бы занялся этим — изучением свойств физического вакуума, воздействием на вакуум.

Но здесь у меня нет хорошо оснащенной лаборатории, в моем распоряжении мысли и бак.

Я нахожу вторую лазейку.

Скорость света — предел скорости движения вещества.

А если не вещество?

Вспоминается фантастическое: передача человека по радио. В романах это делается так: человек развертывается атом за атомом, как изображение в телевидении, каждый атом превращается

в лучи; где-то в другом месте, в приемнике, лучи превращаются обратно в атомы, атомы выстраиваются ряд за рядом, возникает тот же человек, но на другой планете.

Заманчивая фантазия. Но и она требует своей техники: на нашей планете — передатчик, в пещере Фей — приемник...

Стойте! Кажется, идея? Минуточку! Соберу мысли!

«Хочу пить!» — подумал Тэй, и стакан с водой появился рядом. Именно такой, какой был у него в воображении: граненый, запотевший, с толстым мутноватым стеклом...

Значит, пещера Фей — приемник воображаемых образов, приемник мыслей, природный, естественный или оборудованный кем-то.

С какого расстояния принимаются мысли?

В популярных книгах пишут о бабочках, чуящих друг друга за десять километров. Да что бабочки? Сколько есть преданий о чувствительных женах и матерях, ощутивших гибель любимого на фронте за тысячи километров.

Тысяча километров — маловато, тысячи километров для нас — ничто. Триллионы бы...

И тут всплывает в памяти:

«Гэй, я тебе одному скажу, только не насмехайся. Я действительно видел сон, три раза подряд одно и то же. Джэтту тащут куда-то, она отбивается и кричит: «Рэй, Рэй, спаси!» И потом она лежит в гробу. Гроб странный какой-то, стеклянный...»

Да, я посмеивался тогда, но ведь потом мы узнали, что все это на самом деле происходило на «Паломнике», за сорок световых суток от нас, за триллион километров примерно. С такого расстояния несовершенный мыслеприемник в черепе сонного Рэя принял сигналы бедствия от Джэтты.

— Пэй! Слушай, Пэй! Есть разговор. Ты не спал?

— Нет, я задумался просто.

— О чем?

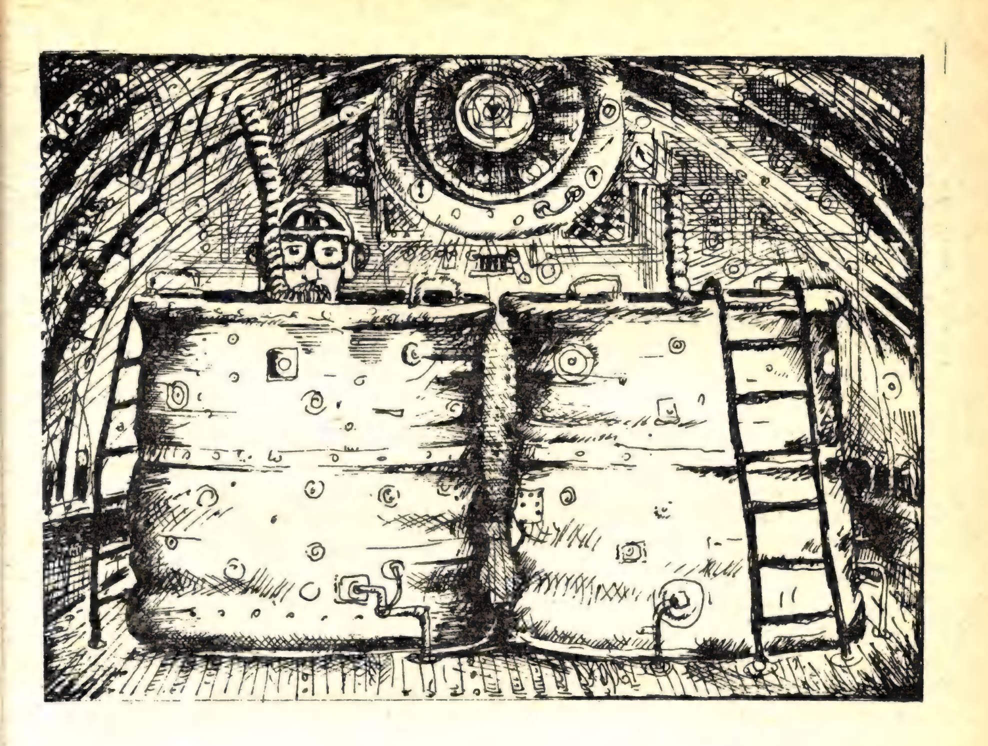
— Ни о чем, просто так. Вспоминал дачу родителей. Как там хорошо было лежать на лужайке, смотреть на кроны, бороздящие облака. Стебельки тебе спину щекочут; славно пахнет сыростью, землей, прелыми листьями, мураши балансируют на травинках. И облака в небе меняют форму; какое-то похоже на лошадь, а потом оскалилось, две собаки грызутся, а потом вообще растаяло, распустилось в голубизне. Хорошо!

— Подумай, старик, секунду назад ты был у себя на даче и мгновенно перенесся в космос, в ракету. Вот это скорость! Нам бы такую.

— Но это же псевдоскорость, Гэй. На самом деле я не вылезал из бака.

— А как ты полагаешь, какова подлинная скорость мысли?

— Не знаю, надо бы посмотреть «Справочник психолога». Вероятно, не так велика. Когда думаешь, часы проходят незаметно.



А ведь это все в мозгу происходит, внутри черепа, в тысяче с чем-то кубических сантиметров.

И добавил с тяжким вздохом (в наушниках я услышал этот вздох):

— Завидую я тебе, Гэй. Завидую твоей непробиваемой наивности, твоему непреходящему умению жить мыльными пузырями. И не замечать, что они лопаются тут же, все твои мыльные пузыри.

«А я не завидую тебе,— подумал я про себя.— Не завидую, дорогое мое, нормальное и трезвое бывшее зеркало. Какую судьбу избрал ты себе, Пэй? Четыре года сидеть в баке, считая себя безнадежно проигравшим и гордясь трезвостью. Сидеть, ничего не ожидая, ни на что не надеясь, чтобы через четыре года выйти со склоненной шеей на плаху. Тоска! Предпочитаю мыльные пузыри».

Итак, Рэй уловил мысленный зов Джэтты на космическом расстоянии в 40 световых суток. И уловил (вот что самое важное!) раньше, чем мы узнали об этом по радио. Биоинформация шла быстрее радиоинформации. На сколько? Сейчас нелегко выяснить, в корабельный журнал я не записал про сон Рэя. Но на глазок это было дней за десять до прибытия послания от разгневанного папаши Джэя.

Получается раза в полтора быстрее. Не на пятьдесят семь ли процентов? Тогда фазовая скорость играет тут роль.

В полтора раза быстрее света. Достаточно.

Не знаю, как вел бы я исследования, будь я дома, на родной планете. Вероятно, занялся бы изучением вакуума, опытами по уничтожению вакуума, свойствами безвакуумности. Но здесь отсутствие лаборатории, и перегрузка, и бак толкали меня к мыслепередаче, только к ней. Генератор же мыслей у меня был при себе, в черепной коробке, и была неограниченная возможность проводить опыты с ним.

Первый вопрос: может ли излучать образы мой собственный генератор, мой лично? Как известно, далеко не у всех йийитов способности к телепатии.

Попробуем.

В соседнем баке дремлет мой несочувствующий друг, обладатель внутричерепного приемника. И хорошо, что дремлет. Мозг, освобожденный от собственных мыслей, чувствительнее к чужим. Большинство телепатических откровений принимается в гипнозе, во сне, в бездумном полусне. А ну-ка, Пэй, принимай текст!

Передаю такую картину: на обрыве над озером мы сидим втроем: Гэтта, Пэй и я. Себя стараюсь показать со стороны, в профиль, как бы глазами Пэя. Вот такой сидит, длинноносый, с покатым лбом, и вихры на мокром лбу. День жаркий и томный, лесные полянки в пестрых пятнах от бликов и листьев, а вода вся в блестках толченого солнца. И у Гэтты блестки в глазах. Ей весело, у нее припадок развеселой нежности. Вдруг она начинает целовать меня, щедро, быстро, жадно, словно клюет лицо.

«Гэтта, что с тобою, мы же не одни!»

«А мне наплевать, пусть смотрит, как я люблю тебя, пусть знает, что одного тебя люблю. И не стыжусь, я по-настоящему люблю».

И целует, целует жадно, приговаривая: «Этому глазу еще не досталось... и носу обидно, и верхней губе, и нижней тоже...»

Дошло! Дошло, честное слово! Пэй сопит, скрежещет зубами. Даже привстал в своем баке, зло таращит глаза.

— Что с тобой, старик? Приснилось что-нибудь?

— Нет... так... ничего особенного!

Жду, чтобы Пэй задремал. Изобретаю следующий сценарий.

Вот сидим мы оба в баках, Гэй в профиль, длинный нос торчит между выпуклых очков. Вдруг он поворачивает голову к двери. Гэтта выходит из коридора. Вся мокрая, раствор стекает с нее, мокрые следы на полу.

«Гэтта, что с тобой? Кто тебя разбудил?»

«Никто, я сама. Тоскливо очень. На самом деле мы не спим, все понимаем».

«Твой муж в соседнем баке, Гэтта. Растолкать его?»

«Нет, к тебе хочу, Гэй. Я не люблю мужа. Он скучный».

Сработало, Пэй опять сопит и стонет.

Для чего я мучил несчастного Пэя? Не из мести. Мне нужно было

установить наилучшие, оптимальные условия мыслепередачи. В дальнейшем, уже с согласия Пэя и при его участии, я разнообразил опыт, внушая соседу нейтральные образы: кресты, треугольники, зигзаги и прочее. В общем, биопередача получалась, и очень яркая. Ничего такого в прошлом у нас не бывало. Возможно, благоприятствовали особые условия субсветового полета с утроенной массой и перенапряженным вакуумом в ракете и вокруг нее. Еще я замечал, что металл помогает информации, в особенности тяжелый — свинец, висмут, золото, ртуть. Когда я прислонялся головой к свинцовым стойкам бака, образы становились явственнее. Перегородки же, в особенности деревянные, и всякие сетки экранировали психические волны, отводили их в стороны; кресты и треугольники расплывались, очертания их становились размытыми. Еще замечали мы, что увиденное глазами передается легче, чем воображаемое. Если я смотрю на рисунок, Пэй принимает отчетливее. И вот что я сделал: я подобрал копии фотографий, снятых Тэем в пещере, увеличил их, вмонтировал свой собственный портрет. Смотрел и воображал: вот стою там, среди скал, поросших мхом, разглядываю друзы кристаллов на своде, возможно, что кристаллы эти и есть мыслеприемники. Это я стою, задрав голову, я, Гэй, стою в мокром трико и лупоглазых очках, я очень хочу стоять там. Принимайте меня, феи. Пусть будет живой Гэй в вашей пещере!

Кто знает, на каком расстоянии действует мыслеприемник фей? Уж наверное, он не слабее, чем в голове Рэя.

Попытка — не пытка. Я ничем не рискую. Да и нет другого выхода.

Не удалось сегодня — через месяц попробую еще раз.

Та же проекция на экране. Скалы, поросшие мхом, друзы кристаллов на своде, весь свод — сплошная люстра в переливах, в сверкании подвесков. Небывалые, неестественные, Тэем придуманные кусты в форме скрипок, лир и винтов. Ручеек меж камней, и у ручья я сам — в черном трико, в лупоглазой маске...

Не вышло? Тогда еще раз, через месяц: крутые скалы, поросшие мхом... друзы... свод-люстра... скрипки, лиры и винты. Я в лупоглазой маске.

А через месяц опять: мох. Друзы. Люстра. Скрипка. Маска.

И Пэя я уговаривал пробовать. Но он не верил в успех. Потаращится минуту и рукой махнет: «Все равно не выйдет».

Но мы же ничем не рискуем. Терять нам нечего.

Повторяю через месяц: мох, люстра, скрипка...

И опять. И опять.

И вдруг, не помню уж в какой раз, в десятый или двадцатый, образ не исчез, закрепился в воображении. Остались покатые скалы с пушистыми пятнами мха и плоскими лишайниками, геометрические букеты кристаллов, прозрачный ручей, бегущий по цветным камешкам. Неужели я навообразил столько разных оттенков и форм?

А обрамление, наоборот, растворилось, ушел куда-то проекционный экран в матово-чугунной раме, зеленоватая стенка бака, соседний бак...

— Пэй, где ты?

Повернул голову. Нет Пэя. Слева дорожка, огибающая скалу, похожую на слона. Не видел я такой скалы, не воображал такой.

Жарко. Пить хочется. Соку бы.

На траве у моих ног стакан с прозрачным апельсиновым соком. Подношу к губам. Ароматно. Сладко и кисловато. Приятно холодит.

Конец испытаниям. Приняли меня феи.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

«Приняли меня феи». После этих слов было написано: «Конец».

Признаюсь, я с беспокойством дочитывал записки Гэя. Длился полет, полет со всеми перипетиями разгона, потом размышления в баке, все меньше страниц оставалось до переплета, на этом скудном пространстве могло уместиться только сообщение о неудаче. И вдруг: «Приняли меня феи». Ну а дальше что?

— Есть продолжение у этой книги? — спросил я у киберсправочника, моего постоянного гида в библиотеках чужих планет.

— Зачем продолжение, Человек? Ясно все. Чего не хватает тебе?

Но я считал, что не хватает многого. По-моему, самое интересное только начиналось. Столько напряженных ситуаций, столько сюжетных возможностей! Успел ли Гэй подготовить пещеру к обороне? Как отбился от нападения приспешников Джэя? Ведь он был один там, разочарованные джэисты могли уничтожить всю пещеру фотонным огнем. И что стало с пассажирами «Справедливости»? Что они сказали, как повели себя, увидев в пещере Гэя? Удалось ли им вернуться на родную планету и там понаделать таких же пещер? И как сложилась жизнь на планете Йийит, когда каждый житель смог запросто заходить в пещеры и требовать: «Хочу...»

Кибер бесстрастно смотрел на меня своей цельносварной физиономией.

— Удивительное множество посторонних вопросов у тебя, Человек. Кажется, у вас — людей — есть пословица: «Один... э-э... литератор столько вопросов задаст, что десять ученых не ответят». Ты же просил отчет Гэя, инженера, представителя точного знания. Гэй уяснил себе, что фотонная ракета не может обогнать фотонную ракету, и нашел принципиально иной способ обгона. И сообщил, что этот способ удался. Что еще?

— Сколько угодно «еще». А судьба Гэя? Ведь в пещере-то

оказался не он сам, а его двойник, копия. С двойниками всегда столько конфликтов, кинематографических поворотов! Пожелал ли двойник Гэя, чтобы в пещере появился двойник Гэтты? Кого она любила на самом деле? Были они счастливы? А кроме того, ведь оригинал-то, сидя в баке, не ведал, что опыт удался. Вероятно, он продолжал свою мыслепередачу, и каждый месяц в пещере появлялся новый Гэй. Несколько Гэев, все одинаковые, штампованные, с одинаковыми вкусами и воспоминаниями, все влюбленные в Гэтту. Подумай: десятка два двойников с цветами встречают своего прародителя, прообраз и эталон.

— Не было этого.

— Почему?

— Предусмотрено было. Зачем же допускать такую бестолочь?

— Ага, значит, в пещере жили такие разумные существа, некие феи? Она была феидальной, а не феерической.

— Не совсем так. Но разве ты не понял еще?

Молчу.

— Не слишком сообразительны твои соплеменники, Человек. Или ты не лучший представитель своего мира?

Униженно признаю себя не лучшим представителем. Прошу разъяснений.

— Удивляюсь, как можно не догадаться! Пещера была космической гостиницей, аварийным складом на большой трассе. Такие мы расставляем на безлюдных планетах. Но в Галактике же тысячи цивилизаций, тысячи рас и биологических типов, невозможно на каждом складе хранить баллоны с воздухом тысячи сортов и продукты на тысячи видов желудка. Ну вот, вместо гигантских хранилищ сооружается автомат-закусочная на все вкусы. Странники заказывают нужного состава среду: кислород, или аммиак, или воду, или расплавленный кварц — кому что требуется. И продукты любого сочетания, строения, консистенции... В конечном итоге ведь всякие продукты состоят из атомов. На планете Йийит не знали про космические гостиницы. Это была окраинная отсталая планета, примерно на вашем уровне цивилизации. Для них и субсвет был великим достижением, о суперсвете они не помышляли даже.

— Не помышляли, а изобрели все-таки. Голова у них работала.— Я обиделся на «отсталых, на нашем уровне цивилизации».

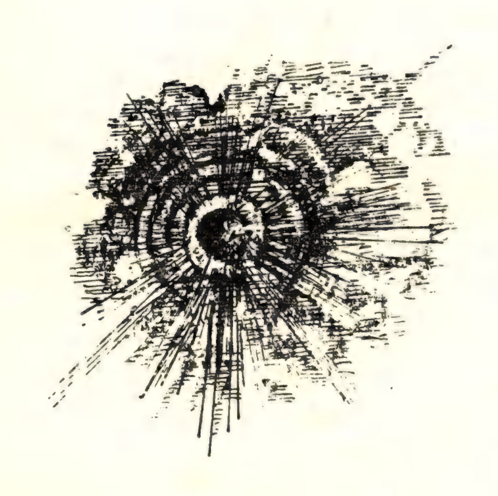
— Изобрели, что сумели. 1,5 *c* — не бог весть какое достижение. Мыслепередача всего лишь первая ступень суперскорости. Но Гэй ничего другого не мог сотворить. Впрочем, он упоминает и о главном пути, о том, который приводит к подлинному техническому решению: об уничтожении вакуума или выходе за пределы его — в другое пространство. Умозрительно догадывался, примитивная техника йийитов не позволяла вырваться из вакуума.

— А все же догадался.

— Догадывался. Такое бывает в космической истории. Закон неравномерного развития мысли. Изобретает тот, кому необходимо изобрести. Выход находит оказавшийся в безвыходном положении. Консультанты Джэя считали себя победителями, они и не помышляли о суперсвете. А Гэю иначе нельзя было обогнать. Ведь его устраивал только обгон. Только обгон!

Вот такая история произошла в дальнем космосе, на некой планете Йийит. Конечно, на Земле ничего подобного быть не могло: иные условия, иная обстановка. На земных дорогах скорость ограничена, запрещено обгонять в населенных пунктах, на пригорках, поворотах, в узких местах — в общем, не рекомендуется обгонять. Даже и знака такого нет среди предписывающих:

«Только обгон».



ЧУДАК ЧЕЛОВЕК

РАССКАЗ



Книга подходит к концу. Вскоре предстоит написать крупными и четкими буквами обязательное слово «КОНЕЦ». Но я не люблю этого мрачного слова. Предпочитаю «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». И этот сборник хочу завершить рассказом о продолжении — о следующей книге, которую хотел бы написать, собираюсь, может статься, и напишу когда-нибудь.

Я долго искал для нее героя. Это не так просто — найти СВОЕГО героя. Действующие-то лица есть в каждой вещи: мальчики, девочки, взрослые, старые; люди, пришельцы,— но кто из них останется в памяти как МОЙ герой?

Надеюсь больше всего на Шорина[1]. Бывало, подходили ко мне читатели, говорили, что хотят быть похожими на него.

Вообще-то я был удивлен, что Шорин кажется привлекательным. Испокон веков слышал я, что типичный человек будущего должен быть прежде всего многогранным. Но Шорин считал, что у него одна жизненная задача, функцией называл он ее, даже утверждал, что человек не имеет права умереть, не выполнив функцию. И поскольку его функция еще не была выполнена, ничего не страшился, шел как таран на любое препятствие.

И вот этот Шорин, нетипичный, однобокий, запомнился. Почему? Может быть, всегда исключительное производит впечатление? Не просто любовь, а любовь до гроба, если отвага, то безрассудная, безумная, отчаяние — безысходное, подлость — гнуснейшая. Недаром столько убийств и самоубийств в художественной литературе. «Раскольников глушит старух!.. Убита Каренина Анна...» И напрасно

[1] Г. Гуревич. Функция Шорина. Повесть. М., «Детская лит.», 1966 г.

добросердечный поэт Михаил Светлов (это его я цитирую) призывает щадить героев. Читатель жаждет крови. Читатель не запомнил бы Раскольникова, если бы он только разглагольствовал за самоваром о праве на убиение старух-процентщиц. Болтают тысячи, за топор берется один... О нем и пишется роман.

Решаюсь писать о нетипичном, исключительном.

* * *

Впрочем, герой у меня здесь безобидный. Он просто чудак.

И найти его было нетрудно. Знаю с раннего детства, в одном доме жили на Малой Дмитровке, ныне улица Чехова, в одно окно смотрели на заиндевевших, паром дышащих обозных битюгов. Знаю давно, помнил о нем. Но как-то не хотелось выбирать в герои чудака. Что такое чудак? Дурачок вроде, юродивый.

Стоит ли посвящать тонны бумаги человеку, вызывающему снисходительную усмешку?

Позже прочел я изречение: «Чудаки украшают мир». И опять-таки не вдохновился. «Украшение», «украшательство», вторичное что-то. Можно жить в доме и без лепнины. Розетки-виньетки, гуськи-каблучки, ионики-сухарики только пыль собирают. Нет, не вдохновлял меня человек розетка-виньетка.

Но потом до меня дошло, что чудак ненормальный потому и примечателен, что он отклоняется от нормы, не повторяет норму. Он личность, неповторимая личность. Чудак не вписывается в рамки, выходит из ряда вон. Из ряда вон выходящий — это даже почетно.

И еще я понял, что неповторимые личности необходимы человечеству. Без нормальных людей общество не может существовать, без неповторимых не будет развиваться. На эту мысль меня натолкнул биолог, ученый Геотакян, я использовал ее в повести «Ия». «Почему у животных два пола?» — так он поставил вопрос. Допустим, два пола нужны для обмена генами, то есть наследственным опытом. Но зачем же два различных пола? Для обмена впрыскивай друг другу гены, как это делают бактерии или улитки. Видимо, у различных полов разные задачи. Она — основной хранитель наследственных признаков, он — основной добытчик новых, поставщик изменчивости.

И у людей он — поставщик изменчивости, всяческих отклонений от вчерашней нормы (то есть чудак!!!). Она же — хранитель, редактор и рулевой рода человеческого. Ее дело выбирать (сердцем) подходящего отца для своих детей.

Когда-нибудь отдельно я еще напишу о таинстве этого сердечного выбора. Впрочем, это таинственно только для тех чудаков, которые сами не понимают, что они не образец для потомства. И пишут рифмованные жалобы о странных существах, которые любят май-

оров, а не будущих поэтов. Да будь я девушкой, я сам выбрал бы надежного, аккуратного, подтянутого майора, а не обтрепанного сочинителя жалостливых куплетов.

Но я отвлекся в сторону, как бы не затемнить мысль. Вот главное: в человеческом обществе здравомыслящие женщины — норма. Легкомысленные, увлекающиеся, отвлекающиеся мужчины — отклонение. Чудаки — резкое, бросающееся в глаза отклонение. Но они нужны и уместны, когда история готовится к крутым поворотам. Стремительному двадцатому веку просто необходим широкий набор чудаков.

«Берегите мужчин» — так называлась сенсационная статья, в «Литературной газете». «Берегите чудаков» — мог бы я озаглавить свой будущий роман.

* * *

В том будущем романе особую главу я посвящу теории и истории чудачества.

В каждом отдельном случае обычно история складывается так: сначала появляются чудаки и изобретают что-то несусветное. Нормальные люди возмущаются, смеются, осуждают, стыдят... Но почему-то чудачество приятно некоторым, у первых безумцев появляются подражатели, выясняется, что странная их деятельность приятна и нормальным людям. Чудакам внимают, привыкают к ним, начинают ценить, уважать, превозносить. Появляются мастера чудного дела, школы, знатоки; ученые-чудаковеды пишут диссертации и монографии, постепенно вырабатывая общую и частную теорию чудаковедения.

Слушайте, а разве литература не чудачество? Удивительное умение задушевного вранья — вымысла, скажем вежливее. Я представляю себе, что некогда, в неандертальские времена, когда люди (или еще не люди?) изобрели великолепное искусство речи, вдруг появился чудак, который вместо информации изобрел дезинформацию. И как же его осуждали, как его кусали и царапали положительные неандертальцы! А он не мог удержаться, все врал и врал. Потом привыкли к нему, в зимние вечера просить стали: «А ну-ка, брехун, соври позанятнее!» И он плел, жертва собственной фантазии, старался плести позанимательнее, совершенствовался в убедительной брехне. И нет памятника этому великому изобретателю. Памятники строят Гомеру, и Данте, и Шекспиру, а они ведь только продолжатели того косноязычного. И вот сочинения... не брехня... записаны, изданы: появились умельцы занимательной и психологической выдумки, школы, мастера и мастера, обсуждающие мастеров, диссертации и монографии, споры о правдоподобии и правдивости историй о несуществующих событиях в жизни несуществующих людей.

Я даже не решаюсь признаться, что мой чудак существует на самом деле.

Рассказанное повторялось десятки и сотни раз со всеми видами искусства, со всеми видами спорта, с собиранием марок, монет, спичечных коробок, значков, бабочек, птичьих яиц, коктебельских камней, автографов, ваз — что еще можно собирать? Смеются, презирают, подражают, уважают, изучают...

Повторялось сотни раз... но не тысячи и миллионы. Чудачества могут быть бесконечны, но в жизни они проходят естественный или, скорее, общественный отбор. Чудить можно как угодно, приживается не всякое.

Только то, что в конечном счете приносит пользу, например упражнения чудаков-математиков, или то, что приятно людям, например искусство, прикладное в частности, или же, и это бывает чаще всего, заменяющее потребности тела или ума, ранее необходимые, вытесненные цивилизацией, например бег, стрельба, борьба на стадионе вместо борьбы, бега, прыжков на охоте... или, скажем, собирание грибов через тысячи лет после окончания эпохи собирательства. Знаем же, что грибами не прокормишься, но как приятно искать и найти подарок природы.

После всего этого, пожалуй, можно даже прогнозировать будущие чудачества, которые станут искусством.

Ныне в начальной школе первое обучение чему? Чтению, письму, счету. Но уже вторгаются в жизнь и в школу арифмометры, диктофоны, телевидение и радио. Считать, читать и писать приходится все меньше. Возможно, лет через сто вообще это умение станет ненужным, тогда будут соревнования в устном счете, в писании на бумаге, будут мастера скорописи, мастера мелкописи, конкурсы каллиграфии, теория шрифта, журналы «Рукописное искусство», «Юный рукописец», общество бумагофилов...

Опять я отвлекся. Я же хотел писать роман о конкретном чудаке...

Хотя о бумагофилизме еще будет речь.

* * *

Роману требуется нить, сюжетная. Приступим к построению сюжета.

Чаще фантастика исходит из проблемы. Пример — моя любимая: отмена старости, многовековая молодость. Трудности, достоинства, недостатки диктуют сюжет. Поставщики и потребители, сторонники и противники — из них рекрутируются герои. Характеры продиктованы их ролью в борьбе, борьба и есть сюжет.

Но то рассказ о проблеме, а здесь изображение героя.

Дан характер — чудаковатый. Он проявляется так-то и так-то. Стержень — характер; на него нанизаны эпизоды. Рассказ о человеке растянут на многие годы, на всю жизнь иногда.

Так построены у Чехова «Душечка», «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре»...

А у Достоевского противоположное. На целый роман, на тома хватает событий нескольких дней. Доктор Чехов как бы писал историю затяжной болезни, а Достоевский — бывший каторжанин — следственное дело, разбор катастрофы, драмы, приведшей на каторгу.

Если бы я хотел рассказать о катастрофе, о крушении чудака, о его раскаянии, прозрении, смирении и очищении от чудачества, я бы постарался следовать стремительной схеме Достоевского. Кстати, так построен фильм «Полеты во сне и наяву». Герой его — явный чудак, и все события там уложены в три дня. Чудак терпит крушение, терзая себя и окружающих. Вывод: берегитесь чудаков! А я ведь другое хотел написать: не «берегитесь», а «берегите»!

Предпочитаю схему доктора Чехова: история хронического чудачества. И начну я с самого раннего детства. Почему? Потому что они, чудаки, чудят, потакая своим склонностям, внутренним потребностям. А внутренние потребности сплошь и рядом — врожденные. Я даже выяснял специально, была ли у моего героя «чудацкая» наследственность. Но нет, родители у него были нормальные, потомственные интеллигенты, начитанные, хорошо образованные, со знанием языков и разносторонними интересами: рисовали, музицировали, путешествовали, играли в шахматы, имели широкий круг знакомых, ходили в гости, принимали, беседовали за чаем (выпивать в гостях не было принято тогда). Известно, правда, что отец моего героя отравился фосгеном примерно за год до его рождения. Можно написать диссертацию: «О влиянии фосгена на гены».

Лев Толстой сказал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Перефразируя, можно сказать, что все нормальные люди похожи друг на друга, каждый чудак чудит по-своему. Чудаки бесконечно разнообразны, ибо все они — отклонение. На каждую норму отклонений множество. Чудаки — словно волосы, вставшие дыбом: каждый торчит не туда, но все вместе они создают пышную прическу. Без чудаков жизнь выглядела бы лысоватой, по меньшей мере — прилизанной.

И вот из великого многообразия чудаков я присмотрел довольно обыденного: ребенка, который сам себя занимает, не скучает в одиночестве, в собственной голове находит темы для игр. Изредка среди таких попадаются будущие математики, очень редко — гениальные математики, вроде Ландау, забавляющиеся в четырехлетнем возрасте складыванием чисел на песке. Гораздо чаще встречаются болезненные дети, слишком слабые, чтобы играть со сверстниками. Но мой герой не был хилым ребенком, ничего страшнее кори

не перенес. Я помню его отлично: краснощекий, горластый, обожатель хлеба с маслом и пшенной каши (еще бы он привередничал, растущий в голодные годы), этакий топотун в вельветовых штанишках цвета пыли и со спущенными чулками. Чулки были спущены потому, что подвязки он не умел застегивать как следует. И шнурки на ботинках завязывать не научился... а рисовать умел. И рисовал только лошадей, и обязательно начиная с заднего копыта. Взрослых это удивляло чрезвычайно, но малыш был по-своему логичен. Почему начинать с копыта? Потому что лошадь стоит на земле. Почему с заднего? Потому что может стоять дыбом. Подвешивать лошадь за голову, как это делают взрослые, просто неудобно.

Это я за него рассуждаю сейчас. Конечно, маленький чудак не мог объяснить своей логики. Рисовал, как казалось удобнее.

Особенный интерес к лошадям? Пока ничего удивительного. Все дети любят поездки, всех интересуют крупные животные, да и транспорт в ту пору был гужевой, из окна можно было смотреть, как разгружаются обозы, и на углу, там, где ныне стоянка такси, ожидали седоков извозчики, кони мотали торбами, рассыпая овес, воробушки суетились возле них. Чудак мой часами мог смотреть в окно на лошадей (и я рядом с ним, у меня-то комната была окнами во двор, а у него — на улицу, я ужасно ему завидовал). Смотрел, смотрел, но здоровая натура требовала и активности: насмотрелся и рисовал. Однако интерес так и остался теоретическим. Когда в четырехлетнем возрасте его посадили в седло, он тут же запросился вниз — на твердую землю. Теоретик был по натуре: наблюдал, изображал, к практике переходить не рвался.

Впрочем, и в самом деле страшно в седле в четыре года. Высоко!

В дальнейшем интерес к лошадям распространился на всех животных. Но как мог изучать малыш зоологию? По трехтомному Брему. Не в окно смотрел, а на картинки, как жюль-верновский Консель знал наизусть классификацию: отряды рукокрылых, ластоногих, парнокопытных, насекомоядных... Мечтал о Зоологическом атласе — толстой книге, где были бы изображены все (ВСЕ!) звери, какие только есть на свете. Не дождавшись, сам начал составлять атлас, перерисовывая подряд иллюстрации из Брема. Конечно, не хватило терпения, не дошел до конца первого отряда (по Брему — обезьяны, ныне — приматы). Зато, в отличие от всех других атласов, у малыша были новые, никому не известные виды: поганка болотная, трехногая, зубохвост и мухомороед оббыкновенный, через два «б» почему-то.

Но живого уголка не завел. И не пошел в кружок при зоопарке, хотя приглашали. Животный мир интересовал чудака только теоретически.

Хочу указать пальцем на логику малыша. «Есть логика в его безумии», как сказано о Гамлете. В каждом интересном предмете

чудака волновал общий обзор (ВСЕ!), всеобъемная регистрация, но нормального выхода в практику не было, выход был в воображаемое продолжение.

Между тем под окнами загрохотали краснобокие трамваи; четырехколесный транспорт потеснил четырехногий. Отныне осмотр мира был связан с трамваем, с дырочкой в изморози, растопленной теплым дыханием, выскобленной ноготками. К сожалению, поездки выдавались не так уж часто, к тому же родители — упрямые утилитаристы — соглашались ехать только до места назначения, не желали прокатиться по каждой линии до самого конца. Зато ребенку показали план города. План потряс его. На нем были все трамвайные линии, все улицы, весь город на бумаге, каждой черточке соответствовал переулок, перекресток, площадь, бульвар. Маленький чудак выучил все наизусть. К нему обращались за справками, как проехать до заставы или за заставу. К сожалению, линий было так мало и прибавлялись они еще реже. И чудак мой начал сам сочинять планы небывалых городов. Главный интерес был в том, чтобы провести по мнимым улицам трамвайные линии и мысленно путешествовать по ним. Очень занятные были города: на островах, как Венеция, или же город-мост — и все линии сбегались на него.

Взрослые удивлялись, осуждали, высмеивали, стыдили, разоблачали бессмысленное градостроительство. Маленький чудак стыдился, но преодолеть себя не мог, строил города запоем. Обеспокоенный отец повез малыша к известному психиатру. Тот взял планы в Музей детского творчества, сказал, что ребенок нормальный, вероятно, будет художником.

Ошибся!

От лошадей маленький чудак перешел к зоологии, от планов городов — к географии. Выпрашивал Зоологический атлас — ему принесли географический. Он вежливо сказал спасибо, хотя и был разочарован. Удивился, что Франция находится не рядом с нами; его же мучили французским, главным иностранным языком для поколения его родителей и их родителей. Но потом обзоры целых стран увлекли его. Он решил, что станет путешественником. Часы проводил, глядя на карты. Так интересно было, что каждой черточке отвечает мыс, изгиб реки, город или горный хребет. Вот посмотреть бы, как это выглядит в действительности! Но его возили только из Москвы в Одессу в начале лета, а осенью из Одессы в Москву. География оставалась теоретической. Мальчик мог наизусть начертить любую страну (и несуществующую) и выучил наизусть — не учил, а запомнил, как стихи запоминают,— «Указатель железных дорог», мог ответить, сколько верст (верст еще, не километров) от Зикеева до Жиздры или от Иноковки до Инжавина. И на кой ему это Инжавино, этого я не могу понять. Что привлекательного в чтении расписания поездов? Но недавно я узнал, что в соседнем переулке живет паренек, который тоже коллекционирует атласы

и знает путеводитель наизусть. Я хотел у него справиться, может, он объяснил бы, что там волнующего, в путеводителе, но, пока собрался, тот парень переключился на историю.

Мой чудак тоже переключился на историю, и тоже по-чудачески. В руки ему попал отрывной календарь — как полагается, с замечательными датами и биографиями великих людей. Мальчик (уже не малыш) прочел все от корки до корки, запомнил все даты и биографии. И, творчески переосмысливая историю, начал сам сочинять биографии несуществующих людей. Например, Александр Апролджэ (очень хорошая фамилия, рождена на второй строке пишущей машинки) — «родился 18 августа 1818 года...» и т. д.

Последнее дошкольное увлечение — энциклопедия: Брокгауз и Ефрон — 82 полутома и 4 дополнительных, черно-оливковые, с золотым тиснением. Всё в них: и планы, и карты, и звери, и биографии. Вся мудрость человечества на трех полках в шкафу. Мой чудак собирался прочесть все подряд... когда-нибудь. Не только прочесть, но и переписать. И даже несколько раз начинал выводить аккуратными печатными буквами — письменных он не признавал, считал невыразительными:

«А» — первая буква всех европейских алфавитов, за исключением рунического...»

— Что такое рунический, мама?

— Не помню, милый. Посмотри в энциклопедии на букву «Р».

Тут, пожалуй, я могу понять маленького чудака. Что-то есть манящее в сочетании грандиозного и неторопливого: вокруг света, но пешком; ковер, но вышитый иголкой; толстенная книга, но переписанная от руки. Вот недавно приносили мне творчество подобного чудака. Для собственного удовольствия он переводил Толкиена, снабжая каждую страницу иллюстрациями. А в истории хоббитов тысяча сто страниц убористым шрифтом. Полстранички за выходной, одна иллюстрация за вечер. Успокоительное рукоделие — маленькими шажками, маленькими стежками к огромному результату.

И не только рукоделие. Идучи пешком, ты живешь в природе, из окна поезда посматриваешь, из самолета вообще не видишь этой природы. Читая, скользишь, что-то выхватываешь, посматриваешь на текст. Переписывая, смакуешь, вчитываешься, думаешь о каждом слове. Оно время занимает, оно весит — каждое.

Хорошая специальность была у средневековых переписчиков. Много нервозности внес в чтение нетерпеливый Гутенберг.

«А» — первая буква всех европейских алфавитов, за исключением рунического...»

Поди ж ты! Что «А» первая буква — это мы знали давно. «Всех европейских алфавитов...» Ну конечно, все они ведут происхождение от финикийского, где первой буквой был «алеф» — бык. И изоб-

ражалась голова быка схематически. Это потом ее перевернули рогами вниз. А руны, стало быть, возникли независимо...

Конечно, мой герой ни разу не дошел до конца первой страницы. Все-таки ребенок был, чудаковатый, но ребенок. Не мог сосредоточиться на одной игре. Бросал и терял свои манускрипты.

И правильно делал. В детстве надо играть в разные игры, побольше перепробовать, чтобы выбор был.

* * *

О школе я не буду рассказывать подробно, хотя именно в школе маленький чудак столкнулся с требованиями эпохи. Вообще школа не приспособлена к выращиванию чудаков, у нее противоположная задача: прививать единое, обязательное, необходимый минимум для жизни в обществе. Иначе и нельзя. В классе сорок человек, их всех обучают по стабильным учебникам, программируют по утвержденной программе, проверяют стандартными задачами. Школа готовит гражданина в соответствии с нуждами эпохи... К сожалению, не будущей эпохи, а предыдущей. Говорят же, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне. И педагоги вынуждены учить тому и так, как их обучали профессора, обученные лет двадцать назад. Да и легко ли угадать, что понадобится этим сорванцам, будущим творцам в XXI веке?

Чудаков школа просеивает и испытывает на прочность. Слабеньких и пугливых запугивает окончательно. Впрочем, этим занимаются не педагоги, а нормальные дети: очень нравится им свое превосходство демонстрировать. Односторонне талантливых же школа усредняет, отвлекая от любимого дела, заставляя трудиться над тем, к чему у них нет способностей. А потом мы удивляемся еще, когда бывший троечник становится знаменитым ученым. Безразличный отличник — вот герой школы, никак не чудак. Но у моего друга не было конфликтов в школе. Ведь он был по натуре универсалом с хорошей памятью и интересом ко всему на свете. Учение давалось ему легко, поскольку класс, как и взвод на марше, равняется на среднего, даже на среднеотстающего. Годика два чудак походил в вундеркиндах, потом подравнялся, спустился в рядовые отличники, так и держался до выпуска. На уроках не тосковал, но после занятий рвался скорее домой, к своим забавам. К каким? К таким же, как в раннем детстве: к воображаемым путешествиям по географическим картам, к планам, биографиям, энциклопедии.

Очень рвался домой, очень не любил домашних заданий, нарушавших личные планы. Очень радовался болезням, высиживал дома, сколько полагалось и еще недельку-другую. Но все равно успевал. В ту пору требования были невысокие, программы скромные. Сообразительность ценилась, не очень нажимали на объем знаний.

...И вот подготовка позади, начинается взрослая жизнь.

Довольно долго я колебался, выбирая место действия и время. Да, с героем моим я познакомился на Малой Дмитровке, ныне улица Чехова, в громоздко-угловатом, серо-цементного цвета, мрачном доме, бывшем доходном доме Кузнецова, ныне номер такой-то, в бывших шестикомнатных апартаментах, ныне коммунальной квартире. Но ведь чудак такого рода мог родиться в любом доме и в любом городе. Есть подозрение, что и в других странах, в другие времена тоже бывали такие чудаки.

Не переместить ли моего героя в какую-нибудь необычную обстановку? Сама обстановка прибавит интереса.

В ереванском «Матанадеране» с почтением любовался я собранием рукописных книг, с почтением к методическому труду, к терпеливому упорству. Книга — год труда, книга пороскошнее — годы. Жизнь на кропотливое многократное переписывание Библии или Евангелия. Жизнь на одну книгу — не многовато ли? Правда, те переписчики воспринимали священные книги как всеобъемлющий свод мудрости, как мой чудак — энциклопедию.

Не сделать ли мне героя переписчиком в монастыре?

Неторопливость и кропотливость, почтение к каждому слову, заставки, виньетки. Не отвечает ли это его натуре?

Нет, не отвечает. Помимо почтения, активный интерес был у моего чудака. Он читал и расставлял, расставлял и рассуждал, рассуждал, чтобы продолжать.

И в монастыре рассуждал бы, как Фауст у Гёте. Почему написано: «В начале бе слово»? Не напутали ли переписчики? Ну нет, прежде чем сказать, надо было подумать. Мысль была вначале. Но почему у бога появилась самая мысль о необходимости света? Видимо, неуютно было в темноте и хаосе, скучно витать духу божьему над водами, порядок захотелось навести. А почему бог не сразу навел порядок? Не хотел, не умел, не мог? Выходит, бессилие божие было вначале.

И вижу я, как герой мой исповедуется настоятелю: «Владыка, просвети!»

А настоятель бормочет: «Бес тебя смущает. Гордыня и суемудрие. Пути господни неисповедимы. Не нам жалким умишком познать». И для лечения прописывает тысячу земных поклонов и пост: хлеб и воду. В общем, хорошая физическая нагрузка и лечение голодом по Брэггу.

Нет, не помещу я героя в средневековую обитель. Чувствую: зачахнет там его умственная непоседливость.

Не предложить ли ему современность?.. Америку, например? Активный деловой мир, казалось бы, полная противоположность монастырскому застою.

Но у того мира свое четкое мерило ценностей. Всего одну недельку был я за океаном, одним глазком поглядел — и то ощутил. Четкое

мерило — деньги, доллары. Владелец миллиона долларов почетнее стотысячника, тот куда почетнее десятитысячника. И так как чековую книжку твою никто не видит, косвенно надо показать, что ты при деньгах: ездить в машине покрупнее и подороже, не старой — самого последнего выпуска, жить не в городе, а за городом, и обязательно в собственном доме, ни в коем случае не снимать квартиру. И дом надо обставить в моднейшем стиле, желательно под старину. И надо приглашать скучных ненужных гостей, чтобы демонстрировать свои покупки: вот ковры — лично привез из Тегерана, вот картины — подлинники, настоящие шедевры, между прочим, достали из музея за большие деньги. Как? Не спрашивайте. Да-да, мы каждый год ездим в Европу. Нет, не на отдых. Отдыхать лучше на Бермудских островах.

Представляете себе чудака в таком окружении? Душит тот мир чудаков; если не сам придушит — действует через пятую колонну, внутрисемейную. Жена чудака (или сестра, или дочь) рыдает, кусая подушку: «Мне нечего надеть, мне стыдно выйти на улицу!» Или же кричит, топая ногами: «А ты подумал о детях? В какой колледж пойдет твой сын? Что мы дадим за дочерью? Ты сухой, жесткий, черствый эгоист, самый-самый скверный муж-брат-отец на свете!» И посрамленный чудак, как в омут головой, кидается в биржевую игру, в которой он ничего не понимает (я тоже!). И разорится. А мне придется писать про всякие проценты, дивиденды, ссуды, векселя, отсрочки, просрочки, авизо и опшен. Опшен! У нас и слова такого нет. Объяснять придется. А зачем объяснять, если и слова нет?

Нет, чувствую я, не вдохновляет меня заокеанский вариант судьбы чудака. Скучновато путаться с финансами. Схоластика! В монастыре церковная, а тут биржевая. Не суть — игра символами. Чудак борется с символами. И все время пояснять, что скрывается за символами — фетишами.

Думал я и о том, чтобы поместить героя в Германию. Пожалуй, есть в его характере что-то немецкое — эта тяга к порядку, классификации и всеобъемлющим обзорам. Немцы любили такое: «Вселенная и человечество», «Всемирная история» в 9 томах, «Жизнь животных» в 12 томах. Брем тоже ведь немец. Так пускай мой герой читает его в подлиннике.

И сам собой напрашивается острый конфликт: ведь юность моего чудака приходится на гитлеровские времена.

Тяжкое время не только для чудаков. «Хайль, хайль, зиг хайль!» Пылают костры из книг, а чудак их бережет и перечитывает, еще переписывать рвется. «Счастье через силу!» Гитлерюгенд закаляется в военизированных лагерях, а чудак хочет просиживать штаны в библиотеке. «Фюрер думает за нас!» А чудаку нравится рассуждать самостоятельно. «Мы все строим автобаны, сегодня путешествуем по Германии, завтра — по всему миру!» А чудак бродит по незапла-

нированным маршрутам где-то под Берлином, может и в запретную зону забрести. Странный тип, подозрительный тип. Не миновать ему тюрьмы.

Если только не призовут его раньше в рейхсвер — в армию. И вот он под началом старательного фельдфебеля. «Лечь, встать, лечь, встать! Кру-гом, шагом марш, бегом, быстрее, быстрее! Шевелись, ленивая скотина! Сто приседаний, сто прыжков на месте! Лечь, встать, лечь, встать! Молчать! Три ночи мыть полы! Пять нарядов вне очереди! Десять суток карцера! Десять суток на хлебе и воде!»

В общем, хорошая физическая нагрузка и лечение голоданием. Рецепты против чудачества известны издавна. Зачем солдату рассуждать? Фюрер думает за него! «Встать, лечь, встать, лечь!»

И ложились. И навсегда ложились.

Под Смоленском, в деревне, где я — автор — ночевал в 1943 году, за околицей у ручья валялся труп гитлеровца в белом шерстяном белье. Соломенного цвета волосы шевелил ветерок, а лица не было, сгнило лицо, должно быть, сожгло лицо или осколком срезало. Хоронить никто не хотел фрица, так он и валялся у ручья. Но все ли немцы фрицы? Может быть, это был мобилизованный чудак?

Конец истории о несостоявшейся личности.

Нет, пожалуй, не использую я все эти заграничные варианты. Все они — истории несостоявшейся личности. И в результате — неясность: а что было бы хорошего, если бы личность состоялась? Может быть, ей и не стоило состояться — этой чудаковатой личности! Нет уж, мне нужен не загубленный чудак — нужен доживший до седых волос.

Вернусь-ка я к тому, что рисовал лошадей, начиная с заднего копыта.

Как и все мои сверстники, после школы он пошел в армию, был в армии с самого начала и до конца войны. Очень хотелось бы, чтобы мой герой проявил героизм подлинный, даже звание получил бы и Золотую Звезду. Я даже начал придумывать ему достойные подвиги, хотел его в разведку послать в тыл врага, всем на диво, наподобие Штирлица, но... Но, дорогие потребители литературы, вы же знаете, что существует правда характера. Видите вы в моем чудаке задатки геройства? Вы считаете, что героем может быть каждый? Согласен. Но тогда надо было изображать каждого, рядового, а не страстного любителя планов, хронологии и энциклопедии. Тогда все рассказанное ни к чему.

Да, мой чудак служил добросовестно, то есть делал, что приказано, там, куда посылали. А послали его в зенитную батарею, определили в прожекторный взвод. Там он и служил до Победы, был рядовым героем, получил желтую нашивку за ранение (осколок задел плечо) и медаль за оборону того города, где стояла его зенитная

батарея. Все это к чудачеству не имело никакого отношения, в романе я пропущу военные годы.

После войны, как все нормальные люди моего возраста, чудак женился, и даже удачно, был счастлив в браке, как говорится. Женился на хорошей и хорошенькой девушке, имел двух детей — сына и дочку, хороших, нормальных, не чудаковатых. Я с удовольствием описал бы счастливую любовь и счастливую семейную жизнь героя. Не так уж часто описываешь счастливую семью. Но... Но, дорогие читатели, вы же знаете, если не знаете, то чувствуете: свадьба в эпилоге имеет особенный смысл в литературе. Выше я говорил, что девушка сердцем выбирает достойного отца для своих будущих детей. Свадьба в романе — это признание достоинств избранника, чудака в данном случае. Но я сильно сомневаюсь, что Киру (Кирой звали ту хорошую и хорошенькую) прельстило знание зоологии, хронологии и указателя железных дорог. Возможно, она разглядела в герое другие достоинства, не чудаческие. В общем, он же был приличный человек, не вредный, добрый даже. А может быть, дело житейское, выбор был не так уж велик тогда. Ведь несколько миллионов потенциальных женихов, гораздо лучших, чем чудак, война повенчала с сырой землей.

Пожалуй, и семейная жизнь не имеет отношения к нашей теме.

Думаю, что мой чудак был приличным мужем и отцом. Правда, немного лишнего тратил на никому не нужные справочники да зачем-то изучал их по вечерам, вместо того чтобы подрабатывать.

Не было у него доходов, кроме заработной платы, не слишком большой. Работал он в конторе Мособлсельхозснабсбытстройпроект — что-то в таком роде, составлял рабочие чертежи на силосные башни и картофелехранилища. Ну и сами понимаете (правда характера!), не очень там продвинулся. Не требовались для силосных башен его склонности к вселенским обзорам, неторопливой кропотливости в сочетании с грандиозностью, к рывкам за пределы зоологии и хронологии. Служил! Ездил на работу на метро, табель снимал в половине десятого, восемь часов в день крутил арифмометр, добросовестно составлял графики и спецификации, был на хорошем счету, премии получал ежегодно.

Глядь, и жизнь прошла, разменял седьмой десяток. И организм поизносился: сердце пошаливает, гипертония, язва. Не каждый день боли, но иной раз схватит, неотложку вызываешь. Видимо, пора на пенсию. Сослуживцы проводили с честью. Речи произносили с преувеличенными восхвалениями. Юбиляр слушал с символическим стаканом минеральной приятные слова о незаменимости (от заменившего его заместителя). А в заключение, расцеловавшись с провожавшими, погрузил в такси громоздкую радиолу, преподнесенную месткомом, и отправился домой... на отдых до конца жизни.

...Ну и что же будет делать на заслуженном отдыхе этот седой чудак, уже выполнивший свой долг перед обществом?

Совесть чиста — дети взрослые, дочь замужем, сын кончил институт, помогать им не нужно. И самому помощь не нужна: каждого четвертого числа пенсия.

Здоровье — более или менее. Гипертония, язва, но не каждый день боли. Когда схватит, вызовешь неотложку, отлежишься.

Конечно, у Киры поручения: «Ты бы сходил, ты бы купил, ты бы достал, ты бы убрал...» Но сходишь, купишь, достанешь, а потом свободен.

Другие — нормальные — газеты читают от доски до доски, козла забивают на фанерках, воткнутых в бульварные скамейки, или на участке копаются, гладиолусы поливают, а еще чаще болеют и лечатся, лечатся и не вылечиваются. Но то нормальные пенсионеры. Не чудаки.

Не проснутся ли в моем герое склонности детских лет?

Походит он, походит по комнате, начнет наводить порядок, вытащит старые бумаги, разложит, книги переставит, карты, атласы, всемирные истории, полистает энциклопедию, старую, черно-оливковую с золотом, и последнюю — красную, ощутит зуд в руках и, разграфив лучшую, самую плотную бумагу тоненьким чертежным перышком, тушью начнет вырисовывать:

«А» — первая буква алфавитов на русской и латинской основе...» Тоненькими штришками, маленькими стежками, маленькими шажками вокруг света. А в итоге роскошное рукописное издание свода знаний. Подарок человечеству на память о чудаке.

Конец сливается с началом. Хорошее, твердое литературное построение.

Но вот беда: человечеству не нужен такой подарок.

И если я поручу герою эту бессмысленную работу, я только подчеркну ненужность чудаковатости.

Именно это сделал Флобер. В его неоконченном романе «Бувар и Пекюше» герои, бывшие канцеляристы, разбогатевшие неожиданно, развлекаются всем на свете, все изучают, все бросают, ничего не достигнув, и в конце концов принимаются за привычную, успокоительную, никому не нужную переписку старых бумаг.

Получилось не «берегите чудаков», а «плюньте на чудаков, не принимайте их всерьез».

Все-таки я подозреваю, что чудак мой взялся за переписку энциклопедии, или Толкиена, или чего-то еще многостраничного. После служебной колготы, телефонных звонков и телеграмм, распекания у начальства, распекания подчиненных, планов, авралов, выполнения-невыполнения, сроков и срочности так успокаивало неторопливое рукоделие, вышивание букв на бумаге, безлюдие, безмолвие. Правда, за стеной оглушительно горланит стереомагнитофон, там сын соседа готовится к экзаменам, но оглушительный рев

все равно что тишина: оглушен и ничего не слышишь, ничто не отвлекает. Рев, но покой, сосредоточенность, неторопливая беседа с мудрым, всезнающим и везде побывавшим собеседником, который ведет тебя по белу свету, с реки Аа, что в Латвии, на Ааре в Швейцарии, из Абхазии в Австралию, из Австралии в Австрию.

Тихая неделя, другая, возможно.

Потом вышивание букв начнет приедаться; однообразное все-таки занятие. Чудак будет выдерживать характер, твердить: «Ты же не ребенок, чтобы через полчаса бросать затею для новой игрушки!» Но герой мой все-таки не ребенок, у которого вся жизнь впереди и будущее кажется бесконечным: все успеешь, за что ни возьмись; он — герой — прикинет объем работы. Я сам прикидывал. И вот что получилось.

Опытная машинистка, старательно стуча по восемь часов в рабочий день, закончила бы перепечатку лет за пять-шесть.

Медлительный переписчик, вырисовывающий буквы, будет кропать лет двадцать. Его же никто не гонит, да и сил не хватит на полный рабочий день.

Двадцать лет! Проживет ли он столько?

Да и стоит ли весь остаток жизни посвящать переписке?

Вчитываться будешь, свод знаний вместишь? Нет, все равно не вместишь, забудется. И к тому же свод знаний тот устареет за двадцать лет. Наука уйдет вперед, ты отставать будешь.

Опускаются руки.

Нет, не бессмысленная переписка, чем-то другим должен заняться герой. Я — автор — обязан подсказать ему осмысленное, если он сам не может придумать.

А что может придумать сам придуманный?

И тут вспоминается — может, вы и не обратили внимания — одна черточка в забавах маленького чудака. Он не останавливался на итогах. Обозрев и запомнив сущее в своих возможностях, рвался в несуществующее. После Брема — трехногих поганок рисовал, после плана Москвы сочинял планы мифических городов, после календаря — биографию Александра Апролджэ.

Может быть, и седой чудак пойдет по тому же направлению: к своду сегодняшних знаний добавит свод завтрашних — Свод Незнания. Это тема!!!

Неведомое в живом и неживом, в космосе и в атоме, в мышлении и в истории.

Тайны происхождения, догадки о продолжении, тайны строения, переплетения внешних связей.

Неведомые тела, неведомые силы, невыясненные причины, неучтенные последствия.

Загадки природы и правила разгадки. Методика построения гипотез, методика их разбора. Мнения, возражения, доказательства и опровержения, с одной стороны, с другой стороны...

Спорное, небесспорное, сомнительное, намеки, тупики.

И все сведенное воедино. Когда воедино сводится, видны закономерности непонятного. Понятное в непонятном!

Каталог проблем, стоящих перед наукой... перед науками!

Пожалуй, это интересно. Свод надежд, мечтаний, целей и нужд, сомнений, недоумений, тупиков науки. Я бы почитал с удовольствием.

Пожалуй, это поучительно, это полезно даже. Этакий справочник: «Куда направить усилия?» «К чему приложить руки? Над чем голову ломать?»

Свод Незнания!

И это в характере чудака. Все знают, что знание — сила. Нормальные люди распространяют знания, надежные, проверенные; издательства издают книги по всем отраслям знания, правильно делают.

А чудак составляет Свод Незнания. Для чудаков, что ли?

И замирает каллиграфическая переписка, застревает в начале первого тома. Путешественник по страницам не доходит до Австралии, может быть, и до Абхазии. В дальний ящик убираются папки с аккуратно переписанными листами. На столе карточки, карточки, карточки, выписки, цитаты, цифры — материалы для энциклопедии неоткрытого.

* * *

«Ну вот,— скажет читатель,— из огня да в полымя». Можно представить себе — не понять, но представить человека, находящего удовольствие в переписке хорошей книги. Пишет и пишет, водит пером по бумаге, писать может каждый. Но составить продолжение энциклопедии? Это же на каждую статью пять специалистов надо. Науку охватить целиком и то одному человеку не под силу. А сколько наук в энциклопедии?

Именно это я и сказал своему герою. Специально поехал к нему на улицу Чехова, бывшую Малую Дмитровку, в дом серо-цементного цвета, бывший Кузнецова, с шестикомнатными апартаментами, навеки обреченными быть коммунальными квартирами. И сели мы в эркере, у тройного окна, откуда так удобно было наблюдать лошадей, сели у подоконника, на котором рисовались скакуны, начиная с заднего копыта.

— Ты же с ума сошел! — сказал я герою.— Затеял такое, что одному не под силу. Нормальный человек не берется охватить все.

— Не берется? — Чудак усмехнулся.— А мне Бокль приходит на память. Богатый и независимый юноша в восемнадцать лет решает написать историю всего человечества. Два десятилетия собирает материалы. Соглашается ограничиться историей цивилизации в Англии. Успевает написать два тома, но ведь и эти два тома составили эпоху в истории науки.

А Гумбольдт! Тоже настроился на всеохватывающий «Космос».



Выпустил четыре тома за семнадцать лет, только пятый не закончил. А Бальзак со своей «Человеческой комедией»! Энциклопедия характеров. А Френсис Бэкон со своим «Новым Органоном»! Начал научный труд в шести томах, описание природы в первом, метод — во втором... в шестом — объяснение всего на свете. Ну, не написал, умер, простудился, ставя опыт с замороженной курицей,— причины гниения хотел выяснить. Но от книги его идет вся методика современной опытной науки.

Кстати об «Органоне». Ведь и Аристотель в своем «Органоне», «Физике» и «Метафизике» единолично написал энциклопедию. Не все там верно, но ведь двадцать веков мир воспринимал ее как непреложный свод знаний.

— Ну, это когда было! — сказал я.— Древним было легко. Объем знаний невелик, один человек мог охватить все в течение жизни. С тех пор наука так выросла, так расширилась, так разветвилась... Нужны тысячи специалистов, тысячи...

Чудак сказал: — Дело не в объеме, а в эпохе. Есть время делить, есть время собирать. Аристотель действительно жил до нашей эры, но Бэкон — в XVII веке, а Бокль в середине XIX. Я недаром сослался на него. Это была славная эпоха в истории культуры, время великих обобщений. Тогда выпустили главные свои труды Дарвин, и Мен-

делеев, и Карл Маркс. И Лев Толстой писал «Войну и мир» в ту пору.

То была эпоха великих обобщений, глобальных. И думаю, что грядет, валится на нашу голову эпоха глобальных проблем сейчас, к концу XX века. Угроза атомного взрыва, взрыв демографический, взрыв информационный, кризис экологический, кризис энергетический, сырьевой, пищевой, проблема глобального круговорота воды, глобального круговорота тепла. Маленькая у нас планетка, спутник облетает за полтора часа, вот и надо обозреть ее всю целиком, в планетарном масштабе. Нужны, остро необходимы нам новые Аристотели, Бэконы и Бокли.

— Но то были гении,— пожал я плечами.— А ты кто? Обыкновенный чудак.

— Чудаки не бывают обыкновенными,— возразил чудак.— Притом я подозреваю, что Бокля тоже считали чудаком. Молодой, богатый, живи в свое удовольствие, деньги швыряй. Но ему наука была интереснее. Мне тоже.

— Но ты не управишься, ни за что не дойдешь до конца. И Бокль не дошел. Умер, стеная: «Книга, моя книга! Я никогда не кончу ее».

— Да, не кончил, да, только начал. Но ведь и это начало, я уже говорил, составило эпоху в науке. Пускай я не кончу, я начало положу. И в этом есть смысл.

«Начало, самое печальное начало лучше самого радостного конца». Это не я сказал, это из Шолома-Алейхема. Хорошими словами, хотя бы и чужими, приятно завершить книгу.

А дальше? Что дальше?

Самые настойчивые из читателей обязательно хотят знать, чем кончилась история чудака.

Товарищи, ну к чему же ставить точки над i? Сами знаете, какой конец бывает у чудаков и нечудаков. Вам хочется, чтобы я описывал его со всеми натуралистическими подробностями?

— Но все-таки. Все-таки надо же сказать, добьется ли он успеха со своей «Энциклопедией будущих открытий».

А я не знаю. И сам он не знает, потому что успех зависит не только от его усердия. Есть еще и привходящие факторы: гипертония и прочие. И никто не скажет чудаку с математической точностью: «Тебе отпущено двадцать лет... или год... или одна неделя».

Если двадцать лет, вероятно, он напишет книгу. Хорошую или никчемную, своевременную или запоздалую, но напишет. Я в него верю.

Если год отпущен — будет общий план, тезисы в лучшем случае.

А если неделя — общая идея, здесь описанная... И горькие вздохи, как у Бокля: «Книга, моя книга! Я никогда не кончу ее».

Или какое-нибудь наставление: «Люди, думайте!» Или: «Своей головой думайте!» Или: «Думайте о будущем!» Но это по моей части — по литературной. Я пошлифую еще. Впрочем, мне вообще не хочется расписывать последний час, кончать историю чудака картиной безжалостной казни человека природой.

И вот что мне приходит в голову — о книге, не о казни.

Лет двадцать назад получил я — автор, а не герой — письмо от четырнадцатилетнего читателя из Тайги — есть такая станция в Сибири. Парень обожал фантастику, читал, перечитывал, мечтал сам стать писателем, даже сочинил повесть об Атлантиде, этакую мозаику из вычитанного. Сочинил и прислал мне с надписью: «Дарю вам на память мой дебют. Храните его».

«Ну и нахал!» — подумал я. И вернул парню рукопись с суровой отповедью: дескать, сначала надо стать личностью, а потом уже посвящения раздаривать.

Двадцать лет спустя на семинаре молодых писателей подходит ко мне долговязый малый со шкиперской бородкой и, склонившись надо мной, вопрошает, с высоты глядя:

— Помните мальчика из Тайги? Это я.

Честное слово, я страшно обрадовался своей непрозорливости. Ну да, недооценил, проглядел. Но ведь это так прекрасно, что существуют на свете люди, которые добиваются своего и могут добиться!

Не использовать ли этот мотив для финиша?

Чудаки — отклонение, чудак — явление редкостное, но не единственное. Ведь не только на Малой Дмитровке — и в соседнем переулке был парень, изучавший «Указатель железных дорог». Не собрался к нему, так и не узнал, что из него вышло.

И вот сидит мой старый чудак, шелестит страницами, горькие таблетки сосет, положив под язык, морщится: голова тяжелеет, давление кверху ползет.

Вдруг звонок. За дверью незнакомый, длинный, аж сгибается, шкиперская борода, брюки парусами от колен, подошвы как скаты у самосвала.

— Наверное, вы меня не помните. Я тот мальчик из соседнего переулка, который путеводитель знал наизусть. Мама все вздыхала: «Что из тебя выйдет?»

— Ну и что же вышло? Все расписание зубрите?

— Что вы, это детское увлечение! Учитель я. В средней школе. Физика, математика, фундамент и каркас естествознания. И очень стараемся мы, чтобы каркас был прочный, этакий неподвижный: догмы, каноны, законы: Ньютона закон, Кулона закон, закон Ампера и Бойля — Мариотта. На память все нажимаем: твердо помни, помни! И вот замечаю, товарищи замечают тоже, что у школьников

складывается этакое представление, что в науке все сделано до них, их дело — заучить. Не рассуждают, только цифры подставляют, норовят множить и делить. Итак начал я рассказывать им о неоткрытом: там у нас в физике споры, а там все неясно, совершенно в тупик зашли. Картотеку неясного завел, какие-то, знаете ли, правила нащупываются, графики составить можно. И вот слышу: у вас тоже таблицы, какой-то Свод Незнания. Вы не разрешите познакомиться?

— А ну-ка покажите свои графики. Похоже. Почти совпадают. А тут разночтение. Вы проверяли? Может, посчитаем вместе?

— Вы согласны поработать со мной?

— Поработаем. Потом продолжать будете.

Вот и сказано главное. Жизнь как поезд: на каждом полустанке кто-то входит, кого-то вносят на руках, завернув в пеленки, кого-то выносят вперед ногами, так что полки не пустуют, ни нижние, ни верхние. Грустно, конечно, но расписание есть расписание. «Граждане провожающие, просьба освободить вагоны. Пассажиры, занимайте свои места. А вы, товарищи чудаки, тяжелые вещи сдавайте в багаж, с собой берите только ценные мысли, мысли пригодятся в дороге».

И поезд следует дальше.

Дальше!



СОДЕРЖАНИЕ

Для старшего возраста

Георгий Иосифович Гуревич

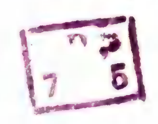
ТОЛЬКО ОБГОН

ИБ № 8434

Ответственный редактор *Е. К. Махлах*. Художественный редактор *О. К. Кондакова*. Технический редактор *Л. В. Гришина*. Корректоры *В. В. Борисова* и *В. А. Иванова*. Сдано в набор 13.11.84. Подписано к печати 08.07.85. А10752. Формат 60×90[1]/16. Бум. кн.-журн. № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,0. Усл. кр.-отт. 14,5. Уч.-изд. л. 14,05. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5. Цена 65 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

4932/1287








65 коп.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ ТОЛЬКО ОБГОН